

РЭЙ БРЭДЪЕРИ

О скитаньях вечных и о Земле



Annotation

Пожарные, которые разжигают пожары, книги, которые запрещено читать, и люди, которые уже почти перестали быть людьми... Роман Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту» — это классика научной фантастики.

Рэй Брэдбери

451 градус по Фаренгейту

*451° по Фаренгейту — температура, при которой
воспламеняется и горит бумага.*



ДОНУ КОНГДОНУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперёк.

Хуан Рамон Хименес

Предисловие к изданию романа «451 градус по Фаренгейту», 1966 год



С девяти лет и до подросткового возраста я проводил по крайней мере два дня в неделю в городской библиотеке в Уокигане (штат Иллинойс). А летними месяцами вряд ли был день, когда меня нельзя было найти там, прячущимся за полками, вдыхающим запах книг, словно заморских специй, пьянящим от них ещё до чтения.

Позже, молодым писателем, я обнаружил, что лучший способ вдохновиться — это пойти в библиотеку Лос Анджелеса и бродить по ней, вытаскивая книги с полок, читать — строчку здесь, абзац там, выхватывая, пожирая, двигаться дальше и затем внезапно писать на первом попавшемся кусочке бумаги. Часто я стоял часами за столами-картотеками, царапая на этих клочках бумаги (их постоянно держали в библиотеке для записок исследователей), боясь прерваться и пойти домой, пока мной владело это возбуждение.

Тогда я ел, пил и спал с книгами — всех видов и размеров, цветов и стран: Это проявилось позже в том, что когда Гитлер сжигал книги, я переживал это так же остро как и, простите меня, когда он убивал людей, потому что за всю долгую историю человечества они были одной плоти. Разум ли, тело ли, кинутые в печь — это грех, и я носил это в себе, проходя мимо бесчисленных дверей пожарных станций, похлопывая служебных собак, любясь своим длинным отражением в латунных шестах, по которым пожарники съезжают вниз. И я часто проходил мимо пожарных станций, идя и возвращаясь из библиотеки, днями и ночами, в Иллинойсе, мальчиком.

Среди записок о моей жизни я обнаружил множество страниц с описанием красных машин и пожарных, грохочущих ботинками. И я вспоминаю одну ночь, когда я услышал пронзительный крик из

комнаты в доме моей бабушки, я прибежал в ту комнату, распахнул дверь, чтобы заглянуть вовнутрь и закричал сам.

Потому что там, карабкаясь по стене, находился светящийся монстр. Он рос у меня на глазах. Он издавал мощный рёвущий звук, словно из печи и казался фантастически живым, когда он питался обоями и пожирал потолок.

Это был, конечно, огонь. Но он казался ослепительным зверем, и я никогда не забуду его и то как он заморозил меня, прежде чем мы убежали, чтобы наполнить ведро и убить его насмерть.

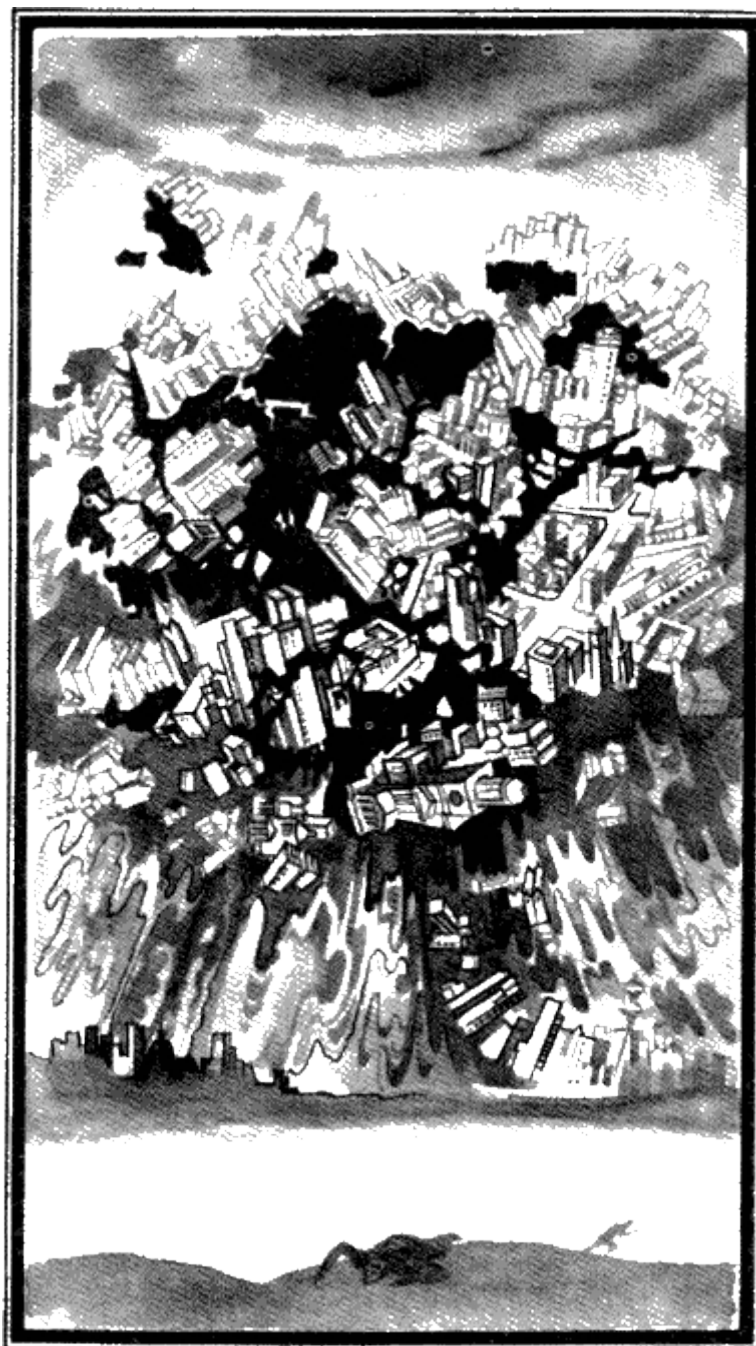
Наверное эти воспоминания — о тысячах ночей в дружелюбной, тёплой, огромной темноте, с лужами зелёного света ламп, в библиотеках, и пожарных станциях, и злобном огне, посетившем наш дом собственной персоной, соединившись позже со знанием о новых несгораемых материалах, послужили тому, чтобы «451 градус по Фаренгейту» вырос из записок в абзацы, из абзацев в повесть:

«451 градус по Фаренгейту» был полностью написан в здании библиотеки Лос-Анджелеса, на платной пишущей машинке, которой я был вынужден скормливать десять центов каждые полчаса. Я писал в комнате, полной студентов, которые не знали, что я там делал, точно так же как я не знал что они там делали. Наверное, какой-то другой писатель работал в этой комнате. Мне нравится так думать. Есть ли лучшее место для работы, нежели глубины библиотеки?

Но вот я уйду, и передаю Вас в руки самого себя, под именем Монтэг, в другой год, с кошмаром, с книгой, зажатой в руке, и книгой спрятанной в голове. Пожалуйста, пройдите с ним небольшой путь.

Часть 1

ОЧАГ И САЛАМАНДРА



Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижёра, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб, глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и

огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-жёлто-чёрные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом, они взлетают в огненном вихре, и чёрный от копоти ветер уносит их прочь.

Жёсткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнём и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнёт своему обожжённому, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он всё ещё будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь чёрный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струёй душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересёк площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струёй тёплого воздуха выбросил на выложенный жёлтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чём, во всяком случае, ни о чём в особенности, он дошёл до поворота. Но ещё раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещённый звёздами тротуар вёл к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но всё исчезло, прежде чем он смог взглянуть или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чьё-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки её туфель задевают кружащуюся листву. Её тонкое матовой белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало лёгкое удивление. Тёмные глаза так пылливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье, оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение её рук в такт шагам, что он услышал даже

тот легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет её лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют её от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и её тёмные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как замороженная, смотрит на изображение саламандры, на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она наконец оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарник? —
Голос её замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе её прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он всё равно, что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. — Можно, я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идёмте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Тёплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно — ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо её сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролёт и встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивлённо спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же

человек...

В её глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел своё отражение, тёмное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто её глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Её лицо, обращённое теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребёнком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоём, странно преображённые, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше. Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся.

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли ещё немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то, давно, пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были несгораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеётесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеётесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на всё отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая её. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-чёрной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости, — продолжала она. — Покажите им зелёное пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехать по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остаётся время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я ещё кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча, она — задумавшись, он — досадую и чувствуя неловкость, по временам бросая на неё укоризненные взгляды.

Они подошли к её дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда ещё не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, всё равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю ещё раз арестовали? Да, за то, что он шёл пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чём же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взглядела в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

Но девушки перед ним уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решётку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно

как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвёл глаза.

Какая странная ночь, и какая странная встреча! Такого с ним ещё не случалось. Разве только тогда в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в тёмной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдёт солнце.

— В чём дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного «я», у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку.

Он снова взглянул на стену. Как похоже её лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты ещё знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашёл его, вспомнив о своём ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь её отражение на стене, какую тень отбрасывала её тоненькая фигурка! Он чувствовал, что если у него зачесется глаз, она моргнёт, если чуть напрягутся мускулы лица, она зевнёт ещё раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь, право же, она как будто знала наперёд, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...»

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошёл в холодный, облицованный мрамором склеп, после того как зашла луна. Непроницаемый мрак. Ни намёка на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своём уютном и тёплом розовом гнёздышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил своё счастье, как маску, но девушка отняла её и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростёртая на кровати, не укрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремлёнными в потолок, словно

притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у неё плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с напёрсток, радиоприёмники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега её бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывается океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносит её, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью ещё и ещё раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задышается.

Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обречённостью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу. Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отражённый сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в крошечном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нём едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он всё ещё не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька, два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни. — Милдред!

Её лицо было, как остров, покрытый снегом, если дождь прольётся над ним, оно не ощутит дождя, если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором ещё утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблёскивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль чёрного холста. Монтэга словно расколело надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным рёвом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонёк зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шёпот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рёва чёрных бомбардировщиков звёзды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как чёрная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зелёную жижу, всасывала её и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлёбываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарилась там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий её человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытьё канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твёрдой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур глубже, высасывайте пустоту, если только может её высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла её свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это ещё не всё, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдаётся, просто перестаёт работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили, дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и всё в порядке.

— Но ведь вы — не врачи! Почему не прислали врача?

— Врача-а! — сигарета подпрыгнула в губах у санитара. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса всё кончено. Однако надо идти, — они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда ещё кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснётся очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и тёмной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь её лицо было

спокойно, глаза закрыты, протянув руку, он ощутил на ладони теплоту её дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

«Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел».

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила её. Как порозовели её щёки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть её, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу её отдать в чистку, чтобы её там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошёл всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошёл в эту тёмную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как всё изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бесцветный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, её отец и мать и её дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещённого дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, пересёк лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чём вы говорите».

Но он не двинулся с места. Он всё стоял, продрогший, ооченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живём в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в неё сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имён игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?

Монтэг пошёл назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошёл к Милдред, заботливо укутал её одеялом и лёг в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Ещё капля. Милдред. Ещё одна. Дядя. Ещё одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая, Милдред. Третья. Дядя. Четвёртая. Пожар. Одна, другая, третья, четвёртая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные, салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвёртая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И всё кружится, несётся, бурной,

клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши её были плотно заткнуты гудящими электронными пчёлами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас, как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он. Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шёл дождь, всё кругом потемнело, мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решётку. Его жена, читавшая сценарий в телевизионной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все

таблетки снотворного, все, сколько их было в флаконе.

— Ну да? — удивлённо воскликнула она. — Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла ещё две, и опять забыла и приняла ещё, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — всё, что было в флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушёл, — она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.

Она ответила, не поднимая головы:

— Пьеса. Начинается через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — она стала водить пальцем по строчкам рукописи. — Ага, вот: «По моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на неё.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чём говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень интересно. И будет ещё интереснее, когда у нас будет четвёртая телевизионная стена. Как ты думаешь, долго нам ещё надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизионную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Третью моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвёртую стену, эта комната была уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятые люди. Можно на чём-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, её поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нём задумчивый взгляд.

— Ну, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я ещё не дочитала до конца.

Он подошёл, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на её лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Ещё что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождём.

— Мне бы не понравилось — ответил он.

— А может, и понравилось бы, если бы попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то попробовать. — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след — значит, я влюблена. Ну как?

Что было делать? Он взглянул на её подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Жёлтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас.

— У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблён.

— Но этого не видно.

— Я влюблён, очень влюблён. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблён, — упрямо повторил он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — она легонько тронула его за локоть...

— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем.

— Я тоже склонён думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я всё время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чём. Пусть поломают голову.

А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная, на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше её. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера

заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лёд, одна была нежной, другая — жёсткой, одна — трепетной, другая — твёрдой как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождём. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот...

Механический пёс спал и в то же время бодрствовал, жил и в то же время был мёртв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещённой конуре в конце тёмного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пёс напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоён ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаюсь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мёртвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно, — а это бывало каждую ночь, пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определённый запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых всё равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пёс схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыплёнок, кошка или крыса, не успев пробежать и несколько метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырёхдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия, или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит её лицо всё в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дёргал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пёс одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в неё жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пёс заворчал.

Монтэг отпрянул.

Пёс приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелёно-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришёл в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности.

— Но-но, старик, — прошептал Монтэг, сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлён на Монтэга.

Монтэг попятился. Пёс сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронёс Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутёмную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пёс затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть: его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.

Монтэг не сразу отошёл от люка, он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещённого лампой под зелёным абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнёс ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался наконец и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пёс? — Брандмейстер разглядывал карты в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто «функционирует». Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и всё, что в нём есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.

— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Ну, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить «память» механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражён, но не разъярён окончательно. Кто-то настроил его «память» ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Насколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра всё проверим. Бросьте об этом думать. Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решётке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и «рассказал» псу?..

Брандмейстер подошёл к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.

— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чём думает пёс по ночам в своей конуре? Что он, правда, оживает, когда бросается на человека? Это даже как-то страшно.

— Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул.

— Экой вздор! Наш пёс — это прекрасный образчик того что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружьё, которое само находит цель и бьёт без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда, вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел её сидящей на лужайке — она вязала синий свитер, три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулёчке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикреплённый кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и тёплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось лёгким загаром.

— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А ещё потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать... — он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена... Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь, правда, подумала, что вы смеётесь надо мной. Я просто дуручка.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела... Очень хорошо, что вы спросили.

— Ну, давайте поговорим о чём-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот понюхайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу.

Она подняла на него свои лучистые тёмные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал... Не хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?

— Посмотрел. — И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеётесь.

— Да?

— Да. Более непринуждённо.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце.

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того чтобы учиться?

— Ну, в школе по мне не скучают, — ответила девушка. — Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому что на самом деле я очень общительна. Всё зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми — значит болтать вот как мы с вами. — Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду. — Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаём вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах, — а потом ещё сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да ещё уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаём, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих или бить стёкла в специальном павильоне для битья стёкол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил ещё то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно, тогда всё было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я ещё была маленькой, мне вовремя задали хорошую трёпку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом.

— Но больше всего, — сказала она, — я всё-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, всё в порядке и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чём не говорят.

— Ну как это может быть!

— Да-да. Ни о чём. Сыплют названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют: «Как шикарно!» Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А ведь в кафе включают ящики анекдотов и слушают всё те же старые остроты или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь всё это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже всё беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, всё было иначе. Когда-то картины рассказывали о чём-то, даже показывали людей.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

— Конечно, замечательный. Ну, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо, как птичка, взлетаете по этому шесту.

Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с чёрного хода. Опять вас пёс беспокоит?

— Нет-нет.

Четвёртый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сиэттле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Ничего себе — способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И, прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе, подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а всё-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти ещё раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что если пройдёт ещё раз, Кларисса нагонит его и всё станет по-прежнему. Но было уже поздно, и

подошедший поезд положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции: «...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвёртого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут...» Шлёпанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно закрытые веки — хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал всё, что было вокруг: начищенную медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. «...Час сорок пять минут...» Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и ещё более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза. Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетных бомбардировщиков со свистом прорезала чёрное преддвассветное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдёт, прикоснётся к Монтэгу, вскроет его вину, причину его мучений. Вину? Но в чём же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнём тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров, их профессия окрасила неестественным румянцем их щёки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные чёрные трубки. Угольно-чёрные волосы и чёрные, как сажа, брови, синеватые щёки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы чёрных волос, чёрных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щёк? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти, их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встаёт брандмейстер Битти. Берёт новую пачку табака, открывает её — целлофановая обёртка рвётся с треском, напоминая треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— Я... я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашённый.

— Но он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— Но если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещённых книг. Названия этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, политые струёй керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Нет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решётки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— Когда-то, давным-давно!.. — воскликнул Битти. — Это ещё что за слова?

«Глупец, что я говорю, — подумал Монтэг. — Я выдаю себя». На последнем пожаре в руки ему попала книжка детских сказок, он прочёл первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он. — Когда дома ещё не были несгораемыми... — и вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он, он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклеллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были раскрыты именно на этой хорошо знакомой Монтэгу странице: «Основаны в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

Правило 1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.

Правило 2. Быстро разжигай огонь.

Правило 3. Сжигай всё дотла.

Правило 4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.

Правило 5. Будь готов к новым сигналам тревоги».

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения заколотил, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон. Монтэг встал со стула и, словно во сне, спустился вниз по шесту.

Механический пёс встrepенулcя в своей конуре, глаза его вспыхнули зелёными огнями.

— Монтэг, вы забыли свой шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рёв сирены и могучий грохот металла.

Это был облупившийся трёхэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверно, не меньше столетия. В своё время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор ещё раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг побежал за ними.

Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушённая ударом по голове. Губы её беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы её, дрогнув, произнесли:

— «Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжём сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда».

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму: «Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-Стрит». Внизу вместо подписи стояли инициалы «Э. Б.».

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Ну хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натывая друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжёлым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Всё равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав её, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, всё по порядку! Керосин сюда! У кого спички?

Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор её молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Непорядок! Неправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало, ко всему остальному! Эта женщина! Она не должна была быть здесь!

Книги сыпались на плечи и руки Монтэга, на его обращённое кверху лицо. Вот книга, как белый

голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нём узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочёл, огнём обожгли его мозг и запечатлелись в нём, словно выжженные раскалённым железом: «И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем». Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал её к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мёртвых тел смиренно, как маленькая девочка.

Нет, он, Монтэг, ничего не сделал. Всё сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала её к потному телу и вынырнула уже пустая... Ловкость, как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожалуйста! Ничего!

Потрясённый, он разглядывал эту белую руку, то отводя её подальше, как человек, страдающий дальновзоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздвогнув, он обернулся.

— Что вы там встали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, поскользнувшись, падали. Вспыхивали золотые глаза тиснёных заглавий, падали, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451 — у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг, спотыкаясь, шёл сзади.

— Выходите! — крикнули они женщине. — Скорее! Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами облитых керосином переплётов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза её с гневным укором глядели на Монтэга.

— Не получить вам моих книг, — наконец выговорила она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваш здравый смысл? В этих книгах всё противоречит одно другому. Настоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте всё это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идём!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас весь дом загорится, — сказал Битти. Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который всё ещё стоял возле женщины.

— Нельзя же бросить её здесь! — возмущённо крикнул Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Надо её заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдёмте со мной.

— Нет, — сказала она. — Но вам — спасибо!

— Я буду считать до десяти, — сказал Битти. — Раз, два...

— Пожалуйста, — промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите, — ответила она.

— Три. Четыре...

— Ну, прошу вас, — Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь, — тихо ответила она.

— Пять. Шесть... — считал Битти.

— Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у неё лежала крохотная тоненькая палочка. Обыкновенная спичка.

Увидев её, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

«Господи, — подумал Монтэг. — а ведь правда! Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днём. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар красивое, эффектное зрелище?»

На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце.

— Уходите, — сказала женщина. Монтэг почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на лужайку, где, как след гигантского червя, пролежала тёмная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Её молчание осуждало их. Битти щёлкнул зажигалкой. Но он опоздал. Монтэг замер от ужаса. Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила. Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперёд, на дорогу. Мощная Саламандра круто сворачивала на перекрёстках и мчалась дальше.

— Ридли, — наконец произнёс Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала «Ридли». Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: «Будьте мужественны, Ридли». И ещё что-то... Что-то ещё...

— «Божьей милостью мы зажжём сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг изумлённо взглянули на брандмейстера.

Битти задумчиво потёр подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колёсами машины.

— Я начинён цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брендмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Чёрт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку.

После небольшой паузы жена наконец сказала:

— Зажги свет.

— Мне не нужен свет.

— Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели, жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот значит как это вышло! Во всём виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — стащили с плеч куртку, бросили её на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой, скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передалась уже и его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично, на что, глядеть на всё...

— Что ты там делаешь? — спросила жена. Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах. Через минуту жена снова сказала:

— Ну! Долго ты ещё будешь вот так стоять посреди комнаты?

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена. Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную как лёд подушку, тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки... Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у неё была влажной.

Позже ночью он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у неё опять были «Ракушки», и опять она слушала далёкие голоса из далёких стран. Её широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что её муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему, Монтэгу, портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нащёптывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Но что нащёптывать? О чём кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше её и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошёл в чужой дом и улёгся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушёл на работу, и ни он, ни женщина так ничего и не заметили...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Не пугайся! Я только хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу. Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было... — она запнулась. — Я не знаю.

Ему стало холодно:

— Неужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. — Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. — Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретила со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения. — Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да, пожалуй, что и не имеет, — сказал он. Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах, и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала всё глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: «Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько ещё проглотить и сама не заметишь?» Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в

следующую... А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и ещё много ночей — теперь, когда это началось. Он вспомнил всё, что было в ту ночь, неподвижное тело жены, распростёртое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещёнными на груди руками. В ту ночь возле её постели он почувствовал, что, если она умрёт, он не сможет плакать по ней. Ибо это будет для него как смерть чужого человека, чьё лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете... И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть её уже не может вызвать у него слёз. Глупый, опустошённый человек и рядом глупая, опустошённая женщина, которую у него на глазах ещё больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом...

«Откуда эта опустошённость? — спросил он себя. — Почему всё, что было в тебе, ушло и осталась одна пустота? Да ещё этот цветок, этот одуванчик!» Он подвёл итог: «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены». Почему же он не влюблён?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тётушки, двоюродные братья и сёстры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их «родственниками»:

«Как поживает дядюшка Льюис?» — «Кто?» — «А тётушка Мод?»

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них ещё пробивалась то тут, то там), проще сказать, Милдред в своей «говорящей» гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашёл туда, стены разговаривали с Милдред:

«Надо что-то сделать!»

«Да, да, это необходимо!»

«Так чего же мы стоим и ничего не делаем?»

«Ну давайте делать!»

«Я так зла, что готова плевать!»

О чём они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят делать? «Подожди и сам увидишь», — говорила Милдред.

Он сидел и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза у него плясали в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя, как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены... Вниз... Вниз... И ничего кругом... Пусто... Гром стихал. Музыка умолкала.

— Ну как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлёбывались от музыки, от какофонии

звуков.

Весь в поту, на грани обморока Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своём кресле, и вдогонку Монтэгу снова неслись голоса «родственников»:

«Теперь всё будет хорошо», — говорила тётушка.

«Ну, это ещё как сказать», — отвечал двоюродный братец.

«Пожалуйста, не злись».

«Кто злится?»

«Ты».

«Я?»

«Да. Прямо бесишься».

«Почему ты так решила?»

«Потому».

— Ну хорошо! — кричал Монтэг. — Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина? И кто эта женщина? Кто они, муж и жена? Жених и невеста? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя понять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Ну, в общем, они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал!.. Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвёртая, тогда это был жук — открытая машина, которую Милдред вела со скоростью ста миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рёва мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума! До пятидесяти пяти! Сбавь скорость!» «Что?» — вопила она, не расслышав. «Скорость!» — орал он. И она вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были «Ракушки».

Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели. Протянув руку, он выдернул музыкальную пчёлку из ушей Милдред:

— Милдред! Милдред!

— Да, — еле слышно ответил её голос из темноты. Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизионных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернётся и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?

— Какую девушку? — спросила она сонно.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну, ту, что учится в школе. Её зовут Кларисса.

— А, да, — ответила жена.

— Я уже несколько дней её нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты её не видала?

— Нет.

— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.

— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.

— Я так и думал, что ты её знаешь.

— Она... — прозвучал голос Милдред в темноте.

— Что она? — спросил Монтэг.

— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...

— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?

— Её, кажется, уже нет.

— Как так — нет?

— Вся семья уехала куда-то. Но её совсем нет. Кажется, она умерла.

— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.

— Нет. О ней. Маклеллан. Её звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется, умерла.

— Ты уверена?..

— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.

— Почему ты раньше мне не сказала?

— Забыла.

— Четыре дня назад!

— Я совсем забыла.

— Четыре дня, — ещё раз тихо повторил он. Не двигаясь, они лежали в темноте.

— Спокойной ночи, — сказала наконец жена. Он услышал лёгкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под её рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.

Он прислушался — его жена тихонько напевала. За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил ещё какой-то странный звук: словно кто-тодохнул на окно. Словно что-то, похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.

«Механический пёс, — подумал Монтэг. — Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно...» Но он не открыл окна.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл веками воспалённые глаза.

— Да, болен.

— Но ещё вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен. — Он слышал, как в гостиной вопили «родственники».

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел её всю — сожжённые химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас «родственники»!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

— Так лучше?

— Благодарю.

— Это моя любимая программа, — сказала она.

— Где же аспирин?

— Ты раньше никогда не болел. — Она опять вышла.

— Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный. — Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый ему стакан с водой.

— Ах! — она снова ушла в ванную. — Что-нибудь вчера случилось?

— Пожар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер, — донёлся её голос из ванной.

— Что же ты делала?

— Смотрела передачу.

— Что передавали?

— Программу.

— Какую?

— Очень хорошую.

— Кто играл?

— Да, ну там вообще — вся труппа.

— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг бог весть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивлённо воскликнула она. Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковёр можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поёт.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищёлкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рёва.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмейстеру Битти? А почему не ты сам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

«Потому что боюсь, — подумал он. — Притворяюсь больным, как ребёнок, и боюсь позвонить потому, что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: „Да, брандмейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе“».

— Ты вовсе не болен, — сказала Милдред. Монтэг откинулся на постели. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь всё бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты её видела, Милли...

— Мне до неё нет дела. Не держала бы у себя книги! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу её. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, — ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал Монтэг. — Есть, должно быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдёт на смерть так, ни с того ни с сего.

— Просто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может быть, даже нормальнее нас с тобой. И мы её сожгли.

— Это всё пройдёт и забудется.

— Нет, это не пройдёт и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошёл.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать! — воскликнул он. — Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене, — сказала Милдред. — Тебе полагалось уйти ещё два часа тому назад. Я только сейчас сообразила.

— Дело не только в гибели этой женщины, — продолжал Монтэг. — Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А ещё я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чём он думал того, что он видел. А потом прихожу я, и — пух! — за две минуты всё обращено в пепел.

— Оставь меня в покое. — сказала Милдред. — Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил всё, что было на прошлой неделе, — два лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и ещё как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому.

— Мне всё равно.

— Машина марки «Феникс» и в ней человек в чёрной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идёт сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен, — промолвил он.

— Сам скажи. — Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза, — рупор сигнала у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли». Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улёгся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Придя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошёл брандмейстер Битти.

— Выключите-ка «родственников», — сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив её, выпустил в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, проведать больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые дёсны и мелкие, белые как сахар зубы.

— Я видел, что к тому идёт. Знал, что скоро вы на одну ночку попроситесь в отпуск.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните.

Он вертел в руках неразлучную свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: «Гарантирован один миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку — зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонёк, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.

— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам всё это объясняли. А теперь нет. И очень жаль. — Пфф... — Только брандмейстеры ещё помнят историю пожарного дела. — Снова пфф!.. — Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заёрзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту — не меньше — сидел молча, в раздумье.

— Как всё это началось, спросите вы, — я говорю о нашей работе, — где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале двадцатого века, — кино, радио, телевидение. И очень скоро всё стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел в постели.

— А раз всё стало массовым, то и упростилось, — продолжал Битти. Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но, когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да, — ответил Монтэг. Битти разглядывал узоры табачного дыма, плывущие в воздухе.

— Постарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия — собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объёме. Сокращённое издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом ещё больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты, потом ещё: десять — двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чьё знакомство с «Гамлетом» — вы, Монтэг, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтэг, это, наверно, так только, смутно знакомый звук, — так вот, немало было людей, чьё знакомство с «Гамлетом» ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей». Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на неё внимания, Битти продолжал:

— А теперь быстрее крутите плёнку, Монтэг! Быстрее! Клик! Пик! Флик!^[1] Сюда, туда, живей, быстрее, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлёп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И через минуту всё уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон всё лишнее, ненужные бесполезные мысли!..

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки её коснулись подушки. Вот она тормошит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьёт как следует подушку и снова положит ему за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: «Что это?» — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется всё меньше и меньше времени, и наконец эти предметы брошены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо ответил Монтэг.

— Застёжка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Всё визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дёргая подушку.

— Да оставь же меня наконец в покое! — в отчаянии воскликнул Монтэг.

Битти удивлённо поднял брови. Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы её ощупывали переплёт книги, и по мере того, как она начала понимать, что это такое, лицо её стало менять выражение — сперва любопытство, потом изумление... Губы её раскрылись... Сейчас спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на её руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки её были пусты. — Не видишь, что ли, что мы разговариваем?

Битти продолжал, как ни в чём не бывало:

— А кегли любите?

— Да.

— А гольф?

— Гольф — прекрасная игра.

— Баскетбол?

— Великолепная.

— Биллиард, футбол?

— Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте всё новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пищи для ума всё меньше. В результате неудовлетворённость. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, всё равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива, — и вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной «тётушки» захохотали над «дядюшками».

— Возьмём теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, — не дай бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги — в подслащённые помои. Так, по крайней мере, утверждали критики, эти заносчивые снобы. Не удивительно, говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И всё это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала господу, привело к нынешнему положению. Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания.

— Но при чём тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А, — Битти наклонился вперёд, окружённый лёгким облаком табачного дыма. — Ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать всё больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, лётчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, учёных и людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одарённый малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы, и ненавидели его от всего сердца? И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют своё ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружьё в доме соседа. Сжечь её! Разрядить ружьё! Надо обуздать человеческий разум. Почём знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот, когда дома во всём мире стали строить из негорючих материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные (раньше они тушили пожары, в этом, Монтэг, вы вчера были правы), тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Это — вы, Монтэг, и это — я.

Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтэга. Позади неё на стенах гостиной шипели и хлопали зелёные, жёлтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов там-тама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал её слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключён был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнений и недовольства среди составляющих её групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего

жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность.

— Да.

По движению губ Милдред Монтэг догадывался, о чём она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на неё, так как боялся, что Битти обернётся и тоже всё поймёт.

— Цветным не нравится книга «Маленький чёрный Самбо». Сжечь её. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и её тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку лёгких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь всё, что рождает тревогу. В печку! Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в «большую трубу». Крематории обслуживаются вертолётами. Через десять минут после смерти от человека остаётся щепотка чёрной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите всё подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастливое совпадение! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевёл дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Её уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню её лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся.

— Время от времени случается — то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Её семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудаков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы всё время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятшек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, ещё когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на её подсознание, в этом я убедился, просмотрев её школьную характеристику. Её интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а ещё лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, — это всё-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зёрна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начинайте их безобидными фактами, пока их не затошнит, ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперёд, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они

напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведёт к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя её ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к чёрту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то всё равно. Я люблю, чтобы меня потрянуло как следует. Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам всё разъяснил. Главное, Монтэг, запомните — мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнётся. Милдред уже не было в дверях.

— Ещё одно напоследок, — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать: да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в своё время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так ещё хуже: один учёный обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звёзды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдёт.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесёт с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз.

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам её не сожжёт, мы это сделаем за него.

— Да. Понятно... — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и всё, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю, — ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось лёгкое удивление.

Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Попозже.

— Жаль, если сегодня не придёте, — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман.

«Я никогда больше не приду», — подумал Монтэг.

— Ну, поправляйтесь, — сказал Битти. — Выздоровливайте. — И, повернувшись, вышел через открытую дверь.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своём сверкающем огненно-жёлтом с чёрными, как уголь, шинами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да: «Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чём-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит... дядя...» Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену, она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтэг», — говорил диктор, — и ещё какие-то слова. — «Миссис Монтэг» — и ещё что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым...

«Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда». Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушает. Монтэг сказал:

— Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем.

— Но ты ведь пойдёшь сегодня? — воскликнула Милдред.

— Я ещё не решил. Пока у меня только одно желание — это ужасное чувство! — хочется всё ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Поезжай, проветришься.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, — только побыстрее. Доведёшь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колёса кролик попадёт, а то и собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо. Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. О чёрт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю. Как будто я слишком многое держал в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Но ведь тебя посадят в тюрьму. — Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена. Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате.

— Ну и пусть. Может, так и надо, посадить меня, пока я ещё кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорит? У него на всё есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно.

Веселье — это всё. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива, — рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — сказал Монтэг. — Не знаю что. Но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху, — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору. Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился. — Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И, чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнёс его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на него. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решётку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул ещё одну решётку и достал книгу. Не глядя, бросил её на пол. Снова засунул руку, вытащил ещё две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в жёлтых, красных, зелёных переплётах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня, — сказал он. — Я сделал это не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба запутались в эту историю.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал её прерывистое дыхание, видел её побледневшее лицо, застывшие широко открытые глаза. Она повторяла его имя — ещё и ещё раз, — затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил её. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же!.. — он ударил её по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы её снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он. — Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь. Нельзя их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав, мы вместе сожжём их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжём! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял её за подбородок. Вглядываясь в её лицо, он искал в нём себя, искал ответ на вопрос, что ему делать.

— Хочешь не хочешь, а мы всё равно уже запутались. Я ни о чём не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны наконец разобраться, почему всё так получилось — ты и эти пилюли и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, чёрт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать всё это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как нужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпишь день, два. Вот всё, о чём я тебя прошу, — и на том всё кончится! Я обещаю, я клянусь тебе! И если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупница разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать её другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил её. Она отшатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные

книги. Нога её коснулась одной из них, и она поспешно отёрнула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела её лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся её. Не понимаю! Почему они боятся Клариссы и таких, как Кларисса? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать её с пожарниками на станции и вдруг понял, что ненавижу их, ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупор у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли».

Тишина.

Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть. Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рупора: «... к вам пришли».

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться ещё раз с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво прозвучал голос рупора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнём? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в неё. Думаю, надо начать с начала...

— Он войдёт, — сказала Милдред, — и сожжёт нас вместе с книгами.

Рупор у двери наконец умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чьё-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись. По дорожке. Потом через лужайку...

— Посмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг. Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десятков страниц, перескакивая с одного на другое, пока наконец не остановился на следующих строках:

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди, — ответил Монтэг. — Начнём опять. Начнём с самого начала.

Часть 2

СИТО И ПЕСОК



Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На её умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях из золотой мишуры, и мужчины в чёрных бархатных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишённым выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по несколько раз перечитывал

вслух какую-нибудь страницу.

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять её.

— Она же умерла. Ради бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену, Монтэг, весь дрожа, как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стёклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу:

— «Наша излюбленная тема: о Себе». — Прищурившись, он поглядел на стену. — «Наша излюбленная тема: о Себе».

— Вот это мне понятно, — сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много, много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в глаза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с полу обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что всё написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождём, что-то тихо заскреблось в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Почему молчит рупор?

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, лёгкое шипение электрического пара. Милдред рассмеялась.

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать её?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах голубых электрических разрядов.

— Продолжим, — спокойно сказал Монтэг. Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мёртвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот «родственники» — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице её отразилось удивление, потом страх.

— Он может прийти сюда, сжечь дом, «родственников», всё! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во всё это! Почему я должна читать книги? Зачем?

— Почему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Прошлой ночью я видел змею. Отвратительней её нет

ничего на свете! Она была как будто мёртвая и вместе с тем живая. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на неё? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдёшь туда, прочитаешь запись? Не знаю только, под какой рубрикой её искать: «Гай Монтэг», или «Страх», или «Война»? А может, пойдёшь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклеллан? Где её теперь искать? В морге? Вот слушай!

Над домом проносились бомбардировщики, один за другим, проносились с рёвом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они воют у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всём мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому ли нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения всё тех же ужасных ошибок! Я что-то не слыхал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть... Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый клоун! Сегодня в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

«Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?» — Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

«Бедная Милли, — думал он. — Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?»

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрёл год тому назад. В последнее время он всё чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло всё, что произошло в тот день: зелёный уголок парка, на скамейке старик в чёрном костюме, при виде Монтэга он быстро спрятал что-то в карман пальто.

...Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Подождите!

— Я ни в чём не виноват! — воскликнул старик дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чём-то виноваты, — ответил Монтэг. Какое-то время они сидели молча в мягких зелёных отсветах листвы. Потом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка, он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и когда наконец его страх перед Монтэгом прошёл, он стал словоохотлив, он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на небо, на деревья, на зелёные лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Потом старик, ещё больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку — и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки его, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о самих вещах, сэр, — говорил Фабер. — Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и всё, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумажки. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки, — сказал старик, — на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас, — удивлённо ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стенной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью «Предстоящие расследования (?)». Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донёс на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и наконец в трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чём вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного!

Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, весёлым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять всё сначала!

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же её вернуть? Ведь брандмейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унёс. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я её подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задёрнулись губы.

— Ну подумай, что ты делаешь! Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слушал её. Он слышал голос Битти.

«Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берём страничку. Осторожно. Как лепесток цветка. Поджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в чёрных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключённые в словах, все лживые обещания, поддержанные мысли, отжившую философию!»

Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, а вокруг него пол был усеян трупами чёрных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на неё внимания.

— Остаётся одно, — сказал он. — До того как наступит вечер, и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с неё копию.

— Ты будешь дома, когда начнётся программа Белого клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Милдред.

Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои «родственники» любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаёшь такие глупые вопросы?

Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слёз.

— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка, — сказала Милдред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл её и перешагнул порог.

Дождь перестал, на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было, улица и лужайка были пусты. Вдох облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

«Я весь словно застыл, — думал он. — Когда же это началось? Когда застыло моё лицо, моё тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я натолкнулся на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину?»

Это пройдёт. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я всё сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернёт мне моё прежнее лицо, мои руки, они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без неё я как потерянный».

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота — изразцы и чернота, цифры и снова чернота, всё несло мимо, всё складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он был ещё ребёнком, он сидел однажды на берегу моря, на жёлтом песке дюн

в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получишь десять центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь сито. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито всё оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный, июльский день, и слёзы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и всё подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слова просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтэг, должен это сделать, я заставлю себя это сделать!»

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры:

— Зубная паста Денгэм!..

«Замолчи, — думал Монтэг. — Посмотрите на лилии, как они растут...»

— Зубная паста Денгэм! «Они не трудятся...»

— Зубная паста...

«Посмотрите на лилии... Замолчи, да замолчи же!..»

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— Денгэм. По буквам: Д-е-н... «Не трудятся, не прядут...»

Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито.

— Денгэм освежает!..

«Посмотрите на лилии, лилии, лилии...»

— Зубной эликсир Денгэм!

— Замолчите, замолчите, замолчите!.. — эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспалёнными губами, сжимавшего в руках открытую книгу, все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денгэм, Денгэм, зубная паста, Денгэм, Денгэм, зубной эликсир — раз два, раз два, раз два три, раз два, раз два, раз два три, все, кто только что машинально бормотал себе под нос: «Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста...»

И, как бы в отместку, рупоры обрушили на Монтэга тонну музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились, оглушённые до состояния полной покорности, они не убежали, ибо бежать было некуда: огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землёй.

— Лилии полевые...

— Денгэм!

— Лилии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него:

— Позовите кондуктора.

— Человек сошёл с ума...

— Станция Нолл Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл Вью! — громко.

— Денгэм, — шёпотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг всё ещё стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться.

И только тогда Монтэг рванулся вперёд, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как ДВИЖУТСЯ его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются лёгкие при каждом вдохе и выдохе и воздух обжигает горло. Вслед ему нёсся рёв: «Денгэм, Денгэм, Денгэм!!»

Зашипев, словно змея, поезд исчез в чёрной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Понимаете? Один.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно отворилась, выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы, и кожа щёк, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под мышкой, и старик разом изменился, теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным. — Глаза Фабера были прикованы к книге. — Значит, это правда?

Монтэг вошёл. Дверь захлопнулась.

— Присядьте. — Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвёт от неё взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню и там — стол, загромождённый частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел всё это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая

дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевёл нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы?..

— Я украл её. Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу.

— Вы смелый человек.

— Нет, — сказал Монтэг. — Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге:

— Можно?..

— Ах да. Простите. — Монтэг протянул ему книгу.

— Столько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор... — Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. — Всё та же, та же, точь-в-точь такая, какой я её помню! А как её теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из «родственников». Я часто думаю, узнал бы господь бог своего сына? Мы так его раздели. Или, лучше сказать, — раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или ещё какими-то пряностями из далёких заморских стран. Ребёнком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идёт, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда наконец придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А ещё я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках, лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть всё, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чём я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и теперь быть в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио- и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу всё, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно, — в старых грампластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из мест, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас ещё непонятно, о чём я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трёх вещей. Первая. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит. У неё есть лицо. Её можно изучать под микроскопом. И вы найдёте в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своём разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более «художественна» книга. Вот моё определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют её и оставляют растерзанную на съедение мухам.

— Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живём в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже всё его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но, когда Геркулес оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас, вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да. Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите своё свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью ста миль в час, так что ни о чём уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это «реальность». Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да ведь это чистейший вздор!»

— Только «родственники» — живые люди.

— Простите, что вы сказали?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой «реальностью», как телевизор.

— И слава богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Подожди». Вы её властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнёт вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже «среда» — такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объёмного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— Денгэм, Денгэм, зубная паста... «Они не трудятся, не прядут», — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, — это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу.

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хоть изложу свой план...

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: bravo!

— Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать наверняка, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы всё-таки только и делали, что искали самый крутой утёс, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И, может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утёсы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашёптывала ему во время триумфа: «Помни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Всё, что вы ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познаёт через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по дороге, так хоть будете знать, что плыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьёзно — насчёт пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего не скажешь, — Фабер нервно покосился на дверь спальни. — Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! Саламандра, пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто ещё?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших писателей, историков, лингвистов?..

— Умерли или уже очень стары.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут подозрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актёры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделло, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но всё это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов её надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертисмент, и вряд ли на этом всё держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый клоун, или кричать громче, чем сам господин Главный Фокусник и все гостиные «родственники»? Если можете, то,

пожалуй, добьётесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг друга?

Пока они говорили, над домом проносились эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному рёву реактивных моторов, чувствуя, как от него всё сотрясается у них внутри.

— Потерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несётся к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда всё рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: «А я ещё помню Софокла»? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже всё равно?

— Нет, мне не всё равно. Мне до такой степени не всё равно, что я прямо болен от этого.

— И вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи. Спокойной ночи. Руки Монтэга протянулись к библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.

— Хотели бы вы иметь эту книгу?

— Правую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Ещё шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас.

Старик взглянул на него.

— Вы этого не сделаете!

— Могу сделать, если захочу.

— Эта книга... не рвите её!

Фабер опустился на стул. Лицо его побелело как полотно, губы дрожали.

— Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы научили меня.

— Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

— У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нила, записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, будто прекрасная статуя из льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожирателей огня. Так вот, Монтэг, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнётся война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти «родственники», обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шёпот. Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, чёрт! Стоит отвести глаза, и я уже всё забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти! Он много читал, у него на всё есть ответ, или так, по крайней мере, кажется. Голос у него, как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: чёрт возьми, до чего же здорово!

Старик кивнул головой:

— Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он ещё раз с усилием перевёл дыхание. С его губ слетело имя Монтэга.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:

— Пойдёмте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил дверь спальни. Следом за ним Монтэг вошёл в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприёмниками стало моей страстью. Именно эта

трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясясь от страха, всё ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придёте ко мне, но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, — вот этого я не мог сказать наперёд. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А всё-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Похож на радиоприёмник «Ракушку».

— Но это больше, чем приёмник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду, как пчелиная матка, сидящая в своём улье. А вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчёлы погибнут, меня это не коснётся, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свои страхи с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рисковую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зелёную пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг! Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Я слышу вас!

Старик засмеялся: — Я вас тоже хорошо слышу, — Фабер говорил шёпотом, но голос его отчётливо звучал в голове Монтэга.

— Когда придёт время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в темноту, а сам остаюсь за линией фронта, мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает что может, — ответил Монтэг. Он вложил библию в руки старика. — Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо неё. А завтра...

— Да, завтра я повिдаюсь с безработным печатником. Хоть это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я всё время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только понадобится. И всё же дай вам бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь растворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на тёмной улице и снова один на один с миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звёзд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить

его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шёл от станции метро, деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, его обслуживали механические роботы). Он шёл и, вставив «Ракушку» в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнётся война, быстрая победа обеспечена... — Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов, — шептал голос Фабера в другом ухе. — Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придётся вам полагаться на меня.

— На тех я тоже полагался.

— Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг. Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы всё запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер, на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека всё запоминает, если тихонько нащёптывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот слушайте. — Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. — Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шёл по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой лёгкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с поспешностью человека, спасающегося от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтэг прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной.

Дождёвая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг, — предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался, — почти про себя сказал Монтэг. — Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтэг.

— Чудесное ревью, не правда ли? — воскликнула Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трёх телевизиорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

«Как это она ухитряется?» — думал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновских лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к её трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолёта, потом нырнула в мутно-зелёные воды моря, где синие рыбы пожирали красных и жёлтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя ещё две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетели человеческие тела.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг просунул руку внутрь стены и повернул центральный выключатель. Изображения на стенах погасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнётся война? — спросил Монтэг. — Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят, — сказала миссис Фелпс. — То приходят, то уходят, себе места не находят... Пита вчера призвали. Он вернётся на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ёрзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь, — сказала миссис Фелпс. — Пусть Пит беспокоится, — хихикнула она. — Пусть себе Пит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да, — подхватила Милли. — Пусть себе Пит тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на

войне? Нет.

— На войне — нет, — согласилась миссис Фелпс. — Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слёз и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорей бы выходила замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред. — Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин, так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрёл ребёнком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хоть он и пробовал обращаться к ним в молитве и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться чужой верой, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его лёгкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Всё равно как если бы он зашёл в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых — просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трёх женщин, нервно ёрзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил наконец недоеденный кусок, женщины невольно подались вперёд. Они насторожённо прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погружённых в тяжкий сон без сновидений. Монтэгу чудилось — если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след солёного пота. И чем дальше, тем явственнее выступала испарина на этих мёртвых лбах, тем напряжённее молчание, тем ощутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, ещё минута — и они, громко зашипев, взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает её этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребёнка? Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну, что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена. Да, сэр. Мой врач говорил — кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И всё-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены

— и всё. Как при стирке белья. Вы закладываете бельё в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут пинка. Слава богу, я ещё могу ответить им тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но видя, что Монтэг не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике.

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избравшихся в президенты.

— О да. А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький, невзрачный, и выбрит кое-как, и причёсан плохо.

— И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил. А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг — и ответ вам сразу станет ясен.

— Чёрт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете — ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем. Мы их видели на стенах вот этой самой гостиной! Всего полгода назад. Один всё время ковырял в носу. Ужас что такое! Смотреть было противно.

— И по-вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс.

Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери! Но Монтэг уже исчез, через минуту он вернулся с книгой в руках. — Гай!

— К чёрту всё! К чёрту! К чёрту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение всё теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивлённо заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там к чёрту теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал у него в ушах предостерегающий шёпот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях! О собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал и не верил своим ушам.

— Позвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов, — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо. — Вы всё погубите. Сумасшедший! Замолчите! Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг. Они послушно сели.

— Я ухожу домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки, — миссис Фелпс кивнула головой. — Будет очень интересно.

— Но это запрещено, — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И, если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу, — пронзительно звенела в ухе мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите всё в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время всё было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтёт нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это всё вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите да, Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймёте — ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу!

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— «Берег Дувра».

Язык Монтэга прилип к гортани.

— Ну читай же — погромче и не торопись.

В комнате нечем было дышать. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней — три стула на середине и он, нетвёрдо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвёт руки от причёски. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой всё увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскалённом воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан
Когда-то полон был и, брег земли обвив,
Как пояс, радужный, в спокойствии лежал
Но нынче слышу я
Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив
Гонимый сквозь туман
Порывом бурь, разбитый о края
Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать.

Дозволь нам, о любовь,
Друг другу верным быть.
Ведь этот мир, что рос
Пред нами, как страна исполнившихся грёз,
Так многолик, прекрасен он и нов,
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни состраданья,
И в нём мы бродим, как по полю брани,
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей[2]

Миссис Фелпс рыдала.

Её подруги смотрели на её слёзы, на искажённое гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться её, ошеломлённые столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясён и обескуражен.

— Тише, тише, Клара, — промолвила Милдред. — Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я... — рыдала миссис Фелпс. — Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот это-то я и хотела доказать! Я всегда говорила, что поэзия — это слёзы, поэзия — это самоубийства, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злой!

— Ну, а теперь... — шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошёл к камину и сунул руку сквозь медные брусья решётки навстречу жадному пламени.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова, — продолжала миссис Бауэлс. — Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете, так нужно ещё мучить

человека этакой чепухой.

— Клара, успокойся! — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя её за руку. — Прошу тебя, перестань! Мы включим «родственников», будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Мы сейчас устроим пирушку.

— Нет, — промолвила миссис Бауэлс. — Я уйду. Если захотите навесить меня и моих «родственников», милости просим, в любое время. Но в этом доме, у этого сумасшедшего пожарника, ноги моей больше не будет.

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. — Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже размозжит себе голову! Идите домой и подумайте о тех десятках аборт, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте над тем, как могло всё это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите! — уже кричал он. — Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул за дверь!

Дверь хлопнула, дом опустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег.

Из ванной комнаты донёлся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зелёную пульку и сунул её в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!..

Монтэг обыскал весь дом и нашёл наконец книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он всё это сделал?

Он отнёс книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошёлся по пустым комнатам.

— Милдред! — позвал он у дверей тёмной спальни. Никто не ответил.

Пересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил своё полное одиночество и всю тяжесть совершённой им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтэг чувствовал теперь, что в нём заключены два человека: во-первых, он сам, Монтэг, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал всё время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие ещё будут в его жизни, и все ночи — и тёмные, и озарённые ярким светом луны — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь

сознание его наконец переполнится и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом, в один прекрасный день, когда всё перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создаётся новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймёт, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных.

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. А они ничего не видят — только этот нарядный, весёлый блеск. Монтэг, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я всё-таки скажу: вы чуть не погубили всё в самом начале. Будьте осторожны. Помните, я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым! Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведёте с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных глупых женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверно, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясён, когда увидел слёзы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизни такой, как она есть, закрыть на всё глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не всё благополучно в этом мире.

Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

— Мои ноги... — пробормотал Монтэг. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство. Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять надделать ошибок. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я совал своё невежество всем в лицо. Меня били за это. И к сорока годам я отточил наконец оружие моих знаний. А если вы будете скрывать своё невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идёмте вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделённые глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке, я тоже буду слушать и всё примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.

— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.

Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая Саламандра дремала, наполнив брюхо керосином, на её

боках, закреплённые крест-накрест, отдыхали огнемёты. Монтэг прошёл сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — вот идёт любопытнейший экземпляр, на всех языках мира именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в неё книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету.

— «Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума». Добро пожаловать, Монтэг. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? В покер сыграем?

Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни, они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтэга, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обгрёнными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выходил в уборную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то, чтобы мы вам не доверяли, но знаете ли, всё-таки...

Все захохотали.

— Ладно уж, — сказал Битти. — Кризис миновал, и всё опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в своё время заблуждаться. Правда всегда будет правдой, кричали мы. Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя. «О мудрость, скрытая в живых созвучьях», — как сказал сэр Филип Сидней. Но, с другой стороны: «Слова листе подобны, и где она густа, так вряд ли плод таится под сению листа», — сказал Александр Поп. Что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Осторожно, — шептал Фабер из другого далёкого мира.

— Или вот ещё: «Опасно мало знать, о том не забывая, кастьскою струёй налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум». Поп, те же «Опыты». Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтэг, а? Как вам кажется?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню, — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. — Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошёл через это.

— Нет, я ничего, — ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилёг отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знания сильнее власти». А я вам: тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определённую на неопределённую». Держитесь пожарников, Монтэг. Всё остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его, — шептал Фабер. — Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком.

— Вы же мне ответили на это: «Правда, рано или поздно, выйдет на свет божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О господи, он всё про своего коня!» А ещё я сказал: «И чёрт умеет иной раз сослаться на священное писание». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье!» Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь яркая защита?» А вы снова кричали: «Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови!» Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!» Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам», — как сказал однажды мистер Поль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет! Замолчите! Вы стараетесь всё запутать. Довольно!»

Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Чёрт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труб и звона колоколов. Поговорим ещё? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела ему на ухо мошка. — Он мутит воду!

— Ох, как вы испугались, — продолжал Битти. — Я и правда поступил жестоко — использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги — это такие предатели! Вы думаете, они вас поддержат, а они оборачиваются против вас же. Не только вы, другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имён существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на Саламандре и спросил: «Нам не по пути?» Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание, страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Всё хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесённых ему ударов медленно затихали где-то в тёмных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели наконец вихри пыли, взметённые в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал всё, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я.

Вам придётся выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте — брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти поём разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошёл к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно подождать ровно сорок секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой кверху: вернёмся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперёд!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нём было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и рёвом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе Саламандры, словно пища в животе великана. Пальцы Монтэга прыгали на сверкающих поручнях, то и дело срываясь в холодную пустоту, ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, всё время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной, пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зёрнышки разума, и о своей нелепой идиотской затее читать им книгу. Всё равно, что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Ещё одна вспышка гнева, с которой он не умел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен, по-настоящему спокоен?

— Вперёд, вперёд!

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вёл он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперёд с высоты водительского трона, полы его тяжёлого чёрного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру.

— Вперёд, вперёд, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг?

Розовые, словно фосфоресцирующие щёки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

Саламандра круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с неё люди. Монтэг стоял, не отрывая воспалённых глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

«Я не могу сделать это, — думал он. — Как могу я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом».

Битти — от него ещё пахло ветром, сквозь который они только что мчались, — вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Пожарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбегались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся. Битти следил за его лицом.

— Что с вами, Монтэг?

— Что это? — медленно произнёс Монтэг. — Мы же остановились у моего дома!

Часть 3

ОГОНЬ ГОРИТ ЯРКО



В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один с сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Ну вот, — промолвил Битти, — вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумеует, как это могло случиться. Разве я не предупредил

вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало, он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — тёмного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Всё записано в её карточке. Эгэ! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно поглядеть на ваше потерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп! Экая чушь! И что хорошего она всем этим сделала?

Монтэг присел на холодное крыло Саламандры. Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову, вправо — влево, вправо — влево...

— Она всё видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала...

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом: заставлять человека ни с того ни с сего чувствовать себя виноватым. Чёрт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась, по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в заостренней руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, — лицо белое от пудры, рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои «родственники», бедняжки, бедняжки! Всё погибло, всё, всё теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из гранёного стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную чёрную преграду.

— Монтэг, это я — Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите, какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает, всякий твёрдо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть, вот в чём беда. Впрочем, что об этом толковать! Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтэг?

— Монтэг, можете вы спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шёл к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щёлкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как

зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени.

— Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечёт к нему и старого и малого? — Битти погасил и снова зажёл маленькое пламя. Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашёл. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И всё же, что такое огонь? Тайна. Загадка! Учёные что-то лепечут о трении и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печь её. Вот и вы, Монтэг, сейчас представляете собой такое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно. Гигиенично. Эстетично.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шёпот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу — Книги с оторванными переплётками и разлетевшимися, словно лебединные перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волноваться, — просто пожелтевшая бумага, чёрные литеры и потрёпанные переплётки.

Это всё, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред.

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнём. Вы сами должны очистить свой дом.

— Монтэг, разве вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пёс! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пёс где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?

— Да. — Монтэг щёлкнул предохранителем огнём.

— Огонь!

Огромный язык пламени вырвался из огнём, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтэг вошёл в спальню и дважды выстрелил по широким постелям, они вспыхнули с громким свистящим шёпотом и так жаростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжёг стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал всё это изменить, он сжёг стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — всё, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-«ракушка».

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же, теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает всё!

— Монтэг, книги!

Книги подсакивали и металась, как опалённые птицы их крылья пламенели красными и жёлтыми перьями.

Затем он вошёл в гостиную, где в стенах притаились погружённые в сон огромные безмозглые чудовища, с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трёх голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — пустота откликнулась Монтэгу

яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе её, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его лёгкие. Как ножом, он разрезал её и, отступив назад, послал комнате в подарок ещё один огромный ярко-жёлтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и чёрного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвёртого утра. Люди разошлись по домам: от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках, тёмные пятна пота расползались под мышками, лицо было всё в саже. За ним молча стояли другие пожарники, их лица освещал слабый отблеск догорающих огней.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул.

— А ещё раньше то же самое сделали её приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы всё равно попались, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели, — вы по горло увязли в трясине, стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сравняли его дом с землёй, там, под обломками была погребена Милдред и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронёсшейся бури ещё отдавались где-то внутри, затихая, колени Монтэга сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну зачем, скажите пожалуйста, вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он был далёко и убегал прочь, оставив своё бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Сильный удар по голове отбросил его назад. Зелёная пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил её и поднёс к уху.

Монтэг слышал далёкий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял пульку от уха и сунул её в карман.

— Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах «Ракушка», но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемёта. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его чуть-чуть расширились. Монтэг прочёл в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки — что они ещё натворили? Позже, вспоминая всё, что произошло, он никак не мог понять, что же, в конце концов, толкнуло его на убийство: сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Последние рокошующие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.

Лицо Битти расплзлось в чарующе-презрительную гримасу.

— Что ж, это недурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? «Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно ограждён». Так, что ли? Эх вы, незадачливый литератор! Действуйте же, чёрт вас дери! Спускайте курок!

И Битти сделал шаг вперёд.

— Мы всегда жгли не то, что следовало... — смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнемёт. Гай, — промолвил Битти с застывшей улыбкой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемёта. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскалённую плиту, что-то забулькало и забурило, словно бросили горсть соли на огромную чёрную улитку и она расплылась, вскипев жёлтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Ещё несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемёт.

— Повернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной, пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Лёгкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса. Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко чёрно-серого дыма.

Пёс сделал прыжок — он взвился в воздухе фута на три выше головы Монтэга, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтэг встретил его струёй пламени, чудесным огненным цветком, — вокруг металлического тела зверя завились жёлтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пёструю оболочку. Пёс обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнемётом футов на десять в сторону, к подножью дерева, Монтэг почувствовал на мгновение, как пёс барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу, — и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло её металлические кости из суставов, распорол ей брюхо, и нутро её брызнуло во все стороны красным огнём, как лопнувшая ракета.

Монтэг лёжа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь и затихло это мёртвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пёс и сейчас ещё готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное

впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу...

Что же теперь делать?..

Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, ещё дальше — двое пожарных и Саламандра... Он взглянул на огромную машину. Её тоже надо уничтожить...

«Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги! Осторожно, осторожно... вот так!»

Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мёртвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на неё, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина, Монтэг не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал её и молил — иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок.

«Битти, — думал он, — теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили: „Незачем решать проблему, лучше сжечь её“. Ну вот я сделал и то и другое. Прощайте, брандмейстер».

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на неё, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чёртов идиот, дурак проклятый... Посмотри, что ты натворил, и как теперь всё это расхлёбывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев — да, не сумел сдержать себя и вот всё испортил, всё погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисса. И всё же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы ещё спасём то, что осталось, мы всё сделаем, что можно. Если уж придётся гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашёл книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не всё. Четыре ещё лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие Саламандры, рёв их сирен сливался с рёвом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекали голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

Битти хотел умереть.

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтэга, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания всё ещё сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожжённое кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти — пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: «Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!»

Он старался всё припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того как в неё вторглись сито и песок, зубная паста Денгэм, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка — слишком много для двух-трёх коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

«Вставай! — сказал он себе. — Вставай, чёрт тебя возьми!» — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавоочное покалывание, и наконец, после того как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он всё-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперёд. Книги он держал в руках. Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в не остывшем ещё сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжёг и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбёшка, в крохотной зелёной капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь кучка костей, опутанных спёкшимися сухожилиями.

Запомни: их надо сжечь или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио «Ракушку», по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой.

— Внимание! Внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарник. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы, залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через неё: слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декораций, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить. «Ракушка» жужжала в ухе.

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг попятился в тень — прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука-автомобиля остановились возле неё, чтобы

заправиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжить свой путь... Путь куда? Да, спросил он себя, куда же я бегу?

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что всё это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его, даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Всё равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нём быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдёт дальше своим путём. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские вертолеты. Их было много, казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: тут один, там другой — они садились на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с рёвом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски.

Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошёл в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донёсся голос диктора: «Война объявлена». Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Пусть война подождёт. Для него она начнётся позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка кегельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безымянных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему ещё предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля. Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В лёгких царапнуло, словно горячей щёткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги, как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но всё равно, пусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать — сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он пролетит эти три

квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдёшь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъёме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: шум слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и наконец осветили Монтэга.

Иди-иди, не останавливайся!

Монтэг замешкался на мгновение. Потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперёд. Ноги его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешёл на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рёв мотора становился всё громче — машина набирала скорость.

Полиция, конечно. Заметили меня. Всё равно, спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и всё.

Машина мчалась, машина ревела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дёргаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперёд, вперёд, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперёд, крича в каменную пустоту, а жук-автомобиль нёсся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина всё ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рёв, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал. Я погиб! Всё кончено! Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтэга, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперёд. Он поднял её. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он глянул вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диковинка в наши дни! — и решили: «А ну, сшибём его!» — даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот — шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и была для них

острота таких прогулок.

«Они хотели убить меня», — подумал Монтэг. Он стоял пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. — «Да, они хотели убить меня, просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают».

Монтэг побрёл ко всё ещё далёкому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекаладывал их из одной руки в другую, словно игрок карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно повторил ещё раз очень громко:

— Может быть, это они убили Клариссу!

И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку.

Слёзы застилали глаза.

Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернётся и выбросит всех вон. Но если бы Монтэг не упал?..

Монтэг вдруг затаил дыхание.

В четырёх кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колёса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в тёмном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или то было лишь минуту назад? Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез, взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы...

Дом был погружён в молчание.

Монтэг подошёл со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застеклённую дверь чёрного хода, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

«Миссис Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришёл и ваш черёд, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что сжёг ваш муж, за всё горе, что он не задумываясь причинял людям».

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся: погружённый в темноту и молчание, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились вертолеты. По пути Монтэг зашёл в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поёживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены и Саламандры с рёвом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша её дома. А сейчас она ещё крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Ещё раз. Ещё. Шёпотом произнесённое имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонёк блеснул в домике Фабера. Ещё минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь.

— Я вёл себя, как дурак, с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу, одному богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела, — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг всё умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжёг его из огнемёта.

Фабер опустил на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как всё это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Ещё вчера всё было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и всё же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мёртва, а когда-то он был моим другом. Милли ушла, я считал, она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что это так. Хоть в это я верю, а больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как ещё снаружи не было видно. И вот теперь я пришёл к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что наконец делаю то, что нужно. Или, может быть, потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придётся совершать ещё более смелые поступки, ещё больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена война?

— Да, слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Война кажется чем-то далёким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана стодолларовую бумажку. —

Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдёте нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела. Фабер кивнул головой.

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите её и ступайте по ней. Всё сообщение ведётся теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея ещё сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих углах, ещё можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их называют. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идёт отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большею частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им всё же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события. Фабер торопливо провёл Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.

Он включил экран.

— Монтэг, — произнёс телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Всё ещё разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пёс.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пёс действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор как впервые было применено для розыска преступников, ещё ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнёт свой путь по следу преступника...

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это нам не помешает. Они выпили.

— ...Обоняние механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки.

Лёгкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу, словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе, словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взял за неё рукой, — их было множество, и они поблёскивали, как хрустальные

подвески крохотной люстры. На всём остались крупницы его существа, он, Монтэг, был везде — и в доме и снаружи, он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

— Сейчас Механический пёс будет высажен с вертолёта у места пожара!

На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простынёй и опускающийся с неба вертолёт, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война...

Как зачарованный, боясь пошевелиться, Монтэг следил за происходящим. Всё это казалось таким далёким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это всё обо мне, — думал он, — ах ты, господи, ведь это всё обо мне!»

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объёмному пламенем дому мистера и миссис Блэк и наконец сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитость, о которой все говорят, к которой прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объёмным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазеваётся в этот последний момент, он ещё сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла — во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад разбуженных истошным воем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успеет ли он сказать своё последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пёс схватит его, не должен ли он, Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им ещё долго жило после того, как пёс, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! Где ему найти такое слово, такое последнее слово, чтобы огнём обжечь лица людей, пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С вертолёта плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мёртвое, ни живое, что-то, излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемёт и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, щёлканье, лёгкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана:

— Пора. Я очень сожалею, что так всё вышло.

— Сожалеете? О чём? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я всё это заслужил. Идите, ради бога, идите! Может быть, мне удастся задержать их...

— Пойдите. Какая польза, если и вы попадёте? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половик в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах, посыпьте всё нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю ваши поливные установки в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку:

— Я всё сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или ещё через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный почтамт, до востребования. Жаль, что не могу всё время держать с вами контакт, — это было бы очень хорошо и для вас и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Ещё одна просьба. Скорей дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое своё платье — старый костюм, чем заношенней, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера, — промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий.

Взяв виски, Монтэг обрызгал им поверхность чемодана:

— Совсем нам ни к чему, чтобы пёс сразу учуял оба запаха. Можно, я возьму с собой остаток виски? Оно мне ещё пригодится. О, господи, надеюсь, наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, ещё раз взглянули на телевизор. Пёс шёл по следу медленно, крадучись, пригнувшись к ночному ветру. Над ним кружились вертолёты с телекамерами. Пёс вошёл в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем всё более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощанье — или, может быть, ему только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, лёгкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колыхнется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом Механический пёс не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нёс с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, всё время ощущал гнёт этой тишины. Наконец он стал невыносим. Монтэг бросился бежать.

Он бежал к реке. Остановившись временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещённые окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неоновых пар, то появлялся, то исчезал Механический пёс, мелькал то тут, то там, всё дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера!

«Беги, — говорил себе Монтэг, — не останавливайся, не мешкай!»

Экран показывал уже дом Фабера, поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пёс остановился, вздрагивая.

Нет! Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С её кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

Монтэгу стало трудно дышать, в груди теснило, словно туда засунули кулак.

Механический пёс повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К чёрту! К чёрту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, всё сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймут его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо «Ракушку»:

— Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живёт в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться!

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать!

— Выглянуть по счёту десять. Начинаем. Один! Два! Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее!левой, правой!

— Четыре!

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

— Пять!

Их руки коснулись дверных ручек. С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга

пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперёд, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

— Шесть, семь, восемь!

На тысячах дверей повернулись дверные ручки.

— Девять!

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону, к тёмной движущейся массе воды.

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба, бледные, испуганные, они прячутся за занавесками, как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами, серые мысли в окаменелой плоти.

Но Монтэг был уже у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошёл в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу, он пил её, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит её. А потом, держа чемодан в руке, он пошёл по воде прочь от берега и брёл до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног, течение подхватило его и понесло в темноту.

Он уже успел проплыть ярдов триста по течению, когда лёс достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры вертолётов. Потоки света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его всё дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, вертолёты повернули к городу, словно напали на новый след. Ещё мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и лёс. Остались лишь холодная река и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, всё дальше от города и его огней, всё дальше от погони, от всего.

Ему казалось, будто он только что сошёл с театральных подмостков, где шумела толпа актёров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог ещё вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него.

Тёмные берега скользили мимо, река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звёзды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг светил. Огромная звёздная колесница катилась по небу, грозя раздавить его.

Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя всё дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна, она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, она давала время обдумать всё, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берёт свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнём. Горит и горит изо дня в день, всё время. Солнце

и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Всё это вдруг слилось в сознании Монтэга и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведённых на этой реке, он понял наконец, почему никогда больше он не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несётся по кругу и вертится вокруг своей оси.

Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Всё сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в грампластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твёрдого грунта, подошвы ботинок зазвенели о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огляделся. Перед ним была тёмная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяжённостью, раскинувшееся на тысячи миль и ещё дальше, без предела, зелёные холмы и леса ожидали к себе Монтэга.

Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пёс, что вершины деревьев вдруг застывают и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами вертолётов.

Но по равнине пробежал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пёс больше не преследует его? Почему погоня повернула обратно, в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

«Милли, — подумал он. — Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: „Замолчи! Замолчи!“. Милли, Милли». Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена, донёсшийся с далёких полей, воскресил вдруг в памяти Монтэга давно забытую картину. Однажды ещё совсем ребёнком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть ещё другой мир, где коровы пасутся на зелёном лугу, свиньи барахтаются в полдень в тёплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками.

Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Лежать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышимым ночным звукам.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги

затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у тёмного окна и станет расчёсывать косу. Её трудно будет разглядеть, но её лицо напомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далёком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, знавшей, о чём говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдёт от окна, потом опять появится наверху, в своей залитой лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерти под рёв реактивных самолётов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своём надёжном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные незнакомые ему звёзды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнёт глаз и всю ночь на губах его будет играть улыбка, тёплый запах сена и всё увиденное и услышанное в ночной тиши послужит для него самым лучшим отдыхом. А внизу, у лестницы, его будет ожидать ещё одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещённый розовым светом раннего утра, полный до краёв ощущением прелести земного существования, и вдруг замрёт на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснётся его рукой.

У подножья лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это всё, что ему теперь нужно — доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать.

Стакан молока, яблоко, груша. Он вышел из воды.

Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, леденящим мокрым телом ветром, — всё это разом навалилось на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звёзды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его всё равно куда. Тёмная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!), она оглушила его и швырнула в зелёную темноту, наполнила рот, нос, желудок солёно-жгучей водой. Слишком много воды!

А тут было слишком много земли.

И внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним, — шорох, чья-то тень, два глаза. словно сама ночь вдруг глянула на него. словно лес глядел на него.

Механический пёс!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь наконец на берег, вдруг перед тобой...

Механический пёс!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека.

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был один в лесу.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника, в глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, были миллиарды, ноги Монтэга погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и тёплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля, так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах жёлтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и травяной стебелёк коснулся его ладони, как будто ребёнок тихонько взял его за руку. Монтэг поднёс пальцы к лицу: они пахли лакрицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился для него окружающий мир во всём своём разнообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он брёл, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Это было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который ещё понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать всё время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шёпот леса.

Он двинулся вперёд по шпалам.

И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твёрдо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по шпалам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заполняет в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь.

Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился — он мигал вдали словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте, казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонёк, и он погаснет. Но огонёк горел, и Монтэг начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти поближе, он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое, странным показался Монтэгу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он *согревал*.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживлённые отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах этого огня был совсем другой.

Бог весть, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть,

шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к тёплому потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенной колеи и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.

А затем он услышал голоса, люди говорили, но он не мог ещё разобрать, о чём. Речь их текла спокойно, то громче, то тише, — перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его, они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всём, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтэг чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и чей-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладно, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос. — Милости просим к нам.

Монтэг медленно подошёл. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в тёмно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же тёмно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить.

— Садитесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. — Хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как тёмная дымящаяся струйка льётся в складную жестяную кружку, потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэг пил кофе.

— Благодарю, — сказал он. — Благодарю вас от всей души.

— Добро пожаловать, Монтэг. Меня зовут Грэнджер. — Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. — Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится Механический пёс, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить, как от козла, но это не важно, — сказал Грэнджер.

— Вы знаете моё имя? — удивлённо спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и думали, что вы спуститесь по реке на юг, и когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда вертолёты вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заматались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты сосредоточиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм Гроув парка!

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа ещё у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдёт и пяти минут, как они поймут Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе вертолета, был теперь наведен на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер. — Сейчас появись вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведёт съёмку камера! Сначала эффектно подаётся улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудаков, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете, просто так, без всяких причин, или потому, что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперёд. На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался Механический пёс. Вертолеты направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света.

Голос диктора торжественно возвестил:

— Это Монтэг! Погоня закончена!

Ни в чём не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съёмку снизу. Пёс сделал прыжок — ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение всё замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину — недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени.

— Монтэг, не двигайтесь! — произнёс голос с неба.

В тот же миг пёс и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера и пёс схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!..

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с тёмного экрана не прозвучал голос

диктора:

— Поиски окончены. Монтэг мёртв. Преступление, совершённое против общества, наказано. Темнота.

— Теперь мы переносим вас в «Зал под крышей» отеля Люкс. Получасовая передача «Перед рассветом». В нашей программе...

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Всё время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намёк — воображение зрителя дополнит остальное. О, чёрт, — прошептал он.

Монтэг молчал, повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана. Грэнджер легонько коснулся его плеча.

— Приветствуем воскресшего из мёртвых.

Монтэг кивнул.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Грэнджер. — Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском университете, это было в те годы, когда Кембридж ещё не превратился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гассет[3], вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнёс несколько проповедей и в течение одной недели потерял своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием: «Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас, — с трудом выговорил наконец Монтэг. — Всю жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришёл, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из Откровения Иоанна Богослова, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?

— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо. — Будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я всё забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

— Я уже пытался вспомнить.

— Не пытайтесь. Это придёт само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотоплёнку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти всё однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть «Республику» Платона?

— О да, конечно!

— Ну вот, я — это «Республика» Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Симмонс — Марк Аврелий.

— Привет! — сказал мистер Симмонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швейцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок^[4], Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матвей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Нет, это так, — ответил, улыбаясь, Грэнджер. Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы её у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, плёнку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше всё хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своём красочном уборе. О чём вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания, которые нам ещё будут нужны, сберечь их в целостности и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело: мы ждём, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной, мы лишь ничтожное меньшинство,

глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придётся снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети в свою очередь передадут другим. Многое, конечно, будет потеряно. Но людей нельзя никак заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы — бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале всё было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, — это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать своё превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо «Уолден»^[5] живёт в Грин Ривер, глава вторая — в Уиллоу Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего в двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы, в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы, — столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать, созовём всех этих людей, и они прочтут наизусть всё, что знают, и мы всё это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придётся опять всё начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится всё начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

— Ждать, — ответил Грэнджер. — И на всякий случай уйдём подальше, вниз по реке.

Он начал забрасывать костёр землёй. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще люди молча гасили огонь.

При свете звёзд они стояли у реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошёл. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он. Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией, — это им не опасно, они это знают, знаем и мы, все это знают. Пока весь народ — массы — не цитирует ещё Хартию вольностей и конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас горожане не трогают. А вас, Монтэг, они здорово потрепали.

Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборождённые морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться как зажжённый фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не увидел на их

лицах. Там, у костра, их озарял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, прошедших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное, и вот наконец, уже стариками, они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставит зарю будущего разгореться более ярким пламенем, они ни в чём не были уверены, кроме одного — они видели книги, стоящие на полках, книги с ещё не разрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально вглядывался в лица своих спутников.

— Не пытайтесь судить о книгах по обложкам, — сказал кто-то.

Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке.

Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолёты, они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолёты летели со стороны города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город, сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придётся плохо, — сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую по ней. Странно, но я как будто неспособен ничего чувствовать, — промолвил Монтэг. — Секунду назад я даже подумал — если она умрёт, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу, — ответил Грэнджер, беря его под руку, он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника. — Когда я был ещё мальчиком, умер мой дед, он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей, это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки, за свою жизнь, он, наверно, создал миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нём, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет, дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории — никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и когда он умер, всё это ушло из нашей жизни: не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий. Очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шёл молча.

— Милли, Милли, — прошептал он, — Милли.

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о её руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль её тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это всё, что они умели делать.

Монтэг обернулся и взглянул назад.

Что ты дал городу, Монтэг?

Пепел.

Что давали люди друг другу?

Ничего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и смотрел в сторону города.

— Мой дед говорил: «Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведённую из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чём после смерти найдёт прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращённое тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив». Мой дед говорил: «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы всё, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником, — говорил мне дед. — Первый пройдёт, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение».

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах Фау-2, — продолжал он. — Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни — это всё равно что булавоочный укол. Мой дед раз десять провертел этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно всё, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто чтобы ещё раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если мы не будем постоянно ощущать её рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придёт и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу.

— Дед мой умер много лет тому назад, но если вы откроете мою черепную коробку и взгляните в извилины моего мозга, вы найдёте там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Ненавижу римлянина по имени Статус Кво, — сказал он мне однажды. — Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрёшь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К чёрту! — говорил он. — Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснет задницей об землю!»

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг. В это мгновение началась и окончилась война. Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели и видели ли хоть что-нибудь. Мимолётная вспышка света на чёрном небе, чуть уловимое движение... За этот кратчайший миг там, на высоте десяти, пяти, одной мили пронеслись, должно быть, реактивные самолёты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас же с ужасающей быстротой, и вместе с тем так медленно, бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолёты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за

последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолёты уже прорезали всё обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полёта, и не знакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в неё, ибо её не видит, но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был один-единственный мгновенный жест. Но Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесённого над далёким городом, он знал, что сейчас последует рёв самолётов, который, когда уже всё свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляй камня на камне, погибни. Умри.

На какое-то мгновение Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите! — кричал он Фаберу. — Бегите! — кричал он Клариссе. — Беги, беги!» — зывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город, где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение ещё не наступило, оно ещё висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти ещё пятидесяти ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора. А Милдред?.. Беги, беги!

В какую-то долю секунды, пока бомбы ещё висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперёд, она всматривалась в мерцающие стены, с которых не умолкая говорили с ней «родственники». Они тараторили и болтали, называли её по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над её головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка её тревожных бессонных ночей. Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившийся плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало, он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах своё лицо, лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самоё себя. Она поняла наконец, что это её собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг всё здание отеля обрушилось на неё и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло её вниз, на головы других людей, а потом всё ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки домино, водяным смерчем прошлась по реке, взметнула чёрный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг ещё теснее прижался к земле, словно хотел врасти в неё, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их и в это мгновение увидел, как город поднялся на

воздух. Казалось, бомбы и город поменялись местами. Ещё одно невероятное мгновение — новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздроблённого цемента, из блёсток разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы свергнуться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Спустя несколько секунд грохот далёкого взрыва принёс Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил... Да, да, я вспомнил что-то! Что это, что? Экклезиаст! Да, это главы из Экклезиаста и Откровения. Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он! Прижавшись к земле, ещё вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны, и теперь реклама зубной пасты Денгэм не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него... — Вот и всё, — произнёс кто-то. Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребёнок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мёртвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от грохота взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носу.

Монтэг лёжа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли, вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелёк травы, слышит каждый шорох, крик и шёпот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и задуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдём вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть, мы пойдём этим путём? А может быть, мы пойдём по большим дорогам? И теперь у нас будет время всё разглядеть и всё запомнить. И когда-нибудь позже, когда всё виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнём наш путь, мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живёт, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть всё! И хотя то, что я увижу, не будет ещё моим, когда-нибудь оно сольётся со мной воедино и станет моим «я». Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернётся в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнёт от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках, сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих.

Ещё какое-то время Монтэг и остальные лежали в полузабытьи, на грани сна и пробуждения, ещё не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей: разжигать костёр, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом всё более ровное и спокойное.

Монтэг приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На тёмном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада,

предвещающая дождь.

Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятья, он ощупал свои руки, ноги. Слёзы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет, — промолвил он после долгого молчания. — Ничего не видно. Так, кучка пепла. Город исчез. — Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько ещё городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонёк положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот наконец костёр вспыхнул, разгораясь всё жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнём. Лучи солнца коснулись их затылков.

Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем, а потом повернём обратно и пойдём вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то подал небольшую сковородку, её поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молча следили за этим ритуалом.

Грэнджер смотрел в огонь.

— Феникс, — сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой роднёй человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем и всё это записано и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остынуть. Затем все молча, каждый думая о своём, принялись за еду.

— Теперь мы пойдём вверх по реке, — сказал Грэнджер. — И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мёртвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.

Они кончили завтракать и погасили костёр. Вокруг них день разгорался всё ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Летевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шёл на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивлённый, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперёд, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг пошёл вперёд. Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдёт, уже один, по этим местам и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, кто прошёл здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий путь: они будут идти всё утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чём подумать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдёт высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто расскажет то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что всё это цело в его памяти. Монтэг чувствовал, что и в нём пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придёт его черёд? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему своё время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что ещё? Есть ещё что-то, ещё что-то, что надо сказать...

«...И по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой и листья древа — для исцеления народов».

Да, думал Монтэг, вот что я скажу им в полдень. В полдень...

Когда мы подойдём к городу.



Примечания

1

Click, Pic, Flick — эти слова созвучны названиям американских бульварных изданий с минимальным количеством текста и большим количеством иллюстраций. (Здесь и далее примечания переводчика.)

2

Автор стихотворения — английский поэт XIX века Мэтью Арнольд. Перевод И. Оныщук.

3

Ортега-и-Гассет — видный испанский писатель и философ XX века.

4

Томас Лав Пикок — английский писатель и поэт, близкий друг Шелли.

5

«Уолден, или Жизнь в лесах» — известное произведение классика американской литературы XIX века Генри Давида Торо.



Рэй Врэдбери

Annotation

Библиотека современной зарубежной фантастики. Том 2-й дополнительный.

Сборник рассказов известного американского писателя-фантаста включает в себя фантастические рассказы из различных авторских сборников Р. Брэдли. Это и рассказы философские: об отношении автора к техническому прогрессу, к влиянию развития науки на общество; и рассказы космические: о мужестве человека, о трудностях, с которыми он непременно столкнется при освоении космоса.

СОДЕРЖАНИЕ:

Марсианский затерянный Город. *Перевод К.Сенина и В.Тальми ... 5.*

Отпрыск Макгиллахи. *Перевод Л.Жданова ... 37.*

О скитаниях вечных и о Земле. *Перевод Н.Галь ... 49.*

Луг. *Перевод Л.Жданова ... 68.*

О теле электрическом я пою. *Перевод Т.Шинкарь ... 84.*

Машина до Килиманджаро. *Перевод П.Галь ... 124.*

А ребенок — завтра. *Перевод Н.Галь ... 135.*

Ветер. *Перевод Л.Жданова ... 153.*

Уснувший в Армагеддоне. *Перевод Л.Сумилло ... 164.*

Удивительная кончина Дадли Стоуна. *Перевод Р.Облонской ... 179.*

Пришло время дождей. *Перевод Т.Шинкарь ... 192.*

До встречи над рекой. *Перевод К.Сенина и В.Тальми ... 204.*

В.Скурлатов Странник в пустыне звезд. (Послесловие)... 214.



Рэй Брэдбери

РАССКАЗЫ



МАРСИАНСКИЙ ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД

Огромное око плыло в пространстве. А где-то за ним, среди металла и механизмов, пряталось маленькое, человечье: человек смотрел и не мог насмотреться на скопища звезд, на пятнышки света, то вспыхивающие, то затухающие там, в миллиардах миллиардов миль.

Маленькое око устало и закрылось. Капитан Джон Уайлдер постоял, опершись о стойку телескопа, что день за днем без усталости ощупывал Вселенную, и наконец шепнул:

— Которая же?

— Выбирайте сами, — сказал астроном, стоявший рядом.

— Хотел бы я, чтобы все и вправду было так просто. — Уайлдер открыл глаза. — Что известно об этой звезде?

— Альфа Лебеда II. Размеры и характеристики как у нашего солнца. Возможно существование планетной системы...

— Возможность еще не факт. Выберем не ту звезду — и ни одно божество не поможет тем, кого мы отправим в путешествие сроком на двести лет искать планету, которой, может, там никогда и не было... Да нет, никто не поможет мне, потому что последнее слово за мной, и я сам вполне могу отправиться вместе со всеми. Как же удостовериться?

— Никак. Выберем как сумеем, отправим звездолет и станем молиться...

— То-то и оно. Не слишком все это весело. Устал я...

Уайлдер тронул кнопку, и теперь закрылось большое око. Вынесенные в космос линзы, направляемые ракетными двигателями, многие дни бесстрастно пялились в бездну, видели непомерно много, а знали мало, — а теперь не знали и вообще ничего. Обсерватория висела незрячая в бесконечной ночи.

— Домой! — приказал капитан. — Полетели домой!..

И слепой нищий, протянувший руку за звездами, развернулся на огненном веере и убрался восвояси.

С высоты города-колонии на Марсе казались очень хороши. Идя на посадку, Уайлдер увидел неоновые огни среди голубых гор и подумал: «Мы зажжем огни и на тех мирах, в миллиардах миль отсюда, зажжем, и дети тех, кто живет под этим неоном, станут бессмертными. Именно так — если мы добьемся успеха, они будут жить вечно...»

Жить вечно. Ракета села. Жить вечно!..

Ветер, налетевший со стороны города, доносил запах машинного масла. Где-то скрежетал алюминиевыми челюстями музыкальный автомат. Рядом с ракетодромом ржавела свалка. Старые газеты плясали на бетонированной дорожке.

Уайлдер застыл на верхней площадке лифта причальной мачты. Ему захотелось остаться здесь и никуда не спускаться. Огни воплотились в людей — раньше это были слова, слова казались великими, и с ними было так легко управляться...

Он вздохнул. Груз — люди — слишком тяжек. До звезд слишком далеко.

— Капитан! — позвал кто-то.

Он сделал шаг. Лифт провалился. С беззвучным воем они понеслись вниз, навстречу подлинной

тверди под ногами и подлинным людям, ожидающим, чтобы он совершил свой выбор.

В полночь приемник для срочных депеш зашипел и выстрелил патроном-сообщением. Уайлдер сидел у стола в окружении магнитных пленок и перфокарт и долго не притрагивался к цилиндрику. Наконец он вытащил сообщение, пробежал его глазами, скатал в тугой шарик, но нет — развернул опять, разгладил, перечитал:

Уайлдер прищурился и тихо рассмеялся. Смял бумажку снова и снова остановился, поднял телефонную трубку, сказал:

— Телеграмма И.В.Эронсону, Марс-сити, один. Приглашение принимаю. Сам не знаю зачем, но принимаю.

Повесил трубку. И долго сидел, глядя в ночь, укрывшую в своей тени орду перешептывающихся, тикающих, вращающихся машин.

Высохший канал ждал.

Двадцать тысяч лет он ждал, но видел лишь призрачные приливы всепроникающей пыли.

А теперь донесся шелест.

И шелест превратился в поток, в блистающую стену воды.

Словно некий огромный кулак ударил по скалам, и хлопнул по воздуху клич: «Чудо!..» И стена воды, гордая и высокая, двинулась по каналам, распласталась на ложе, истомившемся от жажды, достигла древних иссохших пустынь, ошеломила старые пристани и подняла скелеты кораблей, покинутых тридцать веков назад, когда та былая вода выкипела до дна.

Прилив обогнул мыс и вознес на своем гребне яхту, новенькую; как самое утро, со свежеотчеканенными серебряными винтами, латунными поручнями и яркими, вывезенными с Земли флагами. Яхта, причаленная к берегу, носила имя «Эронсон-1».

На борту ее был человек, носивший то же имя, и он улыбнулся. Мистер Эронсон прислушивался к тому, как струится вода под килем его корабля.

И сквозь журчание воды прорвался гул — это прибыл аппарат на воздушной подушке, — и треск — это подкатил мотоцикл, — а из поднебесья, как по волшебству, привлеченные блеском воды в старом канале, через горы слетались люди-оводы с реактивными двигателями за плечами и зависали на месте, будто усомнившись, что столько Жизней могли столкнуться здесь по воле одного богача.

А богач с хмурой усмешкой обратился к ним, своим чадам, предлагая укрытие от жары, еду и питье:

— Капитан Уайлдер! Мистер Паркхилл! Мистер Бьюмонт!..

Уайлдер посадил свой аппарат.

Сэм Паркхилл бросил свой мотоцикл — он увидел яхту и тут же влюбился в нее.

— Черт возьми! — воскликнул Бьюмонт, профессиональный актер, один из стайки людей в небе, порхавших, как пчелы на ветру. — Я не рассчитал свой выход. Я явился слишком рано. Нет публики!..

— Призываю вас аплодисментами! — крикнул в ответ богатый старик и захлопал в ладоши. Затем добавил: — Мистер Эйкенс!..

— Эйкенс? — переспросил Паркхилл. — Знаменитый охотник?

— А кто же еще!..

И Эйкенс спикировал вниз, словно намереваясь схватить их всех хищными когтями. Он и сам себе

казался похожим на ястреба. Жизнь, полная приключений, отточила его и выправила, как бритву. Падая, он будто разрезал воздух, грозным, неотвратимым возмездием обрушивался на людей, не причинивших ему ни малейшего зла. Но за мгновение до катастрофы он резко затормозил и с легким свистом, преодолев себя, коснулся мраморной пристани. Узкую его талию стягивал патронташ. Карманы у него топорщились, как у мальчишки, совершившего набег на кондитерскую. Не составляло труда догадаться, что он весь начинен сладостями-пулями и деликатесами-гранатами. Своевольный ребенок, он сжимал в руках диковинную винтовку, казалось, только что оброненную Зевсом-громовержцем, однако с маркой «Сделано в США». Лицо его загорело до черноты, а глаза, зеленовато-синие кристаллы на морщинистой от солнца коже, светились сдержанным любопытством. Выпуклые мускулы африканца обрамляли белую фарфоровую улыбку. Планета едва не застонала, когда он дотронулся до нее.

И два новых мотылька, два нелепых создания, затрепетали опасливо на ветру.

Богач был вне себя от восторга:

— Гарри Харпуэлл!..

— Воззрите на ангела господня, пришедшего, с благовестом! — продолжал парящий в небе.

— Он опять пьян, — прокомментировала женщина. Она летела впереди и не оглядывалась.

— Мигэн Харпуэлл, — произнес богач тоном антрепренера, представляющего свою труппу.

— Поэт, — сказал Уайлдер.

— И акула, жена поэта, — пробормотал Паркхилл.

— Я не пьян! — крикнул поэт ветру. — Я просто весел...

И тут он низвергнул ливень смеха, и все, кто был внизу, чуть не подняли руки, заслоняясь от потопа.

Поэт снизился, как толстый надувной змей, и, жужжа, пронесся над яхтой. Жена поэта поджала губы, а он сделал движение, будто благословил всех, и подмигнул Уайлдеру и Паркхиллу.

— Харпуэлл! — воскликнул он. — Это ли не имя, достойное величайшего из поэтов нашей эпохи!^[1] Поэта, которому она тесна и который всей душой в прошлом, таскает кости из гробниц великих писателей, но летает на этой самоновейшей кофейной мельнице, на этом чертовом ветрососе, и призывает сонеты на ваши головы... Мне жаль наших прежних простодушных святых — у них ведь не было таких вот невидимых крыльев, на которых они взвивались бы ввысь, кружили и реяли с псалмами или проклятьями. Бедные бескрылые пташки, обреченные прозябать на земле! Только гений их мог воспарить. Только муза могла познать сладкие муки воздушной болезни...

— Гарри! — позвала жена с причала, закрыв глаза.

— Охотник! — вскричал поэт. — Эйкенс!.. Вот вам самая крупная дичь на свете — летающий поэт. Я обнажаю грудь. Сбрось меня наземь, как Икара, пусть в стволе твоего ружья зажжется солнечный луч! Запали пожар, чтоб небо перевернулось и хлеб, воск и ладан в единый миг обратились в деготь... Внимание, целься, пли!..

Охотник в шутку поднял винтовку.

Тогда поэт рассмеялся еще мощнее и действительно обнажил грудь, рванув рубаху.

Но в эту секунду на канал спустилась тишина.

Показалась женщина. За ней шла служанка. И нигде не видно было никакого экипажа, и почти верилось, что они долго-долго брели с марсианских гор и только сейчас приостановились.

Сама тишина приковывала внимание к Каре Корелли, придавала особое достоинство ее появлению.

Поэт прервал свои излияния и приземлился.

Вся компания смотрела на Кару Корелли — и та смотрела на них, но не видела их. Одета она была в черный облегающий костюм в тон волосам. Походка ее доказывала, что эту женщину всю жизнь понимали с полуслова, и с тем же спокойствием, с каким шла, она остановилась к ним лицом, будто ожидая, кто первый шевельнется без приказа. Ветер играл ее волосами, ниспадающими на плечи. Поразительнее всего была бледность ее лица. Казалось, именно эта бледность, а не глаза, сверлит их в упор.

Затем, не проронив ни звука, женщина спустилась на яхту и села впереди, как носовое украшение, знающее себе цену и место.

Минута тишины миновала.

Эронсон пробежал пальцами по отпечатанному списку гостей.

— Актер, красивая женщина — и тоже актриса, охотник, поэт, жена поэта, командир звездолета, бывший инженер... Все на борту!

На кормовой палубе просторного своего корабля Эронсон развернул связку карт.

— Леди и джентльмены! — сказал он. — Нам предстоит нечто большее, чем пикник, увеселительная прогулка или экскурсия. Нам предстоит Поиск!..

Он выждал, чтобы они успели выразить на лицах соответствующие чувства и обратили взоры к картам, потом продолжал:

— Мы ищем легендарный затерянный город, называвшийся некогда Диа-Сао. Было у него и другое название — «Город Рока». Что-то зловещее связано с этим городом. Жители бежали оттуда, как от чумы, и он опустел. Он пуст и теперь, много веков спустя...

— За последние пятнадцать лет, — вмешался капитан Уайлдер, — мы обследовали, сняли на карты, занесли в указатели каждый акр поверхности Марса. Мы не могли не заметить город таких размеров...

— Верно, — отозвался Эронсон. — Но вы вели съемку с воздуха, с суши. Вы не обследовали планету С воды! Ведь до самого этого дня каналы были сухими... А теперь мы пустимся в плавание по водам, запепнившим все каналы до одного, и приплывем туда, куда ходили древние корабли, и увидим, какие еще секреты хранит от нас планета Марс. И где-то на пути, — продолжал богач, — я уверен, я абсолютно уверен, мы найдем самый прекрасный, самый фантастический, самый ужасный город в истории этого мира. Мы пройдем по городу и — кто знает? — быть может, выясним, почему, как утверждают легенды, марсиане с воплями бежали прочь из Диа-Сао десять тысяч лет назад...

Молчание. Наконец:

— Bravo! Блестящая идея!..

Поэт пожал старику руку.

— А в этом городе, — спросил Эйкенс, охотник, — может там найтись оружие, какого никто не видел?

— Вполне возможно, сэр.

— Ну что ж, — сказал охотник, обняв свою диковинную винтовку. — На Земле мне все приелось, я там охотился на всяких зверей, и не осталось таких, в которых я не стрелял бы. Меня привела сюда надежда встретить новых, замечательных, смертельно опасных зверей любых размеров и видов. А теперь и новое оружие! Чего же еще желать? Отлично!..

И он уронил серебристо-голубую винтовку за борт. В чистой воде было видно, как она булькнула и пошла ко дну.

— Давайте скорее отчаливать!

— Вот именно, — подхватил Эронсон.

И нажал кнопку, приводящую яхту в движение.

И вода подхватила яхту.

И яхта поплыла туда, куда указывала покойная бледность Кары Корелли, — вдаль.

И тогда поэт открыл первую бутылку шампанского. Пробка хлопнула. Один лишь охотник не вздрогнул.

Яхта плыла неустанно через день в ночь. Они нашли какие-то развалины и там поужинали, и было вино, привезенное за сто миллионов миль с Земли. Все отметили, что вино перенесло путешествие хорошо.

К вину был подан поэт, а после изрядной дозы поэта был сон на борту яхты, плившей и плывшей в поисках города, который пока еще не хотел, чтобы его нашли...

В три часа ночи Уайлдер, разгоряченный, отвыкший от силы тяжести — планета тянула все его тело вниз, не позволяя расслабиться и заснуть, — вышел на кормовую палубу и встретил актрису.

Она сидела и смотрела, как воды скользят за кормой и в них печальными откровениями дрожат расплеснутые звезды.

Он сел с нею рядом и мысленно задал вопрос.

Так же безмолвно Кара Корелли задала себе тот, же вопрос и ответила:

— Я здесь, на Марсе, оттого, что не так давно впервые в жизни мужчина сказал мне правду...

Вероятно, она ждала, что он выразит удивление. Уайлдер промолчал. Яхта плыла беззвучно, как в потоке вязкого масла.

— Я красива. Я была красива всю жизнь. А это значит, что с самого детства люди лгали мне лишь затем, чтобы побыть со мной. Я выросла в кольце неправд: мужчины, женщины, дети — все вокруг страшилось моей немилости. Недаром сказано: стоит красавице надуть губки — и мир вздрогнет...

Видели вы когда-нибудь красивую женщину в толпе мужчин, видели, как они кивают, кивают? Слышали их смех? Мужчины будут смеяться, какую бы глупость она ни произнесла. Ненавидеть себя будут, но и смеяться, будут говорить «да» вместо «нет» и «нет» вместо «да»...

Вот так жила и я — изо дня в день, из года в год. Между мной и любой невзгодой вырастала стена лжецов, и их слова опутывали меня шелками...

Но вдруг совсем недавно, недель шесть назад, тот мужчина сказал мне правду. Какой-то пустяк. Я даже не помню, что именно он сказал, но не рассмеялся. Даже не улыбнулся.

И не успел он замолкнуть, я поняла, что случилась страшная вещь.

Я постарела...

Яхта слегка качнулась на волне.

— О, разумеется, я встретила бы еще множество мужчин, которые лгали бы мне, улыбались бы всему, что бы от меня ни услышали. Но я увидела поджидающие впереди годы, когда красавица уже не сможет топнуть ножкой и вызвать землетрясение, не сможет больше поощрять лицемерие среди честных людей...

Тот человек? Он сразу же взял свою правду назад, как только понял, что она потрясла меня. Но поздно. Я купила билет на Марс. И приняла приглашение Эронсона участвовать в этой прогулке. Прогулке,

которая кончится кто знает где...

При последних словах Уайлдер невольно взял ее за руку.

— Нет, — отрезала она, отодвигаясь. — Не отвечайте. Не прикасайтесь ко мне. Не жалейте меня. И себя тоже. — Впервые за все путешествие на ее губах мелькнула улыбка. — Ну не странно ли? Я раньше мечтала: хорошо бы хоть когда-нибудь оставить маскарад и услышать правду. Как я заблуждалась! Ничего хорошего в правде нет...

Она сидела и смотрела, как струятся вдоль борта черные воды. Когда часа два-три спустя она оглянулась снова, рядом никого не было. Уайлдер ушел.

На следующий день, плывя по воле юных вод, они направились к высокой горной гряде. По пути перекусили в старинном храме, а вечером поужинали среди очередных развалин. О затерянном городе почти не говорили — все были уверены, что никогда его не найдут.

Но на третий день, хотя никто не осмеливался высказать это вслух, они ощутили приближение некоего великого Явления.

Поэт наконец первый выразил ощущение словами:

— Похоже, где-то здесь бог напевает себе под нос...

— Ну и человек же ты! — откликнулась жена поэта. — Неужто не можешь говорить попросту, даже когда плетешь ерунду?

— Да послушайте, черт возьми! — воскликнул поэт.

Они прислушались...

— Разве чувства ваши не вибрируют в такт его напеву? Да нет, он не просто напевает, он играет на каждом атоме, танцует в каждой молекуле. Вечный праздник начинается внутри нас. Нечто близится. Ш-ш-ш...

Он прижал свой толстый палец к выпяченным губам.

И теперь смолкли все, и бледность Кары Корелли светила прожектором на темные воды, лежащие впереди.

Предчувствие захватило их. И Уайлдера. И Паркхилла. Они закурили, чтобы совладать с ним. Они погасили свои сигареты. Растворившись в сумерках, они ждали.

Напев стал явственнее, ближе. И, услышав его, охотник присоединился к молчаливой актрисе на носу яхты. А поэт присел, чтобы записать свой собственный, только что прочитанный монолог.

— Да, да, — сказал он, когда на небе высыпали звезды. — Оно уже почти настигло нас. Уже настигло. — Он перевел дыхание. — Вот оно...

Яхта вошла в туннель.

Туннель вошел в толщу гор.

И там был он — Город.

Город скрывался в толще гор, и его окружало кольцо лугов, а над ним простиралось странно освещенное и странно окрашенное каменное небо. И он считался затерянным и оставался затерянным лишь потому, что люди искали его с воздуха, искали, разматывая дороги, а ведущие в Диа-Сао каналы ждали обыкновенных пешеходов, которые прошли бы там, где некогда текли воды.

И вот к древней пристани причалила яхта, полная чужестранцев с иной планеты.

И город шевельнулся.

В стародавние времена города бывали живы, если люди жили в них, или мертвы, если люди их покидали. Все было до очевидности просто. Но шли века на Земле, века на Марсе, и города уже не умирали. Они засыпали. И в зубчатых своих снах, в электрических своих грезах вспоминали, как было некогда и как, возможно, будет опять.

И когда люди друг за другом выбрались на причал, то встретили великую личность — окутанную смазкой, затянутую в металл, отполированную душу столицы, и безмолвный обвал не видимых никому искр пробудил эту душу ото сна.

Вес людей пристань восприняла с упоением. Они словно бы вступили на чувствительнейшие весы. Причал опустился на миллионную долю дюйма.

И Город, исполинская спящая красавица, порождение кошмара, ощутил прикосновение, поцелуи судьбы — и проснулся.

Грянул гром.

Стену высотой сто футов прорезали ворота шириною семьдесят футов, и теперь ворота, обе их половинки, с грохотом откатились и скрылись в стене.

Эронсон шагнул вперед.

Уайлдер сделал движение, чтобы остановить его, Эронсон вздохнул.

— Пожалуйста, капитан, без советов. И без предупреждений. И без патрулей, посланных в разведку с задачей обезвредить злоумышленников. Город хочет, чтобы мы вошли. Он приглашает нас. Уж не воображаете ли вы, что там осталось хоть что-нибудь живое? Это город-робот. И не смотрите на меня так, будто там приготовлена мина замедленного действия. Сколько лет он не видел ни игр, ни развлечений? Двадцать веков? Вы читаете марсианские иероглифы?. Вон тот угловой камень. Город построен по меньшей мере тысячу девятьсот лет назад!..

— И покинут, — сказал Уайлдер.

— Вы говорите таким тоном, словно их поразила чума.

— Нет, не чума. — Уайлдер беспокойно отпрянул, почувствовав, как чаша гигантских весов слегка подалась под ногами. — Что-то другое. Совсем, совсем другое...

— Ну так давайте узнаем что. Пошли!..

Поодиночке и парами люди с Земли перешагнули порог.

Последним его перешагнул Уайлдер.

И Город окончательно ожил.

Металлические крыши широко раскрылись, как лепестки цветов.

Окна широко распахнулись, как веки огромных глаз, жаждущих оглядеть их пристально сверху вниз.

Реки тротуаров мягко журчали и плескались у ног, механические ручьи потекли, поблескивая, через Город.

Эронсон радостно взирал на металлические стремнины.

— Вот и замечательно, гора с плеч. Я-то собирался устроить для вас пикник. А теперь пусть обо всем — позаботится Город. Встретимся здесь же через два часа и сравним впечатления. В путь!..

С этими словами он вскочил на бегущую серебряную дорожку, и та быстро понесла его прочь.

Обеспокоенный Уайлдер двинулся было за ним. Но Эронсон весело крикнул:

— Входите, не бойтесь, вода чудесная!..

И металлическая река унесла его. На прощанье он помахал им.

Один за другим они шагнули на движущийся тротуар, и тот подхватил их своим течением. Паркхилл, охотник, поэт и жена поэта, актер и, наконец, красивая женщина и ее служанка. Они плыли, как статуи, загадочным образом выросшие из струящейся лавы, и лава несла их куда-то — или никуда — об этом они могли только гадать...

Уайлдер прыгнул. Река мягко прильнула к его подошвам. Следуя ее руслу, он несся по плесам проспектов, по излучинам, огибающим парки, сквозь фиорды зданий.

А за ними остались опустевшая пристань и покинутые врата. Ничто не указывало на то, что они проходили здесь. Как если бы их никогда и не было.

Бьюмонт, актер, сошел с самоходной дорожки первым. Одно из зданий приковало к себе его внимание. И не успел он сообразить, в чем дело, как уже соскочил и стал приближаться к этому зданию, втягивая ноздрями воздух.

И улыбнулся.

Теперь он понял, что за здание перед ним, понял по запаху.

— Мазь для чистки бронзы. А это, видит бог, может означать одно-единственное...

Театр.

Бронзовые двери, бронзовые перила, бронзовые кольца на бархатных занавесах.

Он открыл эти двери и вошел. Еще раз принялся и громко расхохотался. Точно. Без вывески, без огней. Один только запах, особая химия металла и пыли, бумажной пыли от миллионов оторванных билетов.

Но главное... он прислушался. Тишина.

— Тишина, которая ждет. Другой такой не бывает. Только в театре и можно встретить тишину, которая ждет. Самые частички воздуха млеют в ожидании. Полумрак затаил дыхание. Ну что ж... Готов я или нет, ноя иду...

Фойе было бархатным, цвета подводной зелени.

А дальше сам театр — красный бархат, едва различимый в темноте за двойными дверьми. А еще дальше — сцена.

Что-то вздрогнуло, как огромный зверь. Зверь учуял добычу и ожил. Дыхание из полуоткрытых уст актера всколыхнуло занавес в ста футах впереди, свернуло и сразу же развернуло ткань, словно всеохватывающие крылья.

Он неуверенно шагнул в зал.

На высоком потолке, где стайки сказочных многогранных рыбок плыли навстречу друг другу, появился свет.

Свет, аквариумный свет заиграл повсюду. У Бьюмонта захватило дух.

Театр был полон народу.

Тысяча людей сидела недвижно в искусственных сумерках. Правда, они были маленькие, хрупкие, непривычно смуглые и все в серебряных масках, но — люди!

Он знал, не задавая вопросов, что они просидели здесь десять тысяч лет.

И не умерли.

Потому что они... Он протянул руку. Постучал по запястью мужчины, сидевшего у прохода.

Запястье отозвалось тихим звоном.

Он прикоснулся к плечу женщины. Она тренькнула. Как колокольчик.

Ну да, они прождали несколько тысяч лет. В том-то и дело, что машины наделены таким свойством — ждать.

Он сделал еще шаг и замер.

Словно вздох пронесся по залу.

Это было, как тот еле слышный звук, который издает новорожденный за мгновение до первого настоящего вдоха, настоящего крика — крика жалобного изумления, что вот родился и живет.

Тысяча вдохов растаяла в бархатных портьерах.

А под масками — или почудилось? — приоткрылась тысяча ртов.

Двое шевельнулись. Он застыл на месте.

В бархатных сумерках широко раскрылись две тысячи глаз.

Он двинулся вновь.

Тысяча голов беззвучно повернулась на древних, густо смазанных шестернях.

Они следили за ним.

На него напоз чудовищный неодолимый холод.

Он повернулся, хотел бежать.

Но глаза не отпускали его.

А из оркестровой ямы — музыка.

Он глянул в ту сторону и увидел, как к пюпитрам медленно поднимаются инструменты — странные, насекомоподобные, гротескно-акробатических форм. Кто-то тихо настраивал их, ударяя по струнам и клавишам, поглаживая, подкручивая...

В едином порыве публика обернулась к сцене.

Вспыхнул полный свет. Оркестр грянул громкий победный аккорд.

Красный занавес расступился. Прожектор выхватил середину сцены, пустой помост и на нем пустой стул.

Бьюмонт ждал.

Актеры не появлялись.

Движение. Справа и слева поднялось несколько рук. Руки сомкнулись. Раздались легкие аплодисменты.

Луч прожектора скользнул со сцены вверх по проходу. Головы поворачивались вслед за призрачным пятном света. Маски мягко блеснули. Глаза за масками словно потептели, позвали...

Бьюмонт отступил.

Но луч неумолимо приближался, окрашивая пол конусом чистой белизны.

И остановился, прильнув к его ногам.

Публика, вновь обернувшись к нему, аплодировала все настойчивее. Театр гремел, ревел, грохотал бесконечными волнами одобрения.

Все растворилось внутри, оттаяло и согрелось. Будто его обнаженным выставили под летний ливень, и гроза благодатно омыла его. Сердце упоенно стучало. Кулаки — сами собой разжались. Мышцы расслабились.

Он постоял еще минуту, чтобы дождь оросил запрокинутое в блаженстве лицо, чтобы истомленные жаждой веки затрепетали и смежились, а затем помимо воли, как привидение с крепостных стен, склонился, ведомый призрачным светом и шагнул, скользнул, ринулся вниз и вниз по уклону к прекраснейшей из смертей, и вот уже не шел, а бежал, не бежал, а летел, а маски блестели, а глаза под масками горели от возбуждения, от немислимых приветственных криков, а руки бились в разорванном воздухе, взмывали, как голубиные крылья на перекрестье прицела. Он ощутил, что ноги достигли ступеней. Аплодисменты еще раз грохнули и смолкли.

Сглотнул слюну. Медленно поднялся по ступеням и встал в ярком свете перед тысячей обращенных к нему масок и двумя тысячами внимательных глаз. Сел на стул — и в зале стемнело, и мощное дыхание кузнечных мехов стихло в штампованных глотках, и остался лишь гул автоматического улья, благоухающего во тьме машинным мускусом.

Обнял колени. Отпустил их. И начал:

— Быть или не быть...

Тишина стояла полная.

Ни кашля. Ни шевеления. Ни шороха. Ни движения век. Все — ожидание. Совершенство. Совершенный зрительный зал. Совершенный во веки веков. Совершеннее не придумаешь...

Он не спеша бросал слова в этот совершенный омут и ощущал, как бесшумные круги расходятся и исчезают вдали.

— ...вот в чем вопрос.

Он читал. Они слушали. Он знал, что теперь его никогда и никуда не отпустят. Изобьют рукоплесканиями до полусмерти. Он уснет сном ребенка и проснется, чтобы вновь говорить. Он им подарит всего Шекспира, всего Шоу, всего Мольера, каждый кусочек, крошку, клочок, обрывок. Себя — со всем своим репертуаром.

Он поднялся, чтобы закончить монолог.

Закончив, подумал: похороните меня! Засыпьте меня! Заройте меня поглубже!

С горы послушно низвергнулась лавина.

Кара Корелли обнаружила дворец зеркал.

Служанка осталась снаружи.

А Кара Корелли прошла внутрь.

Она шла сквозь лабиринт, и зеркала снимали с ее лица день, потом неделю, потом месяц, а потом и год, и два года.

Это был дворец замечательной, успокоительной лжи. Будто снова она молода, будто окружена

многим множеством высоких веселых зеркальных мужчин, которые больше никогда в жизни не скажут ей правду.

Кара достигла центра дворца. Когда она остановилась, то в каждом из светлых зеркальных отражений увидела себя двадцатипятилетней.

Она опустила на пол посередине светлого лабиринта. Она огляделась со счастливой улыбкой.

Снаружи служанка подождала ее, быть может, час. И ушла.

Место было темное, контуры его и размеры оставались пока невидимы. Пахло смазочными маслами, кровью чудовищных ящеров с шестеренками и колесиками вместо зубов — ящеры залегли вразброс и молчаливо выжидали во мраке.

Исполинская дверь скользнула с ленивым ревом, словно зверь хлестнул бронированным хвостом, и Паркхилл очутился в вихре густого масляного ветра. Ему показалось, что кто-то внезапно приклеил к его скулам белый цветок. Но это была просто улыбка удивления.

Ничем не занятые руки, свисавшие плетью по бокам, вдруг сами собой рванулись вперед. Просительно повисли в воздухе. И, подгребая ими как веслами, он дал себя подтолкнуть в Гараж, Механический цех, Ремонтную мастерскую — или как там ее назвать.

Исполненный священного трепета, праведного и неправедного мальчишеского восторга, он вошел поглубже и осмотрелся. Во все стороны, насколько хватало глаз, стояли машины.

Машины, бегающие по земле. Машины, летающие по воздуху. Машины, взобравшиеся на колеса и готовые ехать в любом направлении. Машины на двух колесах. Машины на трех, четырех, шести и восьми колесах. Машины, похожие на бабочек. Машины, похожие на старинные мотоциклы. Три тысячи машин выстроились шеренгой здесь, четыре тысячи поблескивали в готовности там. Тысяча пала ниц, сбросив колеса, обнажив внутренности, моля о ремонте. Еще тысяча приподнялась на тонконогих домкратах, подставив взгляду свои прекрасные днища, свои шестеренки и патрубки, изящные, хитроумные, заклинающие, чтобы к ним прикоснулись, развинтили, притерли, перемотали, аккуратненько смазали...

У Паркхилла зачесались руки.

— Он шел и шел вперед, сквозь первобытные запахи болотных масел, меж древних и все-таки новых бронированных механических динозавров, и чем дальше он любовался ими, тем острее ощущал собственную улыбку.

Город как город — и, конечно, до известной степени способный поддерживать себя сам. Но рано или поздно редкостные бабочки, создания из стальных паутинок, сверхтонких смазок и пламенных грез, падают обратно на грунт. Машины, предназначенные для ремонта машин, ремонтирующих машины, старятся, заболевают и наносят себе увечья. А значит, нужен гараж чудовищ, сонное слоное кладбище, куда алюминиевые драконы приползают в надежде, что останется хоть один живой человек среди вороха могучего, но мертвого металла, человек, который возьмет и все наладит опять. Единственный над этими машинами властелин, способный изречь: «Ты, аппарат на воздушной подушке, родись вновь!..» И, помазав их фантастическими маслами, притронувшись к ним волшебным разводным ключом, он дарует им новую, почти вечную жизнь в воздушных потоках над стремительными, как ртуть, дорожками...

Паркхилл миновал девятьсот роботов и роботесс, убитых обычной коррозией. Он излечит их.

Немедля! Если начать немедля, подумал Паркхилл, засучивая рукава и глядя вдоль шеренги машин, вытянувшейся на целую милю, вдоль гаража с цехами, талями, подъемниками, складами, баками масла и шрапнелью инструментов, разбросанных тут и там в ожидании, когда же он их схватит; если начать немедля, то, пожалуй, он сможет добраться до конца гигантского, нескончаемого гаража, аварийной

станции, ремонтной мастерской, наверное, лет за тридцать...

Затянуть миллиард болтов, покопаться в миллиарде двигателей! Полежать под миллиардом железных туш великовозрастным перемазанным сиротой — он будет здесь один, всегда один, один на один с навек прекрасными, никогда и ни в чем не перечасными, деятельными, многоцветными устройствами, механизмами, гениальными приспособлениями...

Руки его метнулись за инструментами. Он стиснул гаечный ключ. Нашел низкую сорокаколенную ремонтную тележку. Лег на нее ничком. Со свистом пронесся по гаражу. Тележка катилась, тележка спешила...

Паркхилл исчез под исполинским автомобилем допотопной конструкции.

Он исчез, но слышно было, как он копается в утробе машины. Лежа на спине, переговаривается с ней. И когда он шлепком пробудил наконец ее к жизни, машина заговорила в ответ.

Каждая из серебристых дорожек бежала куда-то.

Тысячи лет они бежали пустыми — только пыль неслась по ним к неведомым целям среди высоких уснувших стен.

Но вот на одну из таких дорожек ступил Эронсон — старящаяся статуя.

И чем дальше он ехал, чем быстрее город открывался его взору, чем больше зданий проносилось мимо, чем больше парков мелькало перед глазами, тем слабее и слабее становилась его улыбка. Он невольно менялся в лице.

— Игрушка, — услышал он свой шепот. Шепот был совсем старческим. — Еще одна... — голос его ослабел настолько, что почти пропал, — еще одна игрушка, и только...

Сверхигрушка, конечно. Но жизнь его была полным-полна игрушек, полным-полна с самого начала. Новых торговых автоматов, каких-то чудо-ящичков все больших размеров, сверхсуперневероятных магнитостереокомбай-нов. Будто он всю жизнь орудовал наждаком по железу — и вот руки стерлись до культи. От пальцев остались одни бугорки. Да нет, и бугорков не осталось, ни ладоней, ни кистей. Эронсон, мальчик-тюлень!.. Бездумные его ласты аплодировали Городу, а Город-то, в сущности, очередной музыкальный ящик, изрыгающий идиотские звуки. И — он узнает мотив. Милосердный боже! Все тот же неотвязный мотив!..

На мгновение он прикрыл глаза.

Тайное веко души упало, как леденящая сталь.

Круто повернувшись, он вновь ступил в серебряные воды дорожек.

Он нашел ту из них, которая понесла его вспять к Великим Вратам.

На пути он встретил служанку Корелли, потерянно бродившую по разливу серебристых стремнин.

Поэт и его жена — беспрестанной своей перебранкой они повсюду будили эхо. Гомонили на тридцати проспектах, разбили витрины двухсот магазинов, сорвали листья с кустов и деревьев семидесяти пород и утихомирились только тогда, когда голоса заглушил грохочущий фонтан, вздымающийся в столичные выси как победный фейерверк.

— То-то и оно, — заметила жена поэта в ответ на какую-то его грубость, — ты и сюда явился лишь затем, чтобы вцепиться в первую женщину, какая тебе подвернется, и окатить ее зловонным своим дыханием и дрянными стихами...

Поэт ругнулся вполголоса.

— Ты хуже, чем актер, — сказала жена. — И всегда в одной роли. Да замолчишь ли ты хоть когда-нибудь?...

— А ты? — вскричал он. — Бог мой, я совсем уже прокис от тебя! Придержи язык, женщина, иначе я брошусь в фонтан!

— Ну уж нет. Ты сто лет не мылся. Ты величайшая свинья века. Твой портрет украсит ближайший выпуск календаря для свинопасов...

— Ну, знаешь, с меня хватит!.. Хлопнула дверь.

Пока жена соскочила с дорожки, побежала назад и забарабанила в дверь кулаками, та уже оказалась заперта.

— Трус! — визжала жена. — Открой!..

В ответ глухо откликнулось бранное слово.

— Ах, прислушайся к этой сладостной тишине, — шепнул он себе в неоглядной скорлупе полутьмы.

Харпуэлл очутился в убаюкивающей громадности, в колоссальном чревоподобном зале, над которым парил свод чистой безмятежности, беззвездная пустота.

В середине зала, в центре круга диаметром двести футов стояло некое устройство, стояла машина. В машине были шкалы, реостаты и переключатели, сиденье и рулевое колесо.

— Что же это за машина? — шепнул поэт, но подобрался поближе и нагнулся пощупать. — Именем Христа, сошедшего с Голгофы и несущего нам милосердие, чем она пахнет? Снова кровью и потрохами? Но нет, она чиста, как душа новорожденного. И все же запах. Запах насилия. Разрушения. Чувствую — проклятая туша дрожит, как нервный породистый пес. Она набита какими-то штуками. Ну что ж, попробуем приложиться...

Он сел в машину.

— С чего же начнем? Вот с этого?

Он щелкнул тумблером.

Машина заскулила, как собака Баскервиллей, потревоженная во сне.

— Хорош зверюга... — Он щелкнул другим тумблером. — Как ты передвигаешься, скотина? Когда твоя начинка включена вся полностью, тогда что? Колес-то у тебя нет. Ну что ж, удиви меня. Я рискну...

Машина вздрогнула.

Машина рванулась.

Она побежала. Она понеслась.

Он вцепился в рулевое колесо.

— Боже праведный!..

Он был на шоссе и мчался во весь дух.

Ветер свистел в ушах. Небо блистало переливающимися красками.

Спидометр показывал семьдесят-восемьдесят миль в час.

А шоссе впереди извивалось лентой, мерцало ему навстречу. Невидимые колеса шлепали и подпрыгивали по все более неровной дороге.

На горизонте показалась другая машина.

Она тоже шла быстро. И...

— Да она же не по той стороне едет! Ты видишь, жена? Не по той стороне!..

Потом он сообразил, что жены с ним нет.

Он был один в машине, которая мчалась — уже со скоростью девяносто миль в час — навстречу другой машине, несущейся с той же скоростью.

Он рванул руль.

Машина вильнула влево.

Тотчас же та, другая машина повторила его маневр и перешла на правую сторону.

— Идиот, дубина, что он там себе думает? Где тут тормоз?

Он пошарил ногой по полу. Тормоза не было. Вот уж поистине диковинная машина! Машина, которая мчится с какой угодно скоростью, не останавливаясь до тех пор, пока — что? Пока не выдохнется?... Тормоза не было. Не было ничего, кроме все новых акселераторов. Кроме целого ряда круглых педалей на полу — он давил на них, а они вливали в мотор все новые силы.

Девяносто, сто, сто двадцать миль в час.

— Господи! — воскликнул он. — Мы же сейчас столкнемся. Как тебе это понравится, малышка?...

И в самый последний миг перед столкновением он представил себе, что это ей таки здорово понравится.

Машины столкнулись. Вспыхнули бесцветным пламенем. Разлетелись на осколки. Покатились кувырком. Он ощутил, как его швырнуло вправо, влево, вниз, вверх. Он стал факелом, подброшенным в небо. Руки его и ноги на лету исполнили сумасшедший танец, а кости, словно мятные палочки, крошились в хрупком, мучительном экстазе. И он, извиваясь, упал в мрачном удивлении обратно и погрузился в небытие.

Он лежал мертвый долго-долго.

Затем он открыл один глаз.

Он чувствовал, как в душе медленно разливается тепло. Будто пузырек за пузырьком поднимается к поверхности сознания и там заваривается свежий чай.

— Я мертв, — сказал он, — но живой. Ты видела это, жена? Мертв, но живой...

Оказалось, что он сидит, выпрямившись, в машине.

И он сидел так минут десять, размышляя, что же с ним произошло.

— Смотри-ка ты, — размышлял он. — Ну не интересно ли? Чтобы не сказать — восхитительно? Чтобы не сказать — почти пьяняще? То есть да, дух из меня вышибло, напугало до чертиков, стукнуло под ложечку и вырвало кишки, поломало кости и вытрясло мозги — и однако... И однако, жена, и однако, дорогая Мэг, Мэгги-Мигэн, я хотел бы, чтобы ты была здесь со мной, может, выбило бы весь табачный деготь из твоих запакощенных легких и вытряхнуло бы всю кладбищенскую, тягостную посредственность из души твоей. Дай-ка мне тут оглядеться, жена. Дай-ка он оглядится тут, Харпуэлл, твой муж, поэт...

Он склонился над приборами.

Он запустил гигантскую собаку-двигатель.

— Рискнем еще чуток развлечься? Еще раз выйти в бой, как на пикник? Рискнем...

И он тронул машину с места.

И почти тотчас же она понеслась со скоростью сто, а затем и сто пятьдесят миль в час.

Почти тотчас же впереди показалась встречная машина.

— Смерть, — сказал поэт. — Значит, ты всегда начеку? Значит, тут ты и околачиваешься? Тут твои охотничьи угодья? Ладно, испытаем твой характер...

Машина неслась. Встречная мчалась.

Он переехал на другую сторону.

Встречная последовала его примеру, нацеленная на разрушение.

— Ага, понятно, ну, тогда вот тебе, — сказал поэт.

И щелкнул еще одним тумблером и нажал еще один дроссель.

За миг перед ударом обе машины преобразились. Прорвавшись сквозь покровы иллюзий, они превратились в реактивные самолеты на старте. И оба самолета с воем выстреливали пламя, раздирали воздух, колошматили его взрывами, устремляясь сквозь звуковые барьеры к самому могучему из барьеров — и, как две столкнувшиеся пули, сплывались, слились, смешались кровью, сознанием и мраком и пали в сети непостижимой и безмятежной полуночи.

Я мертв, подумал он снова.

И это прекрасное чувство. Спасибо.

Он очнулся и понял, что улыбается.

Он сидел в машине.

Дважды умер, подумал он, и с каждым разом мне лучше и лучше. Почему? Не странно ли? Чуднее и чуднее, как говаривала Алиса в стране чудес. Странно сверх всякой странности...

Он опять запустил мотор.

Что теперь?

Двигается ли она на самом деле? — спросил он себя. — А черный пыхтящий паровик из почти доисторических времен — это она умеет?...

И вот он уже в пути, машинистом. Небо мелькает вверху, и киноэкраны, или что там еще, наваливаются чередой видений — дым струится, пар висит над свистком, огромные колеса катятся по скрежещущим рельсам, и рельсы змеятся вперед через горы, и вдалеке из-за гор выныривает другой поезд, черный, как стадо бизонов, и, изрыгая клубы дыма, несется по тем же рельсам, по тому же пути навстречу дивной аварии.

— Я понял, — сказал поэт. — Начинаю понимать, начинаю осознавать, что это и зачем. Это для таких же, как я, жалких бездомных, обиженных, едва они родились на свет, помешавшихся на разрушении и собирающих, как подаяние, то шрам, то рану, то бесконечные, в душу въевшиеся упреки жены, и лишь одно точно: мы хотим умереть, мы хотим быть убитыми. Так вот оно — то, чего мы жаждем, выплата незамедлительно, прямо на месте! Выплачивай, машина, выдавай свои чеки, упоительное, бредовое изобретение!

И два паровоза сошлись и взгромоздились друг на друга. Вскарabкались мрачной лестницей взрыва и закружились, сомкнув шатуны, и слиплись гладкими черными животами, и соприкоснулись котлами, и красочно взорвали ночь круговоротом, шквалом осколков и пламени. А затем в своем изнурительном

неуклюжем танце соединились, сплывались в ярости и страсти, поклонились чудовищным поклоном и свалились в пропасть — и тысячу лет падали на ее каменистое дно.

Очнувшись, он сразу же схватился за рычаги управления. Ошеломленный, он напевал себе что-то вполголоса. Он выводил дикие мелодии. Глаза его сверкали. Сердце учащенно билось.

— Еще, еще, теперь я понял, я знаю, что делать, еще, еще, пожалуйста, господи, ибо правда даст мне свободу, еще, еще!..

Он нажал одновременно на три, четыре, пять педалей.

Он щелкнул шестью тумблерами.

Машина стала гибридом автомобиля, самолета, паровоза, планера, снаряда, ракеты.

Гибрид катился, извергал пар, рычал, реял, летел. Мчались навстречу автомобили. Набегали паровозы. Взвивались самолеты. Выли ракеты.

И в едином сумасшедшем трехчасовом гульбище он разбил две сотни машин, взорвал два десятка поездов, сбил десять планеров, протаранил сорок ракет и наконец где-то в космических далях отдал свою славную душу в последней торжественной самоубийственной церемонии, когда межпланетный корабль на скорости двести тысяч миль в час столкнулся с метеоритом и пошел распрекрасно ко всем чертям.

Всего, по собственным его подсчетам, он за несколько коротких часов был разорван на куски и снова собран в одно целое немногим менее пятисот раз.

Когда все кончилось, он полчаса сидел, не притрагиваясь к рулю, не прикасаясь к педалям.

Через полчаса он начал смеяться. Он закинул голову и издавал оглушительные, трубные клики. Потом поднялся, покачиваясь, более пьяный, чем когда-либо в жизни, на сей раз действительно пьяный, — и понял, что пребудет теперь в таком состоянии до конца дней своих и никогда больше не испытает потребности выпить.

Я понес наказание, подумал он, наконец-то я понес настоящее наказание. Наконец-то я избит и изранен, так избит и изранен, что никогда более не понадобится мне боль, никогда не понадобится быть умерщвленным снова, оскорбленным еще раз, еще раз раненым, не понадобится даже испытать простую обиду. Спасибо тебе, гений человеческий — и гений изобретателей таких машин, которые позволяют виновнику искупить вину и наконец избавиться от черного альбатроса, от страшного груза на шее. Спасибо тебе, Город, спасибо тебе, чертежник, готовивший кальки с мятущихся душ! Благодарю тебя. Где же тут выход?...

Открылась раздвижная дверь.

За дверью его ожидала жена.

— Ну, вот и ты, — сказала она. — И все еще пьян.

— Нет, — ответил он. — Мертв.

— Пьян.

— Мертв, — повторил он, — наконец-то блистательно мертв. Ты не нужна мне больше, бывшая Мэг, Мэгги-Мигэн. Ты тоже свободна теперь, ты и твоя нечистая совесть. Иди преследуй других, малышка. Иди казни их. Прощаю тебе твои грехи против меня, ибо я наконец простил себя. Я вырвался из христианской ловушки. Я стал привидением — я умер и потому наконец могу жить. Иди за мной, возлюбленная, и поступи, как поступил я. Войди же. Понеси наказание и обрети свободу. Честь имею, Мэг. Прощай. Будь!..

Он побрел прочь.

— Куда же ты теперь? — закричала она.

— Как «куда»? Туда, в жизнь, в полнокровную жизнь — счастливый, наконец-то счастливый...

— Вернись сейчас же! — взвизгнула она.

— Невозможно остановить мертвых: они странствуют по Вселенной, беспечные, как несмышленные дети на темном лугу...

— Харпуэлл! — взревела она. — Харпуэлл!..

Но он уже ступил на реку серебристого металла, чтобы та несла его, смеющегося, пока на щеках не заблестят слезы, все дальше от крика, и визга, и рева той женщины — как же ее зовут? — неважно, там она, сзади, и нет ее.

И когда он достиг врат, то вышел на волю и пошел вдоль канала среди ясного дня, направляясь к дальним городам.

К тому времени он напевал старые-престарые песни, те, какие знал, когда ему было лет шесть.

Это была церковь.

Нет, не церковь.

Уайлдер отпустил дверь, и дверь затворилась.

Он стоял один в соборной темноте и чего-то ждал.

Крыша, если вообще была крыша, приподнялась и взмыла вверх, недостижимая, невидимая.

Пол, если вообще был пол, ощущался лишь твердью под ногами. И тоже был совершенно невидим.

А затем появились звезды. Как в детстве, в ту первую ночь, когда отец повез его за город, на холм, где фонари не могли сократить размеры Вселенной. И в ночи горела тысяча, нет, десять тысяч, нет, десять миллионов миллиардов звезд. Звезды были такие разные, яркие — и безразличные. Уже тогда он понял: им все равно. Дышу ли я, страдаю ли, жив ли, мертв ли — глазам, взирающим из любой точки неба, все равно. И он уцепился за руку отца, и сжимал ее изо всех сил, будто мог упасть туда вверх, в бездну.

И вот здесь, в этом здании, он вновь испытал тот же страх, и то же чувство прекрасного, и ту же невыразимую жалость к человечеству. Звезды наполняли его душу состраданием к маленьким людишкам, затерявшимся в этой безбрежности.

Потом произошло еще что-то.

Под ногами у него разверзлась такая же пропасть, и еще миллиард искорок света вспыхнул внизу.

Он был подвешен, как муха, на огромной телескопической линзе. Он шел по волнам пространства. Он стоял на прозрачности исполинского ока, а вокруг него, словно зимней ночью, и под ногами, и над головой, во все стороны не оставалось ничего, кроме звезд.

Значит, в конце концов, это была все-таки церковь. Это был храм, вернее, множество разбросанных по Вселенной храмов: вон там поклоняются туманности Конская голова, там галактике Ориона, а там Андромеда, как чело бога, хмурится устрашающе, буравит сырую черную сущность ночи, чтобы впитаться в его душу и пронзить ее, едва она отступит в муках на тыловые позиции.

Бог взирал на него отовсюду безвекими, немигающими глазами.

А он, микроскопическая клетка плоти, отвечал богу взглядом в упор и лишь чуть-чуть вздрогнул.

Он ждал. И из пустоты выплыла планета. Обернулась разок вокруг оси, показав свое большое спелое, как осень, лицо... Описала виток и прошла под ним.

И оказалось, что он стоит на земле далекого мира, где растут огромные сочные деревья и зеленеет трава, где воздух свеж и река струится, как реки детства, поблескивая солнцем и прыгающими рыбками.

Он знал: чтобы достичь этого мира, пришлось лететь долго, очень долго. За его спиной лежала ракета. За его спиной лежало сто лет путешествий, сна, ожидания — и вот награда.

— Мое? — спросил он у бесхитростного воздуха, у простодушной травы, у медлительной и скромной воды, что петляла мимо по песчаным отмелям.

И мир без слов ответил: твое.

Твое — без долгих скитаний и скуки, твое — без девяноста девяти лет полета, без сна в специальных камерах, без внутривенного питания, без кошмарных снов о Земле, утраченной навсегда, твое — без мучений, без боли, твое — без проб и ошибок, неудач и потерь. Твое — без пота и без страха. Твое — без ливня слез. Твое. Твое!..

Но Уайлдер не протянул рук, чтобы принять дар.

И солнце померкло в чужом небе.

И мир уплыл из-под ног.

И другой мир подплыл и провел парадом еще более яркие чудеса.

И этот мир точно так же волчком подкатился ему под ноги. И луга здесь, пожалуй, были еще сочнее, на горах лежали шапки Талых снегов, неоглядные нивы зрели немислимыми урожаями, а у кромки нив выстроились косы, умоляющие, чтобы он их поднял, и взмахнул плечом, и скосил хлеб, и прожил свою жизнь так, как только захочет.

Твое. Самое дуновение ветерка, прикосновение воздуха к чуткому уху говорило ему: твое.

Но Уайлдер, даже не качнув головой, отступил назад. Он не произнес: нет. Он лишь подумал: отказываюсь.

И травы увяли на лугах.

Горы осыпались.

Речные отмели покрыла пыль.

И мир отпрянул.

И вновь Уайлдер стоял наедине с пространством, как стоял бог-отец перед сотворением мира из хаоса.

И наконец он заговорил и сказал себе:

— Как это было бы легко! Черт возьми, это было бы здорово. Ни работы, ничего, знай себе бери. Но... вы не можете Дать мне то, что мне нужно...

Он бросил взгляд на звезды.

— Такого не подаришь... никогда...

Звезды начали гаснуть.

— Это ведь, в сущности, просто. Я должен брать у жизни взаймы, я должен зарабатывать. Я должен заслужить...

Звезды затрепетали и умерли.

— Премного благодарен, но нет, спасибо... Звезд не стало.

Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал сквозь темноту. Ладонью ударил в дверь. Вышел в город.

Он не слышал, как Вселенная-автомат за его спиной заголосила, забилась в рыданиях и ранах, словно женщина, которой пренебрегли. В исполинской роботовой кухне полетела посуда. Но когда посуда грохнулась на пол, Уайлдер уже исчез.

Охотник попал в музей оружия.

Прошелся между стендами.

Открыл одну из витрин и взвесил на руке ружье, похожее на усики паука.

Усики загудели, из дула вырвался рой металлических пчел, они ужалили цель-манекен ярдах в пятидесяти и упали замертво, зазвенев по полу.

Охотник кивнул восхищенно и положил ружье обратно в витрину.

Крадучись, двинулся дальше, зачарованный, как дитя, то тут, то там пробуя новые виды оружия, — одни растворяли стекло, другие заставляли металл растекаться яркими желтыми лужицами расплавленной лавы.

— Отлично! Замечательно! Просто великолепно!.. — вновь и вновь восклицал он, с грохотом открывая и закрывая витрины, пока наконец не выбрал себе ружье.

Ружье, которое спокойно и беззлобно уничтожало материю. Достаточно нажать кнопку — короткая вспышка синего света, и цель обращается в ничто. Ни крови. Ни яркой лавы. Никакого следа.

— Ладно, — объявил он, покидая музей, — оружие у нас есть. Теперь как насчет дичи, насчет Великого Зверя Большой Охоты?

Он прыгнул на движущийся тротуар.

За час он промчался мимо тысячи зданий, окинул взглядом тысячу парков, а палец ни разу даже не зачесался.

Смятенный, он перепрыгивал с ленты на ленту, меняя скорости и направления, бросался то туда, то сюда, пока не увидел реку металла, устремившуюся под землю.

Не задумываясь, кинулся к ней.

Металлический поток понес его в сокровенное чрево столицы.

Здесь всюду царил кровавая, теплая полутьма. Здесь диковинные насосы заставляли биться пульс Диа-Сао. Здесь перегонялись соки, смазывающие дороги, поднимающие лифты, наполняющие движением конторы и магазины.

Охотник застыл, пригнувшись. Глаза прищурились. Ладони взмокли. Курковый палец заскользил, прижимаясь к стали ружья.

— Да, — прошептал он. — Видит бог, пора. Вот оно! Сам Город — вот он, Великий Зверь. Как же я об этом раньше не подумал?... Город — чудовище, отвратительный хищник. Пожирает людей на завтрак, на обед и на ужин... Убивает их машинами. Перемалывает им кости, как сдобные булочки. Выплевывает, как зубочистки. И продолжает жить века после их смерти. Город, видит бог, Город! Ну что ж...

Он плыл по тусклым гротам телевизионных глаз, и те показывали ему оставленные позади аллеи и здания-башни.

Все глубже и глубже погружался он вместе с рекой в недра подземного мира. Миновал стаю вычислительных устройств, стрекочущих маниакальным хором. Поневоле вздрогнул, когда очередная

гигантская машина осыпала его шелестящим снегом бумажного конфетти, — а вдруг эти дырки на перфокарте пробиты, чтобы зарегистрировать его прохождение?...

Поднял ружье. Выстрелил.

Машина растаяла.

Выстрелил снова. Ажурный каркас, поддерживавший другую машину, обратился в ничто.

Город вскрикнул.

Сперва басом, потом фальцетом, а затем голос Города стал подниматься и опускаться, как сирена. Замелькали огни. Звонки зазвонили тревогу. — Металлическая река у него под ногами задрожала и замедлила бег. Он стрелял в телевизионные экраны, уставившиеся на него враждебными бельмами. Экраны туманились и исчезали.

Город кричал все пронзительнее, кричал, пока охотник сам не разразился проклятьями и не стряхнул с себя этот безумный крик, словно зловещий прах.

Он не замечал, вернее, заметил, но слишком поздно, что дорога, по которой он мчался, низвергается в голодную пасть машины, исполнявшей какую-то позабытую функцию многое множество веков назад. '

Он решил, что, нажав на курок, заставит ужасную пасть растаять. И она действительно растаяла. Но дорожная лента неслась, как прежде, — он пошатнулся и упал, а лента побежала еще быстрее, и тогда он вдруг сообразил, что оружие его вовсе не уничтожало цель, а лишь делало ее невидимой, и машина осталась как была, только он ее теперь не видел.

Он испустил отчаянный крик, под стать крику Города. Диким рывком отшвырнул ружье. Ружье полетело в шестерни, в зубчатки и ремни и было там перемолото и смято.

Самое последнее, что он увидел, — глубочайший ствол шахты, уходящий вниз на целую милю.

Он знал, что пройдет минуты две, не меньше, прежде чем он достигнет дна.

И хуже всего то, что он останется в сознании... В полном сознании до самого конца пути.

Реки всколыхнулись. Серебристую их поверхность покрыла рябь. Дорожки, возмущенные, хлынули на свои исконные железные берега.

Уайлдера чуть не бросило навзничь.

Причины сотрясения он видеть не мог. Пожалуй, откуда-то издалека донесся крик, эхо ужасного крика, которое тут же смолкло.

Он двинулся дальше. Серебристая лента ползла вперед. Но Город, казалось, вздыбился с разверстой пастью. Город, казалось, весь напрягся. Исполинские, неисчислимые мышцы его напряжились, готовые к чему-то...

Уайлдер почувствовал это я — мало того, что дорожка несла его, — зашагал по ней сам.

— Слава богу. Вот и врата. Чем скорей я вырвусь отсюда, тем...

Врата действительно были на месте, менее чек в ста ярдах. Но в тот же миг, будто услышав его слова, река остановилась. Река встrepенулась. И поползла в обратном направлении, туда, куда он вовсе не хотел возвращаться.

Озадаченный, Уайлдер резко обернулся, споткнулся и упал. Попробовал ухватиться за вещество стремительного тротуара.

Лицо его прижалось к решетчатой, трепещущей поверхности реки-дорожки, и он услышал рев и

скрежет подземных механизмов, их гул и стон, их вечное движение, вечную готовность принять путешественников и бездельников-туристов. Под покровом невозмутимого металла жужжали и жалили выстроившиеся в боевые порядки шершни, а пчелы, потерявшие цель, гудели и затихали. Уайлдер был распростерт ничком и мог лишь наблюдать, как врата остаются далеко позади. Что-то прижимало его к тротуару, и он вдруг вспомнил: на спину давит ранцевый реактивный двигатель, способный дать ему крылья.

Он рванул выключатель у пояса. И в то мгновение, когда река почти уже унесла его в море гаражных и музейных стен, поднялся в воздух.

Взлетев, он завис на месте, потом поплыл по воздуху назад и заметил Паркхилла, который случайно глянул вверх и улыбнулся перемазанными щеками. Дальше, у самых врат, стояла испуганная служанка. Еще дальше, на пристани возле яхты, стоял, повернувшись к Городу спиной, Эронсон — богач нервничал, ему не терпелось уехать.

— Где остальные? — крикнул Уайлдер.

— Остальные не вернуться, — отозвался непринужденно Паркхилл. — Оно и понятно, не правда ли? То есть я хотел сказать — место ничего себе...

— Ничего себе!.. — повторил Уайлдер, покачиваясь в воздушных потоках и беспокойно осматриваясь. — Нужно их всех вывести. Здесь небезопасно.

— Если нравится — безопасно, — ответил Паркхилл. — Мне лично нравится...

А тем временем на них со всех сторон надвигалась гроза, только Паркхилл предпочитал не замечать ее приближения.

— Вы, конечно, уходите, — произнес он самым обыденным тоном. — Я так и знал. Но зачем уходить?

— Зачем?... — Уайлдер описывал круги, как стрекоза перед первым ударом шторма. Капитана кидало то вверх, то вниз, а он швырял словами в Паркхилла, который и не думал уклоняться и с улыбкой принимал все, что слышал. — Да, черт возьми, Сэм, это место — ад! У марсиан хватило ума убраться отсюда. Сообразили, что понастроили здесь всякого сверх меры. Проклятый Город делает все, а все — это. уже чересчур. Опомнись, Сэм!..

Но в этот момент оба они оглянулись, подняли глаза. Небо смыкалось, как раковина. Над головой сходились чудовищные жалюзи. Верхушки зданий стягивались, сближались краями, как лепестки гигантских цветов. Окна затворялись. Двери захлопывались. По улицам перекатывалось гулкое пушечное эхо.

С громовым рокотом закрывались врата.

Двойные их челюсти сдвигались, дрожа.

Уайлдер вскрикнул, развернулся и рванул в пике.

Снизу донесся голос служанки. Она тянула к нему руки. Снизившись, он подхватил ее. Лягнув воздух. Реактивная струя подняла их обоих.

Он ринулся к воле, как пуля к мишени. Но за секунду до того, как ему, перегруженному, удалось достичь цели, челюсти с лязгом сомкнулись. Едва успев изменить направление, он взмыл вверх по стене заскорузлого металла, — а позади него Город, весь Город сотрясаясь в грохоте стали.

Где-то внизу закричал Паркхилл. А Уайлдер летел вверх, вверх по стене, озираясь по сторонам.

Небо сворачивалось. Лепестки сближались, сближались. Уцелел лишь один-единственный клочок

каменного неба справа. Уайлдер устремился туда. Отчаянным усилием проскочил на свободу — и тут последний стальной фланец, щелкнув, стал на место, и Город полностью замкнулся в себе.

На мгновение капитан притормозил и повис, затем начал спускаться вдоль внешней стены к пристани, где Эронсон все стоял возле яхты, уставившись на исполинские запертые ворота.

— Паркхилл, — шепнул Уайлдер, окидывая взглядом Город, стены его и ворота. — Ну и дурак же ты! Круглый дурак...

— Все они хороши, — сказал Эронсон и отвернулся. — Дурачьё! Глупцы!..

Они подождали еще немного, прислушиваясь к гулу Города, живущего своей жизнью. Алчная пасть Диа-Сао поглотила несколько атомов теплоты, несколько крошечных людишек затерялись там внутри. Теперь ворота пребудут запертыми во веки веков. Хищник получил то, что ему требовалось, и этой пищи ему хватит теперь надолго...

Яхта вынесла их по каналу из-под гребня горы, а Уайлдер все смотрел и смотрел назад, туда, где остался Город.

Милей дальше они нагнали поэта. Поэт помахал им рукой.

— Нет, нет! Спасибо, нет. Мне хочется пройтись. Чудесный денек. До свидания. Плывайте дальше...

Впереди лежали города. Маленькие города. Достаточно маленькие, чтобы люди управляли ими, а не они управляли людьми. Уайлдер уловил звуки духового оркестра. В сумерках различил неоновые огни. В свежей звездной ночи разглядел свалку мусора.

А над городом высились серебряные ракеты, ожидающие, когда же их наконец запустят и направят к пустыням звезд.

— Настоящие, — шептали они, — мы настоящие. Настоящий полет. И пространство и время — все настоящее. Никаких подарков судьбы. Ничего задаром. Каждая малость — ценою настоящего тяжелого труда...

Яхта причалила к той же пристани, откуда начала свое плавание.

— Ну, ракеты, — прошептал Уайлдер в ответ, — погодите, вот доберусь я до вас...

И побежал в ночь. Туда, к ним.

ОТПРЫСК МАКГИЛЛАХИ

В 1953 году я провел полгода в Дублине писал пьесу. С тех пор мне больше не доводилось бывать там.

И вот теперь пятнадцать лет спустя я снова прибыл туда на парохоме поезде и такси. Машина подвезла нас к отелю «Ройял Иберниен» мы вышли и поднимаемся по ступенькам вдруг какая-то нищенка ткнула нам под нос своего замызганного младенца и закричала:

— Милосердия, Христа ради, милосердия! Проявите сострадание! Неужто у вас ничего не найдется?

Что то у меня было, я порылся в карманах и выудил мелочь. И только хотел ей подать, как у меня вырвался крик или возглас. Рука выронила монеты.

Младенец смотрел на меня, я смотрел на младенца.

Тут же он исчез из моего поля зрения. Женщина наклонилась чтобы схватить деньги потом испуганно взглянула на меня.

— Что с тобой? Жена завела меня в холл. Я стоял перед столиком администратора точно оглушенный и не мог вспомнить собственной фамилии. — В чем дело? Что тебя там так поразило?

— Ты видела ребенка? — спросил я?

— У нищенки на руках?

— Тот самый.

— Что тот самый?

— Ребенок тот же самый, — губы не слушались меня. — Тот самый ребенок, которого она совала нам под нос пятнадцать лет назад.

— Послушай...

— Вот именно, ты послушай меня.

Я вернулся к двери, отворил ее и выглянул наружу.

Но улица была пуста. Нищенка исчезла ушла к какой-нибудь другой гостинице ловить других приезжающих отъезжающих.

Я закрыл дверь и подошел к стойке.

— Да так в чем дело? — спросил я.

Потом вдруг вспомнил свою фамилию и расписался в книге.

Но младенец не давал мне покоя.

Вернее мне не давало покоя воспоминание о нем.

Воспоминание о других годах других дождливых и туманных днях воспоминание о матери и ее малютке, об этом чумазом личике, о том, как женщина кричала, словно тормоза, на которые нажали, чтобы удержать ее на краю гибели.

Поздно ночью на ветреном берегу Ирландии, спускаясь по скалам туда, где волны вечно приходят и уходят, где море всегда бурлит, я слышал ее причитания.

И ребенок был тут же.

Жена ловила меня на том, что после ужина я сижу, задумавшись над своим чаем или кофе по-ирландски. И она спрашивала:

— Что опять?

— Да.

— Глупости.

— Конечно глупости.

— Ты же всегда смеешься над метафизикой, астрологией и прочей хиромантией.

— Тут совсем другое дело тут генетика.

— Ты весь отпуск себе испортишь. — Она подавала мне кусок торта и подливала еще кофе. — Впервые за много лет мы путешествуем без кучи пьес и романов в багаже. И вот тебе сегодня утром в Голуэе ты все время оглядывался через плечо, точно она трусила следом за нами со своим слюнявым чадом.

— Нет, в самом деле?

— Как будто ты не знаешь! Генетика говоришь? Прекрасно! Это и впрямь та женщина, которая просила подаяние у отеля пятнадцать лет назад, она самая, да только у нее дома дюжина детей. Мал мала меньше и все друг на друга похожи словно горошины. Есть такие семьи — плодятся без остановки. Гурьба мальчишек все в отца или сплошная цепочка близнецов — вылитая мать. Спору нет, этот младенец похож на виденного нами много лет назад, но ведь и ты похож на своего брата, верно? А между вами разница двенадцать лет.

— Говори, говори, — просил я. — Мне уже легче.

Но это была неправда.

Я выходил из отеля и прочесывал улицы Дублина.

Я искал, хотя сам себе не признался бы в этом.

От Тринити-колледж вверх по О'Коннелл-стрит, потом в сторону парка Стивенс-Грин, я делал вид, будто меня интересует архитектура, но втайне все высматривал ее с ее жуткой ношей...

Кто только не хватал меня за полу — банджоисты, чечеточники и псалмопевцы, журчащие тенора и бархатные баритоны, вспоминающие утраченную любовь или водружающие каменную плиту на могиле матери, но мне никак не удавалось выследить свою добычу.

В конце концов, я обратился к швейцару отеля «Ройял Иберниен».

— Майк, — сказал я.

— Слушаю, сэр.

— Эта женщина, которая обычно торчит здесь у подъезда...

— С ребенком на руках?

— Ты ее знаешь?

— Еще бы мне ее не знать! Да мне тридцати не было, когда она начала отравлять мне жизнь, а теперь вот, глядите, седой уже!

— Неужели она столько лет просит подаяние?

— Столько, и еще столько, и еще полстолько!

— А как ее звать?

— Молли, надо думать. Макгиллахи по фамилии, кажется. Точно. Макгиллахи. Простите, сэр, а вам для чего?

— Ты когда-нибудь смотрел на ее ребенка, Майк?

Он поморщился, как от дурного запаха.

— Уже много лет не смотрю. Эти нищенки, сэр, они до того своих детей запускают, чистая чума. Не подотрут, не умоют, новой латки не положат. Ведь если ребенок будет ухоженный, много ли тебе подадут? У них своя погудка: чем больше вони, тем лучше.

— Возможно. И все же, Майк, неужели ты ни разу не присматривался к младенцу?

— Эстетика моя страсть, сэр, поэтому я частенько отвожу глаза в сторону. Простите мне, сэр, мою слепоту, ничем не могу помочь.

— Охотно прощаю, Майк. — Я дал ему два шиллинга. — Кстати, когда ты их видел в последний раз?

— В самом деле, когда? А, ведь знаете, сэр — Он посчитал по пальцам и посмотрел на меня. — Десять дней, они уже десять дней здесь не показываются! Неслыханное дело. Десять дней!

— Десять дней, — повторил я и посчитал про себя. — Выходит, их не было здесь с тех пор, как появился я.

— Уж не хотите ли вы сказать, сэр?

— Хочу, Майк, хочу.

Я спустился по ступенькам, спрашивая себя, что именно я хотел сказать.

Она явно избегала встречи со мной.

Я начисто исключал мысль о том, что она или ее младенец могли захворать.

Наша встреча перед отелем и сноп искр, когда взгляд малышки скрестился с моим взглядом, напугали ее, и она бежала, словно лисица. Бежала невесть куда, в другой район, в другой город.

Я чувствовал, что она избегает меня. И пусть она была лисицей, зато я с каждым днем становился все более искусной охотничьей собакой.

Я выходил на прогулку раньше обычного, позже обычного, забирался в самые неожиданные места. Соскочу с автобуса в Болсбридже и брожу там в тумане. Или доеду на такси до Килкока и рыскаю по пивным. Я даже преклонял колена в церкви пастора Свифта и слушал раскаты его гуинггимоподобного голоса тотчас настораживаясь при звуке детского плача.

Сумасшедшая идея безрассудное преследование. Но я не мог остановиться, продолжал расчесывать зудящую болячку.

И вот поразительная немыслимая случайность, поздно вечером, в проливной дождь, когда все водостоки бурлят и поля вашей шляпы обвиты сплошной завесой миллион капель в секунду, когда не идешь — плывешь.

Я только что вышел из кинотеатра, где смотрел картину тридцатых годов. Жуя шоколадку «Кэдбери», я завернул за угол.

И тут эта женщина ткнула мне под, нос своего отпрыска и затянула привычное:

— Если у вас есть хоть капля жалости...

Она осеклась, повернулась кругом и побежала. Потому что в одну секунду все поняла. И ребенок у нее на руках малютка с возбужденным личиком и яркими блестящими глазами тоже все понял. Казалось Оба испуганно вскрикнули.

Боже мой, как эта женщина бежала!

Представляете себе она уже целый квартал отмерила, прежде чем я опомнился и закричал:

— Держи вора?

Я не мог придумать ничего лучшего. Ребенок был тайной, которая не давала мне житья, а женщина бежала унося тайну с собой. Чем не вор?

И я помчался вдогонку за ней, крича:

— Стой! Помогите! Эй, вы!

Нас разделяло метров сто, мы бежали так целый километр через мосты над Лиффи вверх по Графтэн-стрит и вот уже Стивене-Грин. И ни души...

Испарилась.

«Если только, — лихорадочно соображал я, рыская глазами во все стороны — если только она не юркнула в пивную «Четыре провинции...»

Я вошел в пивную.

Так и есть.

Я тихо прикрыл за собой дверь. Вот она около стойки. Сама опрокинула кружку портера и дала малютке стопочку джина. Хорошая приправа к грудному молоку.

Я подождал пока унялось сердце подошел к стойке и заказал:

— Рюмку «Джон Джемисон», пожалуйста.

Услышав мой голос, ребенок вздрогнул, поперхнулся джином и закашлялся.

Женщина повернула его и постучала по спине. Багровое личико обратилось ко мне, я смотрел на зажмуренные глаза и широко разинутый ротик. Наконец судорожный кашель прошел, щеки его посветлели, и тогда я сказал.

— Послушай, малец.

Наступила мертвая тишина. Вся пивная ждала.

— Ты забыл побриться, — сказал я.

Младенец забился на руках у матери, издавая странный жалобный писк.

Я успокоил его:

— Не бойся. Я не полицейский.

Женщина расслабилась, как будто кости ее вдруг обратились в кисель.

— Спусти меня на пол, — сказал младенец.

Она послушалась.

— Дай сюда джин.

Она подала ему рюмку.

— Пошли в бар, потолкуем без помех.

Малютка важно выступал впереди, придерживая пеленки одной рукой, сжимая в другой рюмку с джином.

Бар и впрямь был пуст. Младенец вскарабкался на стул и выпил джин.

— Господи, еще бы рюмашечку, — пропищал он.

Мать пошла за джином, тем временем я тоже сел к столику. Малютка смотрел на меня, я на малютку.

— Ну, — заговорил он наконец, — что у тебя на душе?

— Не знаю, — ответил я. — Еще не разобрался. То ли плакать хочется, то ли смеяться...

— Лучше смейся. Слез не выношу.

Он доверчиво протянул мне руку. Я пожал ее.

— Макгиллахи, — представился он. — Только меня все зовут отпрыск Макгиллахи. А то и попросту. — Отпрыск.

— Отпрыск, — повторил я. — А моя фамилия Смит.

Он крепко сжал мне руку своими пальчиками.

— Смит? Неважнецкая фамилия. И все-таки Смит в десять тысяч раз выше, чем Отпрыск, верно? Вот и скажи, каково мне здесь, внизу? И каково тебе там, наверху, длинный, стройный такой, чистым, высоким воздухом дышишь? Ладно, держи свою стопку, в ней то же, что в моей. Глотай и слушай, что я расскажу.

Женщина принесла нам обоим по стопке гвоздодера. Я сделал глоток и посмотрел на нее.

— Вы — мать?

— Она мне сестра, — сказал малютка. — Мамадя давным-давно пожинает плоды своих деяний, полпенни в день ближайшие тысячи лет, а там и вовсе ни гроша и миллион холодных весен.

— Сестра?

Видно, недоверие сквозило в моем голосе, потому что она отвернулась и спрятала лицо за кружкой с пивом.

— Что, никогда бы не подумал? На вид-то она в десять раз старше меня. Но кого зимы не состарят, того нищета доконает. Зимы да нищета — вот и весь секрет. От такой погоды фарфор лопается. Да, была она когда-то самым тонким фарфором, какой лето обжигало в своих солнечных печах.

Он ласково подтолкнул ее локтем.

— Но что поделаешь мать, если ты уже тридцать лет...

— Как, тридцать лет...

— У подъезда «Ройял Иберниен»... Да что там, считай больше! А до нас мамадя. И папаня. И его папаня, весь наш род! Только я на свет родился не успели меня в пеленки завернуть как я уже на улице и мамадя кричит «Милосердие!», а весь мир глух и нем и слеп ничего не слышит ни шиша не видит. Тридцать лет с сестренкой да десяток лет с маманей сегодня и ежедневно — отпрыск Макгиллахи!

— Сорок лет? — воскликнул я и нырнул за смыслом на дно стопки. — Тебе сорок лет? И все эти годы. Как же это тебя?

— Как меня угораздило? Так ведь должность моя такая, ее не выбирают она, как говорится, прирожденная. Девять часов в день и никаких выходных не надо отмечаться не надо в ведомости расписываться загребай что богатый обронит.

— И все таки я не понимаю, — сказал я намекая жестами на его рост и склад и цвет лица.

— Так ведь я и сам не понимаю и никогда не пойму — ответил малютка Макгиллахи. — Может я себе и другим на горе родился карликом? Или железы виноваты что не расту? А может меня вовремя научили, — дескать, останься маленьким не прогадаешь?

— Но разве возможно...

— Возможно? Еще как! Так вот мне это тыщу раз твердили, тыщу раз, как сейчас помню, папаня вернется с обхода ткнет пальцем в кровать, на меня покажет и говорит: «Послушай малявка не вздумай расти, чтоб ни волос, ни мяса не прибавлялось! Там за дверью, мир тебя ждет, жизнь поджидает! Ты слушаешь мелюзга? Вот тебе Дублин, а вот повыше Ирландия, а вот тебе Англия поверх всего широкой задницей уселась. Так что не думай и не прикидывай пустое это дело не загадывай вырасти и добиться чего-то, а лучше послушай меня мелюзга мы осадим твой рост правдой истиной предсказаниями да гаданиями будешь ты у нас джин пить да испанские сигареты курить и будешь ты как копченый ирландский окорок розовенький такой а главное — маленький понял чадо? Нежеланным ты на свет явился но раз пожаловал, — жмись к земле носа не поднимай. Не — ходи — ползи. Не говори — пиши. Руками не шевели — полеживай. А как станет тошно на мир глядеть не терпи — мочи пеленки! Держи мелюзга вот тебе твой вечерний шнапс. Глотай не мешкай! Там у Лиффи нас ждут всадники апокалипсические. Хочешь на них подивиться? Дуй со мной!»

И мы отправлялись в вечерний обход. Папаня истязал банджо, а я сидел у его ног и держал мисочку для подаяния. Или он наяривал чечетку, держа под мышкой справа меня, слева — инструмент и выжимая из нас обоих жалостные звуки.

Поздно ночью вернемся домой — и опять четверо в одной постели, будто кривые морковки, ошметки застарелой голодухи.

А среди ночи на папаню вдруг найдет что-то, и он выскакивает на холод, и носится на воле, и грозит небу кулаками Я как сейчас все помню, хорошо помню, своими ушами слышал, своими глазами видел, он ничуть не боялся, что бог ему всыплет, чего там, пусть-де мне в лапы попадет, то-то перья полетят, всю бороду ему выдеру, и пусть звезды гаснут, и представлению конец, и творению крышка! Эй ты, господи, болван стоеросовый, сколько еще твои тучи будут мочиться на нас, или тебе начхать?

И небо рыдало в ответ, и мать голосила всю ночь напролет. А утром я снова — на улицу, уже на ее руках, и так от нее к нему, от него к ней, изо дня в день, и она сокрушалась о миллионе жизней, которые унесла голодуха пятьдесят первого, а он прощался с четырьмя миллионами, которые отбыли в Бостон...

А однажды ночью папаня и сам исчез. Должно быть, тоже сел на пароход доли искать, а нас из памяти выкинул. И не виню я его. Бедняга, голод довел его, он совсем голову потерял, все хотел нам дать что-то, а давать-то нечего.

А там и маманя, можно сказать, утонула в потоке собственных слез, растаяла, будто рафинадный святой, покинула нас, прежде чем развеялась утренняя мгла, и легла в сырую землю. И сестренка, двенадцать лет, в одну ночь взрослой стала, а я? Я остался маленьким.

У нас еще раньше было задумано, давно решено, что мы делать будем. Я ведь готовился к этому. Я знал, честное слово, знал, что у меня есть актерский дар!

Все порядочные нищие Дублина кричали об этом. Мне еще и десяти дней не было, а они уже кричали «Ну и артист! Вот с кем надо подаяния просить!»

Потом мне стукнуло двадцать и тридцать дней, и маманя стояла под дождем у «Эбби-тиэтр», и артисты-режиссеры выходили и внимали моим гэльским причитаниям, и все говорили, что мне надо

контракт подписать, на актера учиться! Мол, вырасту, успех мне обеспечен. Да только я не рос, а у Шекспира нет детских ролей, разве что Пак. И прошло сорок дней, пятьдесят ночей с моего рождения, и меня уже всюду приметили, нищие покой потеряли — одолжи им мою плоть, мою кость, мою душу, мой голос на часок туда, на часок сюда. И когда маманя болела, так что встать не могла, она сдавала меня на время, одному полдня, другому полдня, и кто меня получал, без спасибо не возвращал. «Мать божья, — кричали они, — да он так горланит, что даже из папской копилки деньгу вытянет!»

А в одно воскресное утро у главного собора сам американский кардинал подошел послушать концерт, который я закатил, когда заметил его дорогое облачение да роскошные уборы. Подошел и удивился.

Ну, каково? Было что-то невероятное — в моем крике, моем писке — поди-ка переплюнь!

— Куда мне, — ответил я.

— Или взять другой случай, через много лет, того чокнутого американского киношника, что за белыми китами гонялся. В первый же раз, как мы на него наскочили, он зыркнул глазом в меня и... подмигнул! Потом достает фунтовую бумажку, да не сестренке подал, а мою руку чесоточную взял, сунул деньги в ладонь, пожал, опять подмигнул и был таков.

Потом я видел его в газете, колет Белого Кита гарпунищем, будто псих какой. И сколько раз мы после с ним встречались, всегда я чувствовал, что он меня раскусил, но все равно я ни разу не мигнул ему в ответ. Играл немую роль. За это я получал свои фунты, а он гордился, что я не сдаюсь и виду не показываю, что знаю, что он все знает.

Из всех, кого я повидал, он один смотрел мне в глаза. Он да еще ты! Все остальные больно стеснительные выросли, не глядя подают.

Да, так все эти актеры-режиссеры из «Эбби-тиэтр», и кардиналы, и нищие, которые долбили мне, чтобы я не менялся, все таким оставался, и пользовались моим талантом, моей гениальной игрой в роли младенца — видать, все это на меня повлияло, голову мне вскружило.

А с другой стороны — звон в ушах от голодных криков и что ни день — толпа на улице, то кого-то на кладбище волокут, то безработные валом валят... Соображаешь? Коль тебя вечно дождь хлещет, и бури народные, и ты всего насмотрелся — как тут не согнуться, не съежиться, сам скажи!

Моришь ребенка голодом — не жди, что мужчина вырастет. Или нынче волшебники новые средства знают?

Так вот, наслушаешься про всякие бедствия, как я наслушался, — разве будет охота резвиться на воле, где порок да коварство кругом? Где все — природа чистая и люди нечистые — против тебя? Нет уж, дудки! Лучше оставаться во чреве, а коли меня от туда выдворили и обратно хода нет, стой под дождем и сжимайся в комок. Я претворил свое унижение в доблесть.

И что ты думаешь? Я выиграл.

«Верно, малютка, — подумал я, — ты выиграл, это точно».

— Что ж, вот, пожалуй, и все, и сказочке конец, — заключил малец, восседающий на стуле в безлюдном баре.

Он посмотрел на меня впервые с начала своего повествования.

И женщина, которая была его сестрой, хотя казалась седовласой матерью, тоже, наконец, отважилась поднять глаза на меня.

— Постой, — спросил я, — а люди в Дублине знают об этом?

— Кое-кто. Кто знает, тот завидует. И ненавидит меня, поди, за то, что казни и испытания, какие бог на нас насылает, меня только краем задели.

— И полиция знает?

— А кто им скажет?

Наступила долгая тишина.

Дождь барабанил в окно.

Где-то стонала дверная петля, когда кто-то выходил и кто-то другой входил.

Тишина.

— Только не я, — сказал я.

По щекам сестры катились слезы.

Слезы катились по чумазому лицу диковинного ребенка.

Они не вытирали слез, не мешали им катиться. Когда слезы кончились, мы допили джин и посидели еще немного. Потом я сказал:

- «Ройял Иберниен» — лучший отель в городе, я в том смысле, что он лучший для нищих.

— Это верно, — подтвердили они.

— И вы только из-за меня избегали самого доходного места, боялись встретиться со мной?

— Да.

— Ночь только началась, — сказал я. — Около полуночи ожидается самолет с богачами из Шаннона.

Я встал.

— Если вы разрешите... Я охотно провожу вас туда, если вы не против.

И я пошел обратно вместе с этой женщиной и ее малюткой, пошел под дождем обратно к отелю «Ройял Иберниен», и по пути мы говорили о толпе, которая прибывает с аэродрома, озабоченная тем, чтобы не остаться без стопочки и без номера в этот поздний час — лучший час для сбора подаяния, этот час никак нельзя пропускать, даже в самый холодный дождь.

Я нес младенца часть пути, чтобы женщина могла отдохнуть, а когда мы завидели отель, я вернул ей его и спросил:

— А что, неужели за все время это в первый раз?

— Что нас раскусил турист? — сказал ребенок. — Это точно, впервые. У тебя глаза, что у выдры.

— Я писатель.

— Господи! — воскликнул он. — Как я сразу не смекнул! Уж не задумал ли ты...

— Нет, нет, — заверил я. — Ни слова не напишу об этом, ни слова о тебе ближайшие пятнадцать лет, по меньшей мере.

— Значит, молчок?

— Молчок.

До подъезда отеля осталось метров сто.

— Все дальше и я молчок — сказал младенец, лежа на руках у своей старой сестры и жестикулируя маленькими кулачками, свеженький как огурчик, омытый в джине, глазастый, вихрастый, обернутый в

грязное тряпье. — Такое правило у нас с Молли никаких разговоров на работе. Держи пять.

Я взял его пальцы, словно щупальца актинии.

— Ничего, — сказал ребенок, — еще годик, и у нас наберется на билеты до Нью-Йорка.

— Уж это точно, — подтвердила она.

— И не надо больше клянчить милостыню, и не надо быть замызганным младенцем, голосить под дождем по ночам, а стану работать как человек, и никого стыдиться не надо — понял, усек, уразумел?

— Уразумел. — Я пожал его руку.

— Ну, ступай.

— Иду, — Я быстро подошел к отелю, где уже тормозили такси из аэродрома, и вновь услышал:

— Если у вас есть хоть капля жалости! — кричала она. — Проявите сострадание!

И было слышно, как звенят монеты в миске, слышно, как хнычет промокший ребенок, слышно, как подходят еще и еще машины как женщина кричит «сострадание», и «спасибо» и «милосердие» и «бог вас благословит» и «слава тебе, господи», и я вытирал собственные слезы, и мне казалось, что я сам ростом не больше полуметра, но я все же одолел высокие ступени, и добрел до своего номера, и забрался на кровать. Холодные капли всю ночь хлестали дребезжащее стекло и, когда я проснулся на рассвете, улица была пуста, только дождь упорно топтал мостовую.

О СКИТАНИЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ

Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которых никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все, — сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель. — Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он, межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки слишком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета...

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часу, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — встрепанный, небритый, до неприличия взбудораженный, переполненный каким-то лихорадочным весельем. Высохшими руками он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите, — сказал он наконец, — вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвиле, штат Северная Каролина, в тысяча девятисотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то написал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя вихри. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в Балтиморе, в больнице Джона Хопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, после него остался чемодан, набитый рукописями, и все написаны карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу.

«Оглянись на дом свой, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги: «О времени и о реке», «Паутина и скала», «Домой возврата нет».

— Их написал Томас Вулф, — сказал он. — Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы созвали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертвеца? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах. Он любил и описывал все вот в таком роде, величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали, — заметил профессор Боултон.

— Ну, нет! — отрезал старик. — Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце достроите свою машину. Вот вам чек, сумму проставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое, так?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия...

— А мы добьемся столетий! И вы все, — он обвел присутствующих неистовым, сверкающим взором, — будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да, да, — подтвердил старик. — Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа. Сообща мы выполним великую задачу, полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф!

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листа ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя:

— Да, да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том — самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Трезвонил телефон. В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон.

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываете? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!

— Позвольте, мистер Филд. Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы прибудете, когда он уже умрет? Смотрите не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя, скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу в руках трубку. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке щелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возвратить ему плоть и кровь, горение и слово. И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том, — в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну, — Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти, ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас, теперешних, не под силу. Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе. У нас ты можешь шутя играть ракетами, Том, вот тебе звезды — пригоршни цветных стеклышек. Бери все, что душе угодно, у нас все есть. Тебе придется по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние, — жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил Пространства — для этого нам нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь, Бог свидетель, я всегда ждал, что сам ли я или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах — и ждал напрасно. Каков ты ни есть сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят — эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай, Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь слушаешься и придешь к нам, придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Правда, Том?»

Веки Филда смежились; смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы.

Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки. Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке... шаги...

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие аккуратные шажки, точно у паука, — это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да, — услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежда на большом не по возрасту ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло. — Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, плотный Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесия в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше.

Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло — решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощупал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет, — сказал он. — Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Томас Вулф. — Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву — и подумал: ну и жар у меня. Чувствую, меня куда-то несет — и подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец Господень. Взял он меня за руки.

Чую — электричеством пахнет. Взлетел я куда-то вверх, вижу — медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до пят, будто меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно решу, что спятил. Вы ведь не Господь Бог, а? С виду что-то непохоже.

Старик рассмеялся.

— Нет, нет, Том, я не Бог, только прикидываюсь. Я Филд. — Он опять засмеялся. — Надо же! Я так говорю, как будто он может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз, — кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И старик потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэр.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не четвертое июля. Не как в твоё время. Теперь у нас каждый день праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притяжения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще — видишь, сколько их? — желтые, голубые. Это межпланетные корабли.

Томас Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, замороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри! — Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлинёнными лепестками. Венчики их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна. — Это лунные цветы, — сказал Филд, — с обратной стороны Луны. — Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе. — Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем, как мячом, — Солнцем и звездами, и всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф обернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да, да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! — воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим, — в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар и в холод, и снова в жар.

— Все сводится вот к чему, — сказал наконец Томас Вулф. — Не могу я здесь оставаться, мистер Филд. Я должен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться...

— Но...

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча девятьсот тридцать восьмой, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю, это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений, которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик. — Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том...

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить... Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли — и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и уставился на экран.

— Я совсем этого не хотел, — сказал старик. — Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня. С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображение... и вот посреди экрана выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий и, задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя:

и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите, — сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось

последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся, — сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнеслись к ней очень бережно, сделали за тебя все, что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздых, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань, — сказал старик. — Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив — так? Здесь, сейчас ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот, — в темноте Филд подался вперед. — Я перенес тебя сюда, Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дождь, и подумал — такого таланта не стало! Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто убила! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит, если очень повезет, мы сумеем продержаться каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать, — нет, нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников, они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна. Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг... ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу и писать для нас? Ты напишешь, правда, Том?

Комнату медленно заполнил свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое. Он смотрел на ракеты, что проносились в неярком вечерющем небе.

— Я сперва не понял, что вы для меня сделали, — сказал он. — Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему... — Он запнулся. — А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут. И вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом, мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему, там многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца, — сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свиданья, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит, и вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается.

— Он просто чудище — такой великан, ни один скафандр ему не в пору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видели, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принимает, как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные, и от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то Бог, дай Бог! Боултон, а вы правда продержите его тут два месяца?

Профессор нахмурился.

— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удержать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не докончив книгу! Вы должны...

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да, — сказал профессор. — Это Вулф летит на Марс.

— Bravo, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой. — Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя торопливые каракули Тома Вулфа, нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу

дождавшись, чтобы на стол легла стопка бумажных листов, старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полночи и холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

Космос как осень, писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в космосе человек. Говорил о вечной, непреходящей осени. И еще — о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче куда более трудной, к печали куда более горькой. Да, это были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о Вселенной и человеке, и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать и все поняли, что Том уже в постели, там, в ракете, летящей на Марс... наверно, он еще не спит, нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка: ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных камнях балаган и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая последние страницы первой главы. — Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд. — Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас побери!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду. На полу росла груды желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели — неправдоподобной, а к концу месяца — совершенно немыслимой.

— Вы только послушайте! — кричал Филд и читал вслух.

— А это?! А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том, каково это — воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, спрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся.

— Мистер Филд...

— После, после, не мешайте.

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову.

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится, — мягко сказал Боултон. — Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съежился в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимите его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот, вот — это про космические течения, а это — о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»...

— Что поделаешь...

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошлое слишком опасно.

Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил ни минуты на канитель с карандашом и бумагой — пускай печатает на машинке либо диктует, словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без устали — за полночь, и потом до рассвета, и весь день напролет. Старик Филд провел бессонную ночь; едва он смежит веки, аппарат вновь оживает — и он встрепенется, и снова космические просторы и странствия, и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

«...бескрайние звездные луга космоса...»

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер Филд. Еще минута — и контакт времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. Словно околдованный, похолодев от ужаса, старик Филд следил, как складываются черные строчки:

«...марсианские города — изумительные, неправдоподобные, точно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями...»

— Том! — вскрикнул старик.

— Все, — прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том!!! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесплезно, — сказал голос в трубке. — Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но...

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно, энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к незаконченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти треклятые механизмы, у тебя такая силища, у тебя железная воля, Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнула клавиша телетайпа.

— Том, это ты?! — вне себя забормотал старик. — Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

«В», — стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

«Дыхании», — отстучала она.

— Ну, ну?!

«Марса», — напечатала машина и остановилась. Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль и омывают нетленные кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов...»

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстучал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно — дописать, он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо, — сказал Боултон. — Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и, оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользовались неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию — взаимопроникновение жидких слоев. Прошлое как бы просачивается в Настоящее.

Но все равно придется отослать его назад, мы не можем оставить его здесь: в Прошлом образуется пустота, все сместится и спутается. В сущности, Вулфа сейчас удерживает у нас только одно — он сам, его страсть, его работа. Дописав книгу, он ускользнет из нашего времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему, — возразил Филд. — Я знаю одно: Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант и вдохновение и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценностей, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты устремляются в Неизвестность, — это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки, она живет у себя в доме, как жили ее прабабки — ведет хозяйство, растит детей... невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индейцы». Тут он пишет о марсианах: они — индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена — чероков, ирокезов, черноногих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю.

Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполина он пересек космос и вступил в дом Генри Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кипы желтой бумаги, исчерканной карандашом либо покрытой строчками машинописи; груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет, — сказал он. — Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все с собой. А ведь мне нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь, нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Понимаю. — С тяжелым вздохом Вулф опустился в кресло. — Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и долгие минуты оба молчали.

— Назад в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень, сказал Том Вулф, закрыв глаза. — Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое...

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони да так и застыл.

Дверь отворилась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус, — ответил Боултон. — Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровею, стану на ноги — там, у себя, — буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф уставился на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну а если я уничтожу этот ваш вирус и не дамся вам?

— Этого никак нельзя.

— Ну... а если?

— Вы все разрушите.

— Что — все?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вам не выйти из этого дома. Я буду вынужден силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас внизу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть... сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется!

Старик подошел, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое — выиграть у жизни два месяца сверх срока, и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом — и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это, — серьезно сказал Томас Вулф. — Спасибо вам обоим. Я готов. — Он засучил рукав. — Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил:

— В одной моей старой книге есть такое место, — он нахмурился, вспоминая: — «...о скитаниях вечных и о Земле... Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней...»

Вулф минуту помолчал.

— Вот она, моя последняя книга, — сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел: ТОМАС ВУЛФ — О СКИТАНИЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ.

Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.

— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаеться с родным сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте!

Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф?

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли.

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропал? — Его вели полуночными коридорами, он покорно шел. — Ого, если б я и сказал вам, где... все равно вы не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнущего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс, — шептал исполин в тишине ночи. — Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия...

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф. — Так это был сон? Может быть... Хороший сон...

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлинёнными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предрассветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много, много лет с того дня как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь...

ЛУГ

Рушится стена... За ней другая, третья: глухой гул — целый город превращается в развалины.

...Разгулялся ночной ветер.

Мир притих.

Днем снесли Лондон. Разрушили Порт-Саид. Выдернули гвозди из Сан-Франциско. Перестал существовать Глазго.

Их нет больше, исчезли навсегда.

Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок.

На дороге, ведущей к сумрачным развалинам, появляется старик — ночной сторож. Он идет к высокой проволочной ограде, открывает калитку и смотрит.

Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк. Вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм. И Клируотер в штате Канзас, Провинстаун и Рио-де-Жанейро.

Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило: видел машину, которая с ревом подкатила к ограде, видел стройных загорелых мужчин в машине, мужчин в элегантных черных костюмах, с блестящими золочеными запонками, толстыми золотыми браслетами ручных часов, ослепительными кольцами; мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок...

— Вот, смотрите, джентльмены, во что все превратилось. Все ветер да непогода.

— Да, да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь, сэр.

— Может быть, еще удастся спасти Париж.

— Да, сэр!

— Постой... черт подери! Да он размок от дождя! Вот вам и Голливуд! Снесите! Расчищайте до конца! Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих!

— Есть, сэр... мистер Дуглас!

Машина взвыла и исчезла.

И вот — ночь. Старый ночной сторож подходит к калитке.

Он вспоминает, что было потом, когда предвечернюю тишину нарушили рабочие.

Стук, грохот, треск, гром падения. Пыль и гул, гул и пыль!

Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлулоидные окна; город за городом, город за городом рушились наземь и замирали.

Легкое трепетание... нарастающий, затем стихающий гром... и опять лишь легкий ветерок.

Ночной сторож медленно бредет по пустынным улицам.

Вот он в Багдаде: причудливые лохмотья дервишей, в узких окнах женская улыбка под чадрой и глаза, ясные, как сапфиры.

Ветер несет песок и конфетти.

Женщины и дервиши пропадают.

И снова кругом балки и жерди, папье-маше, холст с масляной краской, реквизит с маркой компании,

и за фасадами строений — ничего, только ночь, звезды, космос.

Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в строительном мусоре, пока не находит с десятков хороших, крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди, гвозди с маленькими шляпками.

И начинает сколачивать Лондон, стучит и стучит... Доска за доской, стена за стеной, окно за окном, стук-стук, громче, громче, сталь о сталь, сталь в дерево, дерево ввысь — работает час за часом, до полуночи, без передышки, стучит, приставляет, опять стучит.

— Эй, вы!

Старик останавливается.

— Эй, сторож!

Из темноты выбегает незнакомец. Он в комбинезоне, он кричит:

— Эй, вы, как вас там?

Старик поворачивается.

— Моя фамилия Смит.

— О'кей, Смит, что это вы тут затеяли?

Ночной сторож спокойно смотрит на чужака.

— Кто вы?

— Келли, бригадир.

Старик кивает.

— Ага, вы из тех, что все сносят. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома, хвастали этим.

Келли откашливается, сплевывает.

— Я проверял механизмы там, где Сингапур... — Он вытирает губы. — А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете! Мы сносим, а вы снова строите. Вы что, рехнулись?

Старик кивает.

— Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.

— Послушайте, Смит. Я делаю свое дело, вы делаете свое — и всем хорошо. Я не могу вам позволить заниматься ерундой, ясно? Так и знайте, я доложу мистеру Дугласу.

Старик продолжает стучать молотком.

— Позвоните ему. Вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.

Келли хохочет.

— Вы смеетесь? Дуглас не станет говорить с первым встречным. — Он делает рукой пренебрежительный жест, потом наклоняется, изучая работу Смита. — Эй, что за черт! Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки! Кончайте! Нам их завтра выдергивать!

Смит оборачивается и смотрит на Келли.

— Ясное дело, разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь, с маленькой шляпкой, да и вколачивать надо как следует. Вот так!

Он сильно бьет по гвоздю, так что тот совершенно уходит в дерево.

Келли подбоченивается.

— Предупреждаю в последний раз. Кончайте это дело, и все будет шито-крыто.

— Молодой человек, — говорит ночной сторож, заколачивая очередной гвоздь, задумывается и снова говорит:

— Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Я приходил сюда, когда тут не было ничего — один сплошной луг. Подует ветер, и по лугу бегут волны... Больше тридцати лет я наблюдал, как все это вырастает, как здесь вырастает целый мир. Я жил этим. Я был счастлив. Только здесь для меня настоящий мир. Тот мир, за оградой, — место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка в доме на маленькой улочке, я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь? Здесь собраны все страны и все дышит покоем. Давно уже я брожу по этим городам. Захотелось — закусываю в час ночи в баре на Елисейских полях! Захотелось — выпил отличного амонтильядо в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами вон там, наверху, — видите, под крышей собора Парижской богородицы? — порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения!

— Да, да, дед, точно. — Келли нетерпеливо машет рукой.

— А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир, снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать... Вы, с вашей бригадой — чем вы гордитесь? Тем, что сносите... Рушите села, города, целые страны!

— У меня семья, — говорит Келли. — Мне надо кормить жену и детей.

— Вот, вот, все так говорят. У каждого жена и дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ! Дескать, велели! Мол, вынуждены!

— Замолкни, давай сюда молоток!

— Не подходи!

— Что?! Ах ты, старый болван!..

— Этим молотком можно не только гвозди!.. — Молоток со свистом рассекает воздух, бригадир Келли отскакивает в сторону.

— Черт, — говорит Келли, — да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это же черт знает что — сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порете чушь, а через две минуты — кто его знает! — обольете все керосином и устроите пожарчик!..

— Я здесь даже щепки не трону, и вы это отлично знаете, — возражает старик.

— Вы весь участок спалить способны, — твердит Келли. — Вот что, старина, стойте тут и никуда не уходите!

Келли поворачивается и бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной страны; вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды, а старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться. Сердце бешено колотится, ослабевшие пальцы роняют молоток, гвозди рассыпаются на тротуаре, звеня, как монеты, и старик, отчаявшись, говорит сам себе:

— Ни к чему все это, ни к чему. Я не успею ничего починить, они приедут раньше. Мне нужна помощь,

и я не знаю, как быть.

Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление: в последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, а час поздний, теней много, они повсюду, всякого рода и вида — тени строений и тени людей. Он не глядит прямо на них, нет, потому что, если на них смотреть, они развеются. Нет, он просто шагает, шагает вдоль Пиккадилли... эхо шагов... или по Рю-де-ля-Пэ... старческий кашель... или вдоль Пятой авеню... и не смотрит ни влево, ни вправо. И повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, — его многочисленные друзья, хорошие друзья, очень близкие друзья. Откуда-то долетают бормотание, бульканье, тихий треск кофеварки и полная неги итальянская песня... Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны-бубенчики, колокольчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки, но это вовсе не яблоки, это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон бубенчиков и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, крошась о черный вулканический камень, шипят, утопая в кипящем масле, тортильи, трещит, разбрасывая тысячи блестящих светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь, колышутся листья папайи... И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни — удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка.

Или это всего-навсего, всего-навсего ветер?

Нет, люди, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра?

Старик останавливается, прижимает руки к груди.

Завтра их здесь не будет.

Рев клаксона!

За проволочной оградой у калитки — враг! У ворот — маленькая черная полицейская машина и большой черный лимузин киностудии, что в пяти километрах отсюда.

Снова рев клаксона!

Старик хватается за перекладины приставной лестницы и лезет, звук клаксона гонит его вверх, вверх. Створки распахиваются, враг врывается в ворота.

— Вот он!

Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу, прожектора видят мертвые кулисы Манхэттена, Чикаго, Чунцина! Свет падает на имитацию каменной громады собора Парижской богородицы, выхватывает на лестнице собора фигурку, которая карабкается все выше и выше к покатоному звездно-черному пологому.

— Вот он, мистер Дуглас, на самом верху!

— Господи, до чего дело дошло... Нельзя уж и вечер провести спокойно. Непременно что-нибудь да...

— Он зажег спичку! Вызывайте пожарную команду!

На самом верху собора ночной сторож, защищая рукой от ветра крохотное пламя, смотрит вниз, видит полицейских, рабочих, продюсера — рослого человека в черном костюме. Они глядят на него, а он медленно поворачивает спичку, прячет ее в ладонях и подносит к сигаре. Прикуривает, сильно втягивая щеки.

Он кричит:

— Что, мистер Дуглас приехал?

Голос отвечает:

— Зачем я понадобился?

Старик улыбается.

— Поднимайтесь сюда, только один! Если хотите, возьмите оружие! Мне надо потолковать с вами!

Голоса гулко разносятся над огромным кладбищем.

— Не ходите туда, мистер Дуглас!

— Дайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь так долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго, спалит все макеты. Тут на два миллиона долларов одного леса. Готово? Я пошел.

Продюсер карабкается по темным лестницам, вдоль раковины купола, к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит свою сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.

— Ол райт, Смит, не шевелитесь.

Смит невозмутимо вынимает изо рта сигару.

— Вы зря меня боитесь. Я вовсе не помешанный.

— В этом я далеко не уверен.

— Мистер Дуглас, — говорит ночной сторож, — вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все — все до единого — были помешанные, то никто из них об этом не знал. Все вели себя одинаково и считали себя нормальными. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком, но он отклонялся от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство — понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.

Продюсер чертыхается про себя.

— Я сюда лез не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?

— Я хочу говорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж: улицы, быстро, цветы, вино, букинисты... Снова вы хлопнули в ладоши: «Да будет Константинополь!» Пожалуйста, вот он! Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один, последний раз — и все обратится в развалины. Нет, мистер Дуглас, это не так-то просто!

— В моих руках пятьдесят один процент акций этой студии!

— Студия... А что вас с ней связывает? Приходило ли вам когда-нибудь в голову приехать сюда поздно вечером, взобраться хотя бы на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что недурно бы посидеть здесь, наверху, со мной и моими друзьями и выпить бокал амонтильядо? Пусть наше амонтильядо запахом, видом и вкусом больше похоже на кофе... а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали, вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить. Пусть вам принадлежит пятьдесят один процент акций, но они вам не принадлежат.

— Они? — воскликнул продюсер. — Что это еще за «они»?

— Трудно, трудно подобрать слова... Это люди, которые живут тут. — Широким жестом сторож показывает на темнеющие в ночном воздухе двухмерные города. — Сколько фильмов снимали в этом краю! Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языках, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали. Женщины под вуалью улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг. Дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море.

Продюсер вылезает из люка и садится на доски; пальцы, держащие револьвер, уже не так напряжены. Он глядит на старика, как любопытный щенок — сначала одним, потом другим глазом; слушает — одним, потом другим ухом, наконец в раздумье качает головой.

Ночной сторож продолжает говорить:

— А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли и все сели в машины и уехали — все равно что то осталось от этого множества разноплеменных людей. Осталось то, чем они были или пытались быть. Чужие языки и костюмы, религия и музыка, людские драмы — все, малое и большое, осталось. Дальние дали, запахи, соленый ветер, океан. Все это здесь сегодня вечером, если хорошенько вслушаться.

Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать, а снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще не тронутыми в окружении сотен развалин, бормочут в ночи; бормочут тросы и каркасы, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.

Продюсер усмехается, качает головой.

— Вы услышали, — говорит ночной сторож. — Ведь правда, услышали? По лицу видно.

Дуглас прячет револьвер в карман.

— Стоит захотеть — и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы бы переплюнули пяток моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?

— Вы заговорили почти вежливо, — отвечает ночной сторож.

— А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.

— Действительно? Неужели вам тут так скучно? Не думаю, скорее наоборот. Вы даже кое-что приобрели.

Дуглас тихо смеется.

— А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, и оттого, что все идет к черту, и еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.

— Уж не хотите ли вы сказать, что мне удалось заставить вас думать? — спрашивает старик. Дуглас снисходительно фыркает.

— Поживешь с мое в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный, тут вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла. Что вам в нем?

Сторож опускается на колени и постукивает ребром одной ладони по другой, подчеркивая свои доводы.

— Слушайте. Как я только что сказал, вы явились сюда много лет назад, хлопнули в ладоши, и одним махом выросло триста городов! Потом вы добавили еще полтыщи стран и народов, самых разных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения! Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И, однако, осложнения были те же, к каким привык тот мир, за оградой, — ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?

— Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.

«Где ты, ночная музыка?» — мысленно взывает старик и плавно взмахивает рукой, словно кто-то аккомпанирует его рассказу...

— Потому что вы объединили Бостон и Тринидад, — говорит он тихо, — сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон, а Лиссабон одной стороной прислонился к Александрии, сцепили вместе Александрию и Шанхай, склотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Осло и Суитхотер, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке, он качается, делает шаг-другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму... Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим, иначе все полетит к чертям! Один пожар способен уничтожить всех нас, кто бы и почему бы его ни устроил. Поэтому здесь все люди, или ожившие воспоминания, или как вы их там еще назовете, утихомирились. Вот что это за край — прекрасный край, мирный край.

Старик смолкает, облизывает пересохшие губы, переводит дух.

— А вы, — говорит он, — хотите завтра его уничтожить.

Несколько секунд старик стоит сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колыхается на ветру, колыхается взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибором.

— Мда-а-а, — произносит наконец Дуглас, — что ж... а теперь, пойдём вниз?...

Смит кивает.

— Я все сказал, что было на душе.

Дуглас исчезает в люке, сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней.

Полицейские, рабочие, двое-трое служащих — все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.

— Что вы собираетесь делать? — спрашивает Смит.

— Пожалуй, поеду опять на вечеринку, — говорит продюсер.

— Там будет весело?

— Да, — продюсер мнетя, — конечно, весело! — Он глядит на правую руку сторожа. — Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаётесь?

— А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда все вокруг стали разрушителями?

Дуглас и старик идут по улицам.

— Что ж, до свидания, может быть, мы еще увидимся, Смит.

— Нет, — отвечает Смит, — меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.

Дуглас останавливается.

— Проклятие. Что же я, по-вашему, должен сделать?

— Чего уж проще — оставить все как есть. Оставить города в покое.

— Этого я не могу, черт возьми! Бизнес. Придется все сносить.

— Человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное применение этим макетам, — говорит Смит.

— Машина ждет! Как отсюда выбраться?

Продюсер обходит кучу обломков, потом шагает прямо по развалинам, отбрасывая ногой доски, опираясь на стояки и гипсовые фасады. Сверху сыплется пыль.

— Осторожно!

Продюсер спотыкается. Облака пыли, лавина кирпичей... Он качается, теряет равновесие, старик подхватывает его и тянет вперед.

— Прыгайте!

Они прыгают, за их спиной с грохотом рушится половина дома, превращается в горы досок и рваного картона. В воздух поднимается огромный пылевой цветок.

— Все в порядке?

— Ничего, спасибо. — Продюсер глядит на развалившееся строение; пыль оседает. — Кажется, вы меня спасли.

— Что вы. Большинство кирпичей из папье-маше. В худшем случае получили бы несколько ссадин и синяков.

— Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?

— Нормандская башня, ее здесь поставили в 1925 году. Не ходите туда, она еще не вся обвалилась.

— Я осторожно. — Продюсер медленно подходит к макету. — Господи, да я вею эту дрянную постройку одним пальцем могу скovyрнуть. — Он упирается рукой, постройка наклоняется, дрожит, скрипит. Продюсер стремительно отступает. — Ткни — и рухнет.

— И все-таки вы этого не сделаете, — говорит ночной сторож.

— Не сделаю? Подумаешь, одним французским домом больше или меньше, когда столько уже снесено.

Старик берет его за руку.

— Пойдемте, взглянем с той стороны.

Они обходят декорацию.

— Читайте вывеску, — говорит Смит.

Продюсер щелкает зажигалкой, поднимает ее, чтобы было видно, и читает:

- «Ферст нейшнл бэнк, Меллин Таун».

Пауза.

— Иллинойс, — медленно заключает он.

Высокое строение освещено редким светом звезд и мягким светом луны.

— С одной стороны, — руки Дугласа изображают чаши весов, — французская башня. С другой, — он делает семь шагов влево, потом семь шагов вправо и все время смотрит, — Ферст нейшнл бэнк. Банк. Башня. Башня. Банк. Черт побери.

— Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас? — с улыбкой спрашивает Смит.

— Постойте, постойте, не спешите, — говорит Дуглас.

Он внезапно начинает видеть стоящие перед ним строения. Он медленно поворачивается, глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо, изучают, исследуют, примечают, снова изучают. Продюсер молча идет дальше. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города.

Они все говорят и говорят, пока идут. Дуглас спрашивает, сторож отвечает, Дуглас снова спрашивает, и сторож отвечает.

— Что это?

— Буддийский храм.

— А с обратной стороны?

— Лачуга, в которой родился Линкольн.

— Здесь?

— Церковь святого Патрика в Нью-Йорке.

— А с другой стороны?

— Русская православная церковь в Ростове.

— А это что такое?

— Ворота замка на Рейне.

— А за воротами?

— Бар в Канзас-Сити.

— А там? А там? А вон там? А это что? — спрашивает Дуглас. — Что это? А вон то? И то?

Они спешат, почти бегут, переключаясь, из города в город, они и тут, и там, и повсюду, входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, открывают и затворяют двери.

— А это, это, это, это?

Сторож рассказывает все, что можно рассказать.

Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка.

За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке.

Они снова примолкли. Старик молчит, так как сказал все, что следовало сказать, продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.

— Спасибо.

Они задумчиво прикуривают. Выпускают дым и смотрят, как он тает в воздухе.

— Куда вы дели ваш проклятый молоток? — говорит Дуглас.

— Вот он, — отвечает Смит.

— И гвозди захватили?

— Да, сэр.

Дуглас глубоко затягивается, выпускает дым.

— О'кэй, Смит, давайте работайте.

— Что?!

— Вы слышали. Почините сколько сможете, сколько успеете. Всего уже не поправишь. Но коли найдете поцелее, получше на вид — сколачивайте. Слава богу, хоть что-то осталось! Да, не сразу до меня дошло. Человек с коммерческим чутьем и хоть каплей воображения, сказали вы... Вот где мирный край, сказали вы. Мне следовало это понять много лет назад. Ведь это оно, все, что надо, а я, словно крот, не видел, такой возможности не видел. У меня на пустыре Всемирная федерация — а я ее громлю! Видит бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.

— Это верно, — говорит сторож, — я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?

— Я не обещаю большего, чем могу сделать, — отвечает продюсер. — Обещаю только попытаться. Есть шансы, что дело пойдет. Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу, хоть десять вариантов. И фабулы искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть фабула. Остается только посадить за работу несколько сценаристов. Хороших сценаристов. Пусть даже будет короткометражный фильм, двухчастевка, минут на двадцать, — этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга. Идея мне по душе, очень по душе, честное слово. Такой фильм можно демонстрировать где угодно и кому угодно, и он всем понравится. Никто не пройдет мимо, слишком в нем много будет заложено.

— Радостно вас слушать, когда вы вот так говорите.

— Надеюсь, я и впредь буду так говорить. Но на меня нельзя положиться. Я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми, сегодня — одно, завтра — другое. Может быть, вам придется колотить меня по голове этим вот молотком, чтобы я помнил.

— С удовольствием, — говорит Смит.

— И если мы действительно затеем съемки, — продолжает продюсер, — то вы нам должны помочь. Кто лучше вас знает все эти макеты! Мы будем вам благодарны за все предложения. Ну а после съемок — уж тогда-то вы не станете больше возражать, если мы снесем остальное?

— Тогда — разрешу, — отвечает сторож.

— Значит, договорились. Я отзываю рабочих — и посмотрим, что выйдет. Завтра же пришлю операторов, пусть поглядят, прикинут. И сценаристов пришлю. Потолкуете с ними. Черт возьми. Сделаем, справимся! — Дуглас поворачивается к воротам. — А пока орудуйте молотком в свое полное удовольствие. Бр-р, холодно!

Они торопливо идут к воротам. По пути старик находит ящичек, где лежит его ужин. Он достает термос, встряхивает.

— Может, выпьем, прежде чем вы уедете?

— А что у вас? Тот самый амонтильядо, которым вы так хвастались?

— 1876 года.

— Ну что ж, пригубим.

Термос открывают, горячая жидкость льется в крышку.

— Прошу, — говорит старик.

— Спасибо. Ваше здоровье. — Продюсер пьет. — Здорово. Чертовски здорово!

— Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего амонтильядо еще никто не пил.

— Согласен.

Они стоят под луной, окруженные городами всего мира, пьют горячий напиток, и вдруг старик вспоминает:

— А ведь есть старая песня, она как раз подходит к случаю, застольная, кажется... Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение, когда я все слышу и ветер звучит как музыка. Вот она:

Нам всем домой по пути,

Мы все заодно! Мы все заодно!

Нам всем по пути, домой по пути,

Нам незачем врозь идти,

Мы будем всегда заодно,

Как плющ, и стена, и окно...

Они допивают кофе в Порт-о-Пренсе.

— Эй, — вдруг говорит продюсер. — Осторожно с сигаретой! Так можно весь мир поджечь!

Оба смотрят на сигарету и улыбаются.

— Я буду осторожен, — обещает Смит.

— Пока, — говорит продюсер. — Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.

— Пока, мистер Дуглас.

Калитка отворяется и затворяется, шаги стихают, лимузин ворчит и уезжает, освещенный луной, оставляя города на лугу и старого человека, который стоит за оградой и машет на прощанье рукой.

— Пока, — говорит ночной сторож.

И снова лишь ветер...

О ТЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ Я ПОЮ

Бабушка!..

Я помню, как она родилась.

Постойте, скажете вы, разве может человек помнить рождение собственной бабушки?

И все-таки этот день мы помним.

Ибо это мы, ее внуки — Тимоти, Агата и я, Том, помогли ей появиться на свет. Мы первые дали ей шлепка и услышали крик «новорожденной». Мы сами собрали ее из деталей, узлов и блоков, подобрали ей темперамент, вкусы, привычки, повадки и склонности и те элементы, которые заставили потом стрелку ее компаса отклоняться то к северу, когда она бранила нас за шалости, то к югу, когда она утешала и ласкала нас, или же к востоку и западу, чтобы показать нам необъятный мир; взор ее искал и находил нас, губы шептали слова колыбельной, а руки будили на заре, когда вставало солнце.

Бабушка, милая бабушка, прекрасная электрическая сказка нашего детства...

Когда на горизонте вспыхивают зарницы, а зигзаги молний прорезают небо, ее имя огненными буквами отпечатывается на моих смеженных веках. В мягкой тишине ночи мне по-прежнему слышится мерное тиканье и жужжанье. Она, словно часы-приведение, проходит по длинным коридорам моей памяти — рой мыслящих пчел, догоняющих призрак ушедшего лета. И иногда по ночам я вдруг чувствую на губах улыбку, которой она нас научила...

Хорошо, хорошо, нетерпеливо прервете меня вы, расскажите же наконец, как все произошло, как «родилась» на свет эта ваша, черт побери, столь замечательная, столь удивительная и невероятная и так обожавшая вас бабушка.

Случилось это в ту неделю, когда всему пришел конец...

Умерла мама.

В сумерках черный лимузин уехал, оставив отца и нас троих на дорожке, потерянно глядевших на лужайку перед домом. Нет, думали мы, это не прежняя лужайка, хотя на площадке для крокета все так же валяются деревянные шары и молотки, стоят дужки ворот — все, как три дня, назад, когда на крыльцо, спотыкаясь, вышел отец и оказал нам. А вот лежат ролики, принадлежавшие мальчугану — этим мальчуганом был я. Но это, время безвозвратно ушло. На старом дубе висят качели, но Агата не решится встать на них — качели не выдержат, оборвутся и упадут.

А наш дом? О боже...

Мы с опаской бросили взгляд на приоткрытую дверь, страшась эха, прятавшегося в коридорах, тех гулких звуков пустоты, которые мгновенно поселяются в доме, как только из него вынесли мебель и ничто уже не смягчает голосов и шумов, наполняющих дом, когда в нем живут люди. Самая мягкая и уютная, самая главная и прекрасная принадлежность нашего дома исчезла из него навсегда.

Дверь медленно растворилась.

Нас встречала тишина. Пахло сыростью из подполья — должно быть, забыли закрыть дверь погреба. Но ведь у нас нет погреба!..

— Ну вот, дети... — промолвил отец.

Мы застыли на пороге.

К дому подкатила большая канареечно-желтая машина тети Клары.

Нас словно ветром сдуло — мы бросились в дом и разбежались по своим комнатам.

Мы слышали голоса — они кричали и спорили, кричали и спорили. «Пусть дети живут у меня!» — кричала тетя Клара. «Ни за что! Они скорее согласятся умереть!..» — отвечал отец.

Хлопнула дверь. Тетя Клара уехала.

Мы чуть не заплясали от радости, но тут же опомнились и тихонько спустились вниз.

Отец сидел, разговаривая сам с собой, или, может быть, с бледной тенью мамы еще из тех времен, когда она была здорова и была с нами. Звук громко хлопнувшей двери, должно быть, испугнул тень, и она исчезла. Отец потерянно бормотал, глядя в свои пустые ладони:

— Пойми, Энн, детям нужен кто-то... Я люблю их, видит небо, но мне надо работать, чтобы прокормить нас всех. И ты любишь их, Энн, я знаю, но тебя нет с нами. А Клара?... Нет, это просто невозможно... Ее любовь... угнетает. Няньки, прислуга... — Отец горестно вздохнул.

И мы вздохнули вслед за ним, вспомнив, как нам не везло на нянек, воспитательниц, да и просто служанок. Мы не помним ни одной, чтобы не пилила как пила. Их появление в доме лучше всего сравнить со стихийным бедствием, с торнадо или ураганом, или же с топором, который тяжело падал на наши ни в чем не повинные головы. Конечно же, они все никуда не годились. Мы, дети, были для них лишь частью дома, мебелью, которую следовало чистить и выколачивать, весной и осенью менять обивку и ежегодно вывозить куда-нибудь на взморье для большой стирки.

— Дети, нам нужна... — вдруг тихо произнес отец. Нам пришлось придвинуться как можно ближе, чтобы расслышать слово, произнесенное почти шепотом:

— ...бабушка.

— Но все наши бабушки давно умерли! — с беспощадной логикой девятилетнего мальчишки воскликнул Тимоти.

— С одной стороны, это так, но с другой...

Мы оторопели. Какие странные, какие загадочные слова говорит наш отец!

— Взгляните-ка вот на это, — сказал он наконец и протянул сложенный в гармошку яркий рекламный проспект. Мы уже не раз видели его в руках отца, и особенно часто в последние дни. Достаточно было одного взгляда, чтобы стало понятно, почему оскорбленная и разгневанная тетя Клара так стремительно покинула наш дом.

- «О теле электрическом я пою», — Тимоти первым вслух прочел то, что было написано на обложке и, прищурившись, вопросительно посмотрел на отца: — Это что еще такое?

— Читай дальше.

Агата и я почему-то виновато оглянулись, словно испугались, что сейчас войдет мама и застанет нас за чем-то недостойным. Но мы тут же закивали головами: да, да, пусть Тимоти читает дальше.

— «Фанто...»

— «Фанточины», — не выдержав, подсказал отец.

— «...Фанточины Лимитед. Мы провидим, как решить самые трудные и неразрешимые ваши проблемы. Всего ОДНА МОДЕЛЬ, но ее можно видоизменять до бесконечности, создавая тысячи и тысячи вариантов, добавлять, исправлять, менять форму и вид...»

— Где, где это написано? — закричали мы.

— Это я от себя добавил. — И впервые за много дней Тимоти улыбнулся. — Так вдруг захотелось. А теперь слушайте дальше: «Для тех, кто измучен недобросовестными няньками и сиделками, кто устал от приходящей прислуги, на виду у которой нельзя оставить початую бутылку вина, кому надоели советы преисполненных добрых намерений дядей и теток...»

— Да, добрых... — протянула Агата, а я, как эхо, повторил за ней.

- «...мы создали и продолжаем совершенствовать модель человека-робота, электрическую Бабушку марки АС-ДС V на микросхемах, перезаряжающуюся...»

— Бабушку?!

Перспект тихо скользнул на пол.

— Отец?!

— Не глядите на меня так, дети, — прошептал он. — Я совсем потерял голову от горя, я почти лишился рассудка, думая о завтрашнем дне. Да поднимите же кто-нибудь его, дочитайте до конца!

— Ладно — сказал я и поднял проспект.

- «...это Игрушка и вместе с тем нечто большее, чем просто игрушка. Это Электрическая Бабушка фирмы «Фанточини». Она создана с величайшим тщанием и заряжена огромной любовью и нежностью к вашим детям. Мы создавали ее для детей, знакомых с реальностью современного мира, и, более того, с реальностью невероятного. Наша модель может обучать на двенадцати языках, переключаясь с одного на другой с быстротой в одну тысячную долю секунды. В ее электронной памяти, в ячейках сотов хранится все, что известно людям об истории, религии и искусстве, и о социально-политическом прошлом человечества...»

— Вот здорово! — воскликнул Тимоти. — Раз соты, значит, это улей, а в нем, конечно, пчелы. Да еще мыслящие!..

— Замолчи, — одернула его Агата.

- «Но самое главное, — продолжал я, — что это Существо, — а наша модель действительно почти живое существо, — идеальное воплощение человеческого интеллекта. Наша Бабушка способна слушать и понимать, и она будет любить и лелеять ваших детей — наша фантастическая и невероятная Электрическая Бабушка. Она будет чутко откликаться на все, что происходит не только в огромном мире вокруг нас, но и в вашем крохотном мирке. Она будет послушна малейшему прикосновению рук и подарит чудесный мир сказок».

— Так нуждается... — прошептала Агата.

Да, да, нуждается, печально подумали мы все. Ведь это же о нас, конечно, о нас!

- «Мы не предлагаем ее счастливым семьям, где все живы и здоровы, где родители сами хотят воспитывать и наставлять своих детей, формировать их характеры, искоренять недостатки, дарить любовь и ласку. Ибо никто не заменит детям отца или мать. Приюты не помогут вам. Няньки и прислуга слишком эгоистичны, небрежны или слишком неуравновешенны в наш век нервного напряжения.

Прекрасно сознавая, сколь многое предстоит еще додумать, изучить, проверить и пересмотреть, совершенствуя из месяца в месяц, из года в год наше изобретение, мы, однако, берем на себя смелость уже сейчас рекомендовать вам этот образец, по многим показателям близкий к идеальному типу наставника — друга — товарища — помощника — близкого и родного человека. Гарантийный срок может быть оговорен в...».

— Довольно! — воскликнул отец. — Не надо больше. Даже я не в силах вынести этого.

— Почему? — удивился Тимоти. — А я только-только начал понимать, как это здорово!

Я сложил проспект.

— Это правда? У них действительно есть такие штуки?

— Не будем больше говорить об этом, дети, — сказал отец, прикрывая глаза рукой. — Это была безумная мысль...

— Совсем не такая уж плохая, отец, — возразил я и посмотрел на Тима. — Я хочу сказать, что, если, черт побери, это правда и они действительно попробовали создать такую штуку, то это все же лучше нашей тетушки Клары, а?

Боже мой, что тут началось. Как давно мы так не смеялись! Пожалуй, несколько месяцев. Конечно, я сморозил глупость, но все так и покатывались со смеху, стонали и охали, да и я сам, открыв рот, радостно завизжал бог знает отчего. Когда мы наконец отдышались и пришли в себя, как по команде уставились на рекламный проспект «Фанточини Лимитед».

— Ну? — сказал я.

— Я, я... — поеживаясь, неуверенно начала Агата.

— Надо решать, нечего волынить, — решительно промолвил Тим.

— Идея сама по себе неплоха, — важно согласился я.

— Я... я только хотела сказать, — снова начала Агата, — ...если вам так уж хочется, то можно попробовать... Но когда вы, мальчишки, наконец перестанете болтать ерунду и когда... когда же наша настоящая мама вернется домой?

Удар пришелся в самое сердце. Мы ахнули, мы окаменели. Я не уверен, что кто-либо из нас уснул в эту ночь. Скорее всего мы все проплакали до утра.

А утро выдалось ясное и солнечное. Вертолет поднял нас над небоскребами, и не успели мы опомниться, как уже стояли на крыше одного из них с надписью: «Фанточини».

— А что это такое? — спросила Агата.

— Фанточини — это по-итальянски «куклы-фантомы». Куклы из сказок и снов, — пояснил отец.

— А что означает «мы провидим»?

— Они угадывают чужие сны и желания, — на удержался я — так мне не терпелось показать свою ученость.

— Молодец, Том, — похвалил отец.

Я просиял.

Зашумев винтом, вертолет взмыл вверх и, на мгновение накрыв нас своей тенью, исчез из виду.

Лифт так стремительно упал вниз, что внутри похолодело. Мы вышли и ступили на движущуюся дорожку, которая, словно мостик, легла через синюю руку ковра, и вдруг очутились перед большим прилавком со множеством всяких надписей, например: «Часовая мастерская», «Фанточини — наша специальность», «Зайчик на стене — это очень просто».

— Зайчик?

Я сложил пальцы и задвигал ими — получился заяц, шевелящий ушами.

— Это заяц, а вот волк. А это крокодил.

— Это каждый умеет, — сказала Агата.

Мы стояли перед прилавком. Где-то тихо играла музыка. За стеной глухо работали какие-то механизмы. Когда мы приблизились к прилавку, свет в комнате словно потеплел, и вид у нас стал веселее и не такой жалкий, хотя мы порядком продрогли.

Вокруг нас в ящиках и в стенных нишах, а то просто свешиваясь с потолка на шнурах и проволоке, везде были куклы и марионетки, бумажные, на каркасах из тонких щепочек, куклы с острова Бали, напоминающие бумажного змея, такие прозрачные, что если посмотреть сквозь них на луну, то можно увидеть свои сокровенные мечты и желания. При нашем появлении потревоженный воздух привел в движение этот сонм диковинных существ.

Агата недоверчиво моргала озираясь. Наконец недоверие сменилось страхом, потом отвращением.

— Если они все такие, тогда уйдем отсюда.

— Тс-с, — остановил ее отец.

— Ты однажды подарил мне такую глупую куклу, помнишь, два года назад, — запротестовала Агата. — Все веревки сразу же перепутались. Я выбросила ее в окно.

— Терпение, девочка, — снова сказал отец.

— В таком случае постараемся подобрать без веревок, — вдруг услышали мы голос и с удивлением уставились на человека за прилавком.

А он, словно гробовщик, хорошо знающий свое дело, глядел на нас серьезно, без тени улыбки. Будто знал, что дети не очень-то доверяют тем, кто слишком охотно улыбается. Они безошибочно чуют подвох.

Все так же без улыбки, но отнюдь не мрачно, а приветливо и престо человек представился:

— Гвидо Фанточин к вашим услугам. Вот что мы сделаем, мисс Агата Саймонс одиннадцати лет.

Вот это да! Он прекрасно видел, что Агате никак не больше десяти. Но, умышленно прибавив ей год, он попал в точку — Агата на глазах выросла по меньшей мере на вершок.

— Вот, держи.

Он вложил ей в ладонь маленький золотой ключик,

— Это чтобы заводить их? Вместо веревок, да?

— Ты угадала, — кивнул он.

— Так я вам и поверила, — недоверчиво фыркнула Агата,

— Сама увидишь. Это ключик от вашей Электрической Бабушки. Вы сами выберете ее, сами будете заводить. Это надо делать каждое утро, а вечером обязательно отпускать пружину. И следить на этим поручается тебе. Ты будешь хранительницей этого ключа, Агата.

И он еще сильнее вдавил его в ладонь Агаты, которая продолжала разглядывать его с прежним недоверием.

Я же не спускал глаз с этого человека, а он лукаво подмигнул мне, словно хотел сказать: «Не совсем так, но не правда ли занятно?»

И тут я не выдержал и тоже подмигнул ему, пока Агата разглядывала ключик.

— А куда же его вставлять?

— Придет время, все узнаешь. Может, в живот или под мышку, а может, в левую ноздрю или в правое ухо.

Человек вышел из-за прилавка.

— А теперь пожалуйста сюда. Осторожно. Вот на эту бегущую дорожку. Как по воде. Вот так. — И он помог нам с неподвижной дорожки ступить на другую, движущуюся, которая с тихим шелестом, словно река, текла мимо.

И какая это была приятная река; она понесла нас мимо зеленых ковровых лугов, таинственных ниш, под своды темных, загадочных пещер, где чьи-то голоса, как эхо, повторяли наше дыхание и отвечали мелодично и нараспев на все наши вопросы.

— Слышите? — промолвил хозяин. — Это все женские голоса. И вы можете выбрать любой из них, тот, что больше всего вам понравится...

С удивлением и страхом прислушивались мы к голосам, низким и высоким, звонким и глуховатым, ласковым и чуточку строгим и назидательным, — ведь они были собраны здесь задолго до того, как мы появились на свет.

Агата все время отставала, она то и дело пробовала идти в обратном направлении.

— Скажите что-нибудь, — предложил хозяин, — если хотите, можете крикнуть.

— Эй, эй! Вы там, слышите? Это я, Тимоти!

— А что мне оказать? — спросил я и вдруг закричал: — На помощь! Спасите!

Только Агата, упрямо сжав губы, продолжала шагать против течения. Отец взял ее за руку.

— Отпусти меня! — закричала она. — Я не хочу, чтобы мой голос попал туда, не хочу, не хочу!

— Отлично. — Хозяин коснулся пальцем трех циферблатов на небольшом приборе, который держал в руках. На бумажной ленте осциллографа возникли кривые, которые переплетались, сливались и снова расходились, — наши голоса и выкрики.

Хозяин щелкнул переключателем, и мы услышали, как голоса, вылетев, ударились о своды дельфийских пещер, отскочили, разлетелись и повисли в воздухе, заглушая все остальные; вот он повернул рукоятку в одну, другую сторону, и мы услышали легкое, как вздох, восклицание мамы, еле различимое, почти неузнаваемое, и недовольное ворчание отца, бранившего статью в газете, а затем его умиротворенный голос после глотка доброго вина. Хозяин все время вертел и переключал что-то, и вокруг нас плясали то шепоты, то звуки, словно вспугнутая вспышкой света мошкара. Но вот она прекратила свой испуганный пляс, успокоилась, осела. Последний рычажок передвинут, и в тишине, свободной от электрических разрядов, явственно прозвучал голос:

— Нефертити.

Тимоти замер, я тоже застыл на месте. Даже Агата прекратила свои бесплодные попытки идти против течения.

— Нефертити? — переспросил Тим.

— Что это такое? — недовольно спросила Агата.

— Я знаю! — воскликнул я. Хозяин ободряюще кивнул мне.

— Нефертити, — шепотом произнес я, — в Древнем Египте означало «прекраснейшая из всех явилась нам».

- «Прекраснейшая из всех явилась нам», -повторил Тимоти.

— Нефер-ти-ти, — протянула Агата. Взоры наши погрузились в мягкий бездонный полумрак, откуда донесся этот удивительно нежный, ласковый и добрый голос.

Она была там.

И, судя по голосу, она была прекрасна...

Вот как это было.

Во всяком случае, таким было начало.

Голос решил все. Почему-то именно он показался нам самым главным.

Конечно, нам небезразлично было и многое другое, например, ее рост и вес. Она не должна быть костлявой и угловатой, чтобы не набивать об нее синяки и шишки, но и не толстой, чтобы не утонуть и не задохнуться в ее объятиях, словно в пуховой перине. Ее руки, когда они будут прикасаться к нам или вытирать испарину с наших горячих лбов во время болезни, не должны быть холодными, как мрамор, или обжигать, как раскаленная печь. Мы хотели, чтобы они были теплыми, как тельце цыпленка, когда утром вынимаешь его из-под крыла наседки. Только и всего.

Что касается деталей, то тут никто никому не хотел уступать. Мы кричали, спорили и чуть не подрались, пока наконец Тимоти не одержал победу, сказав, что ее глаза будут только такого цвета, и никакого другого, по причине, о которой нам довелось узнать позднее.

А цвет волос нашей бабушки? Агата, как всякая девчонка, имела на сей счет твердое мнение, которым не очень-то собиралась делиться с нами. Но мы с Тимоти сами уступили ей право выбирать из тысячи образцов, что украшали стены словно разноцветные струйки дождя. Это, однако, ничуть не обрадовало Агату, но, помня, как опасно полагаться на мальчишек в таком деле, она велела нам отойти в сторонку и не мешать ей.

Так мы совершили свою удачную покупку в универсальном магазине фирмы «Бен Франклин, электрические машины и Фанточини, кукольники и маги» на удобных условиях кредита, предоставляемых фирмой.

Река наконец вынесла нас на берег. Был уже конец дня.

Что и говорить, в фирме «Фанточини» работали умные люди.

Они заставили нас ждать.

Они знали, что победа еще не одержана. Мы не были еще готовы. Увы, до этого было еще далеко. Особенно если говорить об Агате. Ложась вечером в постель, она тут же отворачивалась к стене и бог знает, что она там видела. Только по утрам мы находили на обоях следы прикосновения ее пальцев, силуэты крохотных существ, то прекрасных, то похожих на видения из кошмаров. Одни исчезали от легчайшего дуновения, словно морозный узор на стекле, другие нам не удавалось стереть ни резинкой, ни мокрой тряпкой, как мы ни старались.

А Фанточини выжидали.

В нервном напряжении прошел июнь.

Минул июль, полный тягостного молчания.

На исходе был август.

Вдруг 29-го Тимоти сказал:

— Какое-то странное у меня сегодня предчувствие...

И, не сговариваясь, мы после завтрака вышли на лужайку.

Возможно, мы заподозрили что-то, когда слышали, как отец вчера вечером с кем-то говорил по телефону, или от нас не укрылись осторожные взгляды, которые он бросал то на небо, то на шоссе перед домом. А может, виною был ветер, от которого всю ночь вздувались и трепетали занавески в спальне, словно хотели нам что-то сказать.

Так или иначе, мы с Тимом были на лужайке, а голова Агаты, делавшей вид, будто ей решительно все равно, мелькала где-то на крыльце за горшками с геранью.

Мы словно не замечали нашу сестренку. Мы знали: стоит нам вспугнуть ее, и она тут же убежит. Поэтому мы смотрели на небо. А на нем были лишь птицы да далекий росчерк реактивного самолета. Мы не забывали также поглядывать на шоссе, по которому мчались машины. Ведь любая из них могла замедлить ход, повернуть и доставить нам... Нет, нет, ведь мы ничегошеньки не ждем, ничего!

В полдень мы с Тимоти по-прежнему валялись на лужайке и жевали травинки.

В час дня Тимоти вдруг часто-часто заморгал глазами.

И вот тут-то все и произошло с невероятной точностью и молниеносной быстротой.

Словно Фанточини передался весь накал нашего нетерпения, и они безошибочно выбрали момент.

В детстве мы все словно ходим по воде, по обманчиво гладкой и плотной поверхности озера, и нам знакомо то странное чувство, что в любую секунду можно вспороть эту гладь и уйти в глубину, затаиться там и исчезнуть для всех так, словно тебя никогда и не было.

Будто учуяв, что нашему долгому ожиданию вот-вот готов прийти конец и что такое может случиться каждую минуту, каждую секунду и тогда все исчезнет и будет забыто, словно никогда ничего и не было, именно в это решающее мгновение, так чутко почувствованное и угаданное, облака над нашим домом расступились и пропустили вертолет, словно небеса колесницу бога Аполлона.

Колесница медленно опускалась на крыльях потревоженного воздуха, горячие струи его, тут же остывая, вздыбили наши волосы и захлопали складками одежды так громко, словно кто-то разразился аплодисментами, а волосы Агаты, стоявшей на крыльце, были похожи на трепещущий флаг. Испуганной птицей вертолет еле коснулся лужайки, чрево его разверзлось, и на траву упал внушительных размеров ящик. И, не дав времени ни на приветствие, ни на прощанье, еще сильнее взвихрив воздух, вертолет тут же рванулся вверх и, словно небесный дервиш, унесся дальше, чтобы где-то еще проделать столь же фантастический трюк. Какое-то время Тимоти и я глядели на ящик. Но когда мы увидели прикрепленный к его верху из грубых сосновых досок маленький лапчатый ломик, мы уже больше не раздумывали и бросились к ящику; орудя ломиком, мы принялись с треском отрывать одну доску за другой. Увлеченный этим занятием, я не сразу заметил, что Агаты нет на крыльце. Подкравшись, она с любопытством наблюдала за нами.

Как хорошо, что она не видела, как увозили маму на кладбище, не видела гроба и свежей могилы. Она слышала слова прощанья в церкви, но самого ящика, деревянного ящика, так похожего на этот... к счастью, она не видела!

Отскочила последняя доска.

Мы с Тимоти ахнули. Агата, стоявшая теперь совсем рядом, тоже не удержалась от возгласа удивления.

Потому что в большом ящике из грубых сосновых досок лежал подарок, о котором можно лишь

мечтать. Отличный подарок для любого из смертных, будь ему семь или все семьдесят семь.

Сначала просто не было слов и совсем перехватило дыхание, но потом мы разразились поистине дикими воплями восторга и радости.

Потому что в ящике лежала... мумия! Вернее, это был пока ее саркофаг.

— Не может быть! — Тимоти чуть не плакал от счастья.

— Не может быть! — повторила Агата.

— Да, да, это она!

— Наша, наша собственная?!

— Конечно, наша!

— А что, если не наша? Если они ошиблись?

— И заберут ее обратно?...

— Ни за что!

— Смотрите, настоящее золото! И настоящие иероглифы! Потрогайте!

— Дайте мне потрогать!

— Точь-в-точь такая, как в музее!

Мы говорили все разом, перебивая друг друга, и несколько слезинок сползло по моим щекам и упало на саркофаг.

— Ты испортишь иероглифы! — Агата поспешно вытерла крышку.

Золотая маска на саркофаге смотрела на нас, чуть улыбаясь, словно радовалась вместе с нами, и готова была ответить на этот порыв, и принимала нашу беззаветную любовь, которая, нам казалось, навсегда ушла из наших сердец, но вот вернулась и вспыхнула с новой силой при первом лучике солнца.

Ибо лицо ее было солнечным ликом, отчеканенным из чистого золота, с тонким изгибом ноздрей, с нежной и вместе с тем твердой линией рта. Ее глаза сияли небесно-голубым, нет, аметистовым, лазоревым светом или, скорее, сплавом всех этих цветов, а тело было испещрено изображениями львов, человеческих глаз и птиц, похожих на воронов, а золотые руки, сложенные на груди, держали плеть — символ повиновения, и огромный цветок, что означало любовь и добрую волю, когда плеть вовсе уже не нужна...

Глаза наши жадно впились в иероглифы, и вдруг мы увидели... Мы сразу поняли...

— Эти знаки, ведь они... Вот птичий след, вот змея!..

Да, да, они говорили совсем не о Прошлом.

В них было Будущее.

Это была первая в истории мумия, таинственные письма которой сообщали не о прошлом, а о том, что должно свершиться через месяц или через три, через год или спустя века!

Она не оплакивала то, что безвозвратно ушло. Нет. Она приветствовала яркое сплетение грядущих дней и событий, записанных, хранимых, ждущих, когда наступит их — черед, их мгновенье и можно будет протянуть руку, взять их и полностью насладиться ими.

Мы благоговейно встали на колени перед этим грядущим и возможным временем. Руки протянулись, сначала одна, потом другая, пальцы робко коснулись и стали ощупывать, пробовать, гладить, легонько обводить контуры чудодейственных знаков.

— Вот я, смотрите! Это я в шестом классе! — закричала Агата — сейчас она была в пятом. — Видите девочку? У нее такие же волосы и коричневое платье.

— А вот я в колледже! — уверенно сказал Тимоти, совсем еще малыш; но каждую неделю он набивал новую планку на свои ходули, чтобы важно вышагивать по двору.

— И я... в колледже, — тихо, с волнением промолвил я. — Вот этот увалень в очках. Конечно же, это я, черт побери! — И я смущенно хмыкнул.

На саркофаге были наши школьные зимы, весенние каникулы, осень с золотом, медью и багрянцем опавших листьев, рассыпанных по земле словно монеты, и над всем этим символ солнца, вечный лик дочери бога Ре, неугасимого светила на нашем горизонте, и наши тени, уходящие в счастливое и далекое будущее.

— Вот здорово! — хором воскликнули мы, читая и перечитывая книгу нашей судьбы, прослеживая линии наших жизней и нашей любви, таинственные убегающие зигзаги, то пропадающие, то возникающие вновь. — Вот здорово!

И, не сговариваясь, мы ухватились за сверкающую крышку саркофага, не имевшего ни петель, ни запоров, снимавшуюся так же легко и просто, как снимается чашка, прикрывающая другую, приподняли ее и отложили в сторону.

И конечно... В саркофаге была настоящая мумия!

Такая же, как ее изображение на крышке, но только еще прекрасней и желанней, ибо она совсем уже походила на живое существо, запеленатое в новый, чистый холст, а не в истлевшие, рассыпающиеся в пыль погребальные одежды.

Лицо ее все еще скрывала уже знакомая золотая маска, но на ней оно казалось еще моложе и, как ни странно, мудрее. А чистые ленты холста, в который она была завернута, были испещрены иероглифами. На каждой из них свои иероглифы: вот для девочки десяти лет, а эти для девятилетнего мальчика и мальчика тринадцати лет. Каждому из нас свои иероглифы!

Мы испуганно переглянулись и вдруг рассмеялись.

Нет, не думайте, никто из нас не сказал ничего смешного. Просто вот что пришло нам в голову. Если она завернута в холст, а на холсте-то — мы, значит, получается, что она завернута в нас!..

Ну и пусть, какая разница! Все равно это здорово придумано, и тот, кто это придумал, знал, что теперь никто из нас не останется в стороне. Мы бросились к мумии, и каждый потянул за свою полоску холста, которая разворачивалась, как волшебный серпантин.

Вскоре на лужайке были горы холста.

А она лежала неподвижно, дожидаясь своего часа.

— Она мертвая! — вдруг закричала Агата. — Мертвая! — И в ужасе рванулась прочь.

Я вовремя схватил ее.

— Глупая. Она ни то, ни другое — ни живая и ни мертвая. У тебя ведь есть ключик. Где он?

— Ключик?

— Вот балда! — закричал Тим. — Да тот, что тебе дал этот человек в магазине. Чтобы заводить ее!

Рука Агаты уже шарила за воротом, где на цепочке висел символ нашей новой веры. Она рванула его, коря себя и ругая, и вот он уже лежит на ее потной ладошке.

— Ну давай вставляй же его! — нетерпеливо крикнул Тимоти.

— Куда?

— Вот дуреха! Он же тебе сказал: в ухо, под мышку. Дай сюда ключ.

Он схватил его и, задыхаясь от нетерпенья и досады, что сам не знает, где найти заветную скважину, стал обшаривать мумию с ног до головы, тыча в нее ключом. Где, где же она заводится? И вдруг, отчаявшись, он ткнул ключом в живот мумии, туда, где, по его предположению, должен же быть у нее пупок. И — о чудо! — мы услышали жужжание.

Электрическая Бабушка открыла глаза! Жужжание и гул становились громче. Словно Тим ткнул палкой в осиное гнездо.

— Отдай! — закричала Агата, сообразив, что Тимоти отнял у нее всю радость первооткрытия. — Отдай ключ! — Она выхватила у него ключик.

Ноздри нашей Бабушки шевельнулись — она дышала! Это было так же невероятно, как если бы из ее ноздрей повалил пар или полыхнул огонь!

— Я тоже хочу!.. — не выдержал я и, вырвав у Агаты ключ, с силой повернул его... Дзинь!

Уста чудесной куклы разомкнулись.

— Я тоже!

— Я!..

— Я!..

Бабушка внезапно поднялась и села.

Мы в испуге отпрянули.

Но мы уже знали — она родилась! Родилась! И это сделали мы!

Она вертела головой, она смотрела, она шевелила губами. И первое, что она сделала, она засмеялась.

Тут мы совсем забыли о страхе, забыли, что минуту назад шарахнулись от нее. Теперь звуки смеха, столь неожиданного и внезапного, притягивали нас к ней с такой силой, с какой зачарованного и испуганного зрителя влечет к себе змеиный ров.

Какой же это был заразительный, веселый и искренний смех, в нем не было ни тени иронии, он приветствовал нас и словно бы говорил: да, это странный мир, он огромен и полон неожиданностей, в нем может случиться всякое, даже самое невероятное, и неправдоподобное, и, если хотите, нелепое, но при всем этом я рада в него вступить и теперь не променяю его ни на какой другой. Я не хочу снова уснуть и вернуться туда, откуда пришла. Вот о чем говорил этот смех.

Бабушка проснулась. Мы разбудили ее. Своими воплями радости мы вызвали ее к жизни. Теперь ей оставалось лишь встать и выйти к нам.

И она сделала это. Она вышла из саркофага, отбросив прочь пеленавшие ее покрывала, сделала шаг, отряхивая и разглаживая складки одежды, оглядываясь по сторонам, слоено искала зеркало, куда бы поглядеться. И она нашла его в наших глазах, где увидела свое отражение. Очевидно, оно понравилось ей, ибо смех сменился изумленной улыбкой,

Однако Агаты уже не было с нами. Напуганная всем происшедшим, она снова спряталась на крыльце. Но Бабушка словно не заметила этого.

Медленно поворачиваясь, она оглядела лужайку и тенистую улицу, словно впитывала в себя все

новое и необычное. Ноздри ее трепетали, как будто она действительно с наслаждением вдыхала воздух райского сада, но совсем не торопилась вкусить от яблока познания и тут же испортить эту чудесную игру...

Наконец взгляд ее остановился на моем братце Тимоти.

— Ты, должно быть?...

— Тимоти. Или просто Тим, — радостно подсказал он.

— А ты?...

— Том, — ответил я.

До чего же хитрые эти Фанточины! Они прекрасно знали, кто из нас кто. И она, конечно, знала. Но они ее нарочно подучили сделать вид, будто она ничего не знает. Чтобы мы сами ей сказали, вроде как бы научили ее тому, что она и без нас отлично знает. Вот дела!

— Кажется, должен быть еще один мальчик, не так ли? — спросила Бабушка.

— Девочка! — раздался с крыльца негодующий голос Агаты.

— И ее, кажется, зовут Алисия?

— Агата! — Нотки обиды сменились настоящим негодованием.

— Ну, если не Алисия, тогда Альджернон...

— Агата!!! — И наша сестренка, не выдержав, высунула голову из-за перил, но тут же спряталась, багровея от стыда и унижения.

— Агата. — Бабушка произнесла это имя с чувством полного удовлетворения. — Итак, Агата, Тимоти и Том. Давайте-ка я погляжу на вас всех.

— Нет, раньше мы! Раньше мы... — Волнение было слишком велико.

Мы подошли поближе, мы обошли ее, а потом еще и еще раз, описывая круги вдоль границ ее территории. А ее территория кончалась там, где не было уже слышно мерного гудения, так похожего на гуденье пчелиного улья в разгар лета. Именно так оно и было. Это гуденье стало неотъемлемой и характерной особенностью нашей Бабушки. С ней всегда было лето, раннее июньское утро, когда просыпаешься и видишь, как все вокруг прекрасно, чисто, прозрачно, и ничто не в силах омрачить этого совершенства. Даже не открывая глаз, ты уже знаешь, что все будет именно так — небо будет голубого цвета, а солнце начнет свой путь по нему, рисуя узоры из света и тени на листьях деревьев, на траве лужайки. И раньше всех за дело примутся пчелы; они уже побывали на лугах и полях и вернулись, чтобы полететь туда снова и вернуться, и так не один раз, все в золотой пыльце и в густом сладком нектаре, который изукрасил грудку и стекает с плеч, словно золотые эполеты. Разве вы не слышите, как они летят? Как парят в воздухе и на своем языке танца приветствуют друг друга, сообщают, куда лететь за сладким сиропом, от которого шалеют лесные медведи, приходят в необъяснимый экстаз мальчишки, а девчонки мнят о себе бог знает что и, вскакивая по вечерам с постелей, с замираньем сердца разглядывают в застывшей глади зеркала свои гладкие и блестящие, как у резвящихся дельфинов, тела.

Вот какие мысли и чувства пробудила в нас наша Электрическая Игрушка в этот знаменательный летний полдень на лужайке перед домом. Она влекла, притягивала, околдовывала, заставляла кружиться вокруг нее, запоминать то, что и запомнить-то невозможно, так необходимая нам, уже обласканным ее вниманием.

Разумеется, я говорю о себе и Тимоти, потому что Агата по-прежнему пряталась на крыльце. Но макушка ее то и дело показывалась из-за балюстрады — Агата старалась все увидеть, не упустить ни

единого слова или жеста.

Наконец Тимоти воскликнул:

— Глаза!.. Ее глаза!

Да, глаза, чудесные, просто необыкновенные глаза. Ярче лазури на крышке саркофага или цвета глаз на маске, прятавшей ее лицо. Это были самые лучезарные и ясные глаза в мире, и светились они тихим светом.

— Твои глаза, — пробормотал, задыхаясь от волнения Тимоти, — точно такого цвета, как...

— Как что?

— Как мои любимые синие стеклянные шарики...

— Разве бывает что-нибудь лучше? — сказала она.

Потрясенный Тим просто не знал, что сказать.

Взгляд ее скользнул дальше и остановился на мне: она с интересом изучала мой нос, уши, подбородок.

— Ты Том?

— Да.

— А как мы с тобой? Станем друзьями? Ведь иначе и быть не может, раз мы собираемся жить под одной крышей и в будущем году...

— Я... — заикаясь, промолвил я и вдруг растерянно умолк.

— Знаю, — сказала Бабушка. — Ты, как щенок, рад бы залаять, да тянучка залепила пасть. Ты угощал щенка ячменным сахаром? Правда, смешно и все-таки грустно. Сначала покатываешься со смеху, глядя, как вертится бедняга, пытаешься освободиться, а потом тебе уже жаль его и ужасно стыдно. Бросаешься помочь и сам визжишь от радости, когда наконец слышишь его лай.

Я смущенно хмыкнул, вспомнив и щенка, и тот день, когда я проделал с ним такую штуку.

Бабушка оглянулась и тут заметила моего бумажного змея, беспомощно распластавшегося на лужайке.

— Оборвалась бечевка, — сразу догадалась она. — Нет, потерялась совсем. А без нее змей не полетит. Сейчас все будет в порядке.

Бабушка склонилась над змеем, мы с любопытством наблюдали, что будет дальше. Разве роботы умеют пускать змея? Когда Бабушка выпрямилась, змей был у нее в руках.

— Лети, — сказала она ему, словно птице.

И змей полетел.

Широким взмахом она умело запустила его в облака. Теперь она и змей были единое целое. Ибо из ее указательного пальца тянулась тонкая сверкающая нить, почти невидимая, как паутинка или леска, но она прочно удерживала бумажного змея, поднявшегося на целую сотню метров над землей, нет, на три сотни, а потом и на всю тысячу, уносимого все дальше и дальше в головокружительную летнюю высь.

Раздался радостный вопль Тима.

Раздираемая противоречивыми чувствами, Агата тоже подала голос с крыльца. А я, помня, сколько мне лет и что я уже совсем взрослый, старался делать вид, будто ничего такого не произошло, но во мне

что-то ширилось, росло и наконец лопнуло, и тут я тоже закричал, даже не помню что, кажется, что-то о том, что и мне хочется иметь такой волшебный палец, из которого тянулась бы бечевка, не палец, а целую катушку, и чтобы мой змей мог залететь высоко-высоко, за все тучи и облака.

— Если ты думаешь, что это высоко, тогда смотри! — сказала наша необыкновенная Электрическая Игрушка, и леска загудела и зажужжала, разворачиваясь, и вдруг с тонким свистом рванулась вверх, унося моего змея так далеко, что он превратился в крохотный красный кружочек конфетти, запросто играющий с теми самыми ветрами, которые носят ракетные самолеты и в одно мгновение меняют погоду.

— Это невозможно! — не выдержал я.

— Вполне возможно! — ответила Бабушка, без всякого удивления наблюдая за тем, как из ее пальца тянется и тянется бесконечная нить. — Все очень просто. Жидкость, как у паука... Застывает на воздухе, и получается крепкая бечева...

И когда наш змей стал меньше точки, меньше пылинки в луче солнца, Бабушка, не оборачиваясь, даже не пытаясь посмотреть в ту сторону, вдруг сказала:

— А теперь, Абигайль?...

— Агата! — гневно послышалось в ответ.

О мудрость женщины, способной не заметить грубость.

— Агата, — повторила Бабушка, ничуть не заискивая, ничуть не подлаживаясь. — Когда мы с тобой подружимся?

Она оборвала нить и трижды обмотала ее конец вокруг моего запястья, так что я вдруг оказался привязанным к небу самой длинной, клянусь вам, самой длинной бечевой за всю историю существования бумажных змеев. Вот бы увидели мои приятели, то-то удивились бы. Когда я им покажу, они просто лопнут от зависти.

— Итак, Агата, когда же?

— Никогда!

— Никогда, — повторило эхо.

— Почему?...

— Мы никогда не станем друзьями! — выкрикнула Агата.

— ...Никогда не станем друзьями... — повторило эхо. Тимоти и я огляделись вокруг. Откуда эхо? Даже Агата высунула нос из-за перил крыльца.

А потом мы все поняли. Это Бабушка сложила ладони наподобие большой морской раковины, и оттуда вылетали гулкие слова...

— Никогда... друзьями...

Повторяясь, они звучали все глуше и глуше, замирая вдалеке.

Мы заглянули в Бабушкины ладони — мы, мальчишки, ибо, громко крикнув: «Нет!», Агата убежала в дом и с силой захлопнула дверь.

— ...Друзьями... — повторило эхо. — Нет!.. Нет! Нет!..

И где-то далеко-далеко на берегу невидимого крохотного моря хлопнула крохотная дверь.

Таким был первый день.

Потом был, конечно, день второй, и день третий, и четвертый, когда Бабушка вращалась, как светило, а мы были ее спутниками, когда Агата сначала неохотно, а потом все чаще присоединялась к нам, чтобы участвовать в прогулках, всегда только шагом и никогда бегом, когда она и слушала и не слушала, смотрела и не смотрела и хотела, ох как хотела дотронуться...

Во всяком случае, на исходе первых десяти дней Агата уже не убегала и не пряталась, она всегда была где-то поблизости, стояла в дверях или сидела поодаль на стуле под деревьями, а если мы отправлялись на прогулку, следовала за нами, отставая шагов на десять.

А Бабушка? Она ждала. Она не уговаривала и не принуждала. Она просто занималась своим делом: готовила завтраки, обеды и ужины, пекла пирожки с абрикосовый вареньем и почему-то всегда оставляла их то тут, то там, словно приманку для девчонок-сластен. И действительно, через час тарелки оказывались пустыми, пирожки и булочки съедены без всяких спасибо и прочего. А у повеселевшей Агаты, съезжавшей по перилам лестницы, подбородок был в сахарной пудре или в крошках.

Что касается нас с Тимом, то мы сделали бы для нашей Бабушки все на свете. Но самым замечательным было то, что каждому из нас казалось, будто только ему одному она отдает все свое внимание.

А как она умела слушать все, что бы мы ей ни говорили! А после помнила каждое слово, фразу, интонацию, каждую нашу мысль и даже самую нелепую выдумку. Мы знали, что в ее памяти, как в копилке, хранится каждый наш день, и если нам вздумается узнать, что мы сказали в такой-то день, час или минуту, стоит лишь — попросить Бабушку, и она не заставит нас ждать.

Иногда мы испытывали ее.

Помню, однажды я нарочно начал болтать какой-то вздор, а потом остановился, строго посмотрел на Бабушку и потребовал:

— А ну-ка повтори, что я только что сказал?

— Ты, э-э...

— Давай, давай, выкладывай.

— Мне кажется, ты... И вдруг Бабушка зачем-то полезла в свою сумку. — На, возьми. — Из своей бездонной сумки она извлекла и протянула мне — что бы вы думали? — печенье с сюрпризом!

— Только что из духовки, еще тепленькое. Попробуй разломать вот это.

Печенье и вправду обжигало ладони. И когда я разломал его, я увидел свернутую в трубочку бумажку.

- «...буду чемпионом велосипедного спорта всего Западного побережья. А ну-ка повтори, что я только что сказал... Давай, давай, выкладывай», - с удивлением прочел я на еще теплой бумажке.

Я даже рот раскрыл от неожиданности.

— Как это у тебя получается?

— У всех есть свои маленькие секреты. А теперь возьми другое.

Я разломал еще одно и, развернув еще одну бумажку, прочел:

- «Как это у тебя получается?»

Я запихнул в рот оба печенья и съел их вместе с чудесными бумажками.

— Ну как? — спросила Бабушка.

— Очень вкусно. Здорово же ты их умеешь печь, ответил я.

Тут мы от души расхохотались и пустились наперегонки.

И это тоже у нее здорово получалось. В таких соревнованиях она никогда не стремилась проиграть, но и не обгоняла, она бежала, чуть-чуть отставая, и поэтому мое мальчишечье самолюбие никогда не страдало. Если девчонка обгоняет тебя или идет наравне — этого никак стерпеть нельзя. Ну а если она отстает на шаг или на два — это совсем другое дело.

Мы с Бабушкой частенько делали такие пробежки — я впереди, она за мной, и все время болтали, не закрывая рта.

А теперь я вам расскажу, что мне в ней понравилось больше всего.

Сам я, может быть, никогда бы этого и не заметил, но Тимоти как-то показал мне фотографии, которые он сделал, а я сравнил их с моими, чтобы проверить, чьи лучше. Как только я увидел свои и Тима фотографии рядом, я тут же заставил упиравшуюся Агату сфотографировать Бабушку.

А потом забрал все фотографии, но никому не сказал ни слова о своих догадках. Это было бы уже не то, если бы Тим и Агата тоже знали.

У себя в комнате, разложив фотографии, я тут же сказал себе:

«Бабушка совсем другая на каждой из них. Другая? — тут же переспросил я себя. — Да. Конечно, другая. Постой-ка...» Я быстро поменял фотографии местами.

«Здесь она с Агатой. И похожа... на Агату! А здесь с Тимоти. Так и есть, она похожа на него! А это... Черт возьми! Да ведь это мы бежим с ней, и здесь она похожа на меня!»

Ошеломленный, я опустился на стул. Фотографии упали на пол. Нагнувшись, я собрал их и снова разложил, уже на полу. Я менял их местами, раскладывал то так, то эдак. Сомнений не было! Нет, мне не привиделось, все именно так.

Ох и умница ты, наша Бабушка! Или это Фанточини? До чего же хитры, просто невероятно, умнее умного, мудрее мудрого, добрее доброго...

Потрясенный, я вышел из своей комнаты и спустился вниз. Агата и Бабушка сидели рядышком и почтливо в полном согласии готовили уроки по алгебре. По край: п мере, видимых признаков войны я не заметил. Бабушка терпеливо выжидала, пока Агата не образумится, и никто не мог сказать, когда это случится и случится ли вообще. Никто не знал, как это ускорить или этому помочь.

А тем временем...

Услышав мои шаги, Бабушка обернулась. Я впился взглядом в ее лицо, следя за тем, как она меня «узнает». Не показалось ли мне, что цвет ее глаз чуть-чуть изменился? А под тонкой кожей сильнее запульсировала кровь, или та жидкость, которая у роботов ее заменяет? Щеки Бабушки вспыхнули таким же ярким румянцем, как у меня. Не пытается ли она, увидев меня, стать на меня похожей? А глаза? Когда она следила за тем, как решает задачки Агата-Абигайль-Альджернон, разве ее глаза не были такого же цвета, как глаза Агаты? Ведь мои гораздо темнее.

И самое невероятное... Когда она обращается ко мне, чтобы пожелать доброй ночи, или справляется, приготовил ли я уроки, мне кажется, что даже черты ее лица меняются...

Дело в том, что в нашей семье мы все трое несколько не похожи друг на друга. Агата с ее длинным, почти лошадиным лицом с тонкими чертами — типичная англичанка.

Тимоти — прямая противоположность: в нем течет итальянская кровь, унаследованная от предков нашей матери, урожденной Марино. Он черноволос, с мелкими чертами лица, с огненным взглядом, который когда-нибудь испепелит сердце не одной еще девчонки.

Что касается меня, то я славянин, и в этом повинна, должно быть, моя прабабка по отцовской линии. Это она наградила меня высокими скулами с ярким румянцем, вдавленными висками и широковатым носом.

Поэтому, сами понимаете, каким увлекательным занятием было наблюдать, как почти неуловимо менялась наша Бабушка. Когда она говорила с Агатой, черты лица удлинялись, становились тоньше, поворачивалась к Тимоти, и я уже видел профиль флорентийского ворона с изящно изогнутым клювом, а обращалась ко мне — и в моем воображении вставал образ кого-либо другого.

Я никогда не узнаю, как удалось Фанточини добиться этих чудесных превращений, да, признаться, я и не хотел этого. Мне было достаточно неторопливых движений, поворота головы, наклона туловища, взгляда., таинственных взаимодействий деталей и узлов, из которых она состояла, такого, а не какого-либо другого изгиба носа, тонкой скульптурной линии подбородка, мягкой пластичности тела, чудесной податливости черт. Это была маска, но маска только твоя, и никого больше. Она пересекает комнату и легонько касается одного из нас, и под тонкой кожей ее лица начинается таинство перевоплощений; вот подходит к другому, и она уже полна только им, как может быть полна своим ребенком любящая мать.

Когда же мы собирались все вместе и говорили, перебивая друг друга, тогда эти превращения были поистине неуловимы, ничего, что бросалось бы в глаза, и лишь я один, открывший тайну, не переставал жадно впитывать их, изумляться, трепетать.

Мне никогда не хотелось проникнуть за кулисы, чтобы разгадать секрет фокусника. Мне достаточно было того, что иллюзия существует, даже если я знал, что любовь — это результат химических реакций, а щеки пылают потому, что их потеряли ладонями, но глаза искрятся теплом, руки раскрываются для объятий, чтобы приголубить и согреть...

Нам этого было достаточно. Нам с Тимом, но не Агате.

— Агамемнон!..

Вскоре это стало любимой игрой. Даже Агата не возражала, хотя делала вид, что злится. Это как-никак утверждало ее превосходство над будто бы совершен, ной машиной.

— Агамемнон! — презрительно фыркала она. — До чего же ты...

— Глупа? — подсказывала Бабушка.

— Я этого не говорила.

— Но ты подумала, моя дорогая несговорчивая Агата... Да, конечно, у меня бездна недостатков, и этот, пожалуй, самый заметный из всех. Всегда путаю имена. Тома могу назвать Тимом, а Тимоти то Тобиашем, то Томатом.

Агата прыснула. И тут Бабушка допустила одну из своих столь редких ошибок. Она протянула руку и ласково потрепала Агату по голове. Агата-Абигайль-Алисия вскочила как ужаленная. Агата-Агамемнон-Альсибиада-Аллегра-Александра-Аллиссон убежала и заперлась в своей комнате.

— Мне кажется, — глубокомысленно заметил потом Тимоти, — это с ней оттого, что она начинает любить Бабушку.

— Ерундистика! Галиматья! Вздор! Черт побери!

— Откуда это ты набрался таких словечек?

— Бабушка вчера читала мне Диккенса. Не кажется ли вам, что вы умничаете не по годам, мастер Тимоти?

— Большого ума тут не требуется. Ясно и так. Чем сильнее Агата любит Бабушку, тем больше ненавидит себя за это. А чем сильнее запутывается, тем больше злится.

— Разве когда любят, то ненавидят?

— Еще как!

— Наверное, это потому, что любовь делает тес: беззащитным. Вот и ненавидишь людей, потому что ты перед ними весь как на ладони, такой, как есть. Ведь только так и можно. Ведь если любишь, то не просто любишь, а ЛЮБИШЬ!!! — с массой восклицательных знаков...

— Ты, кажется, тоже не прочь поумничать, да еще перед таким простаком, как я, а? — съехидничал Тим.

— Благодарю, братец.

И я отправился наблюдать за Бабушкой, как она снова отходит на прежние позиции в поединке с девчонкой, как ее там зовут... Агата-Алисия-Альджернон...

А какие обеды подавались в нашем доме!

Да что обеды. Какие завтраки, полдники.

И всегда что-то новенькое, но такое, что не пугало новизной. Тебе всегда казалось, будто ты это уже пробовал когда-то.

Нас никогда не спрашивали, что приготовить к обеду. Потому что пустое дело задавать такие вопросы детям — они сами никогда не знают, а если скажешь им, что будет на обед, непременно зафыркают и забракуют твой выбор. Родителям хорошо известна эта тихая непрекращающаяся война и как трудно в ней одержать победу. А вот наша Бабушка неизменно побеждала, хотя и делала вид, будто это совсем не так.

— Вот завтрак номер девять, — смущенно говорила она, ставя блюда на стол. — Наверное, ужасный, боюсь, в рот не возьмете. Сама чуть не выплюнула, когда попробовала.

Удивляясь, что роботу свойственны такие чисто человеческие недостатки, мы тем не менее не могли дождаться, когда же наконец можно будет наброситься на этот «ужасный» завтрак номер девять и проглотить его в мгновение ока.

— Полдник номер семьдесят семь, — извещала она. — Целлофановые кулечки, немножко петрушки и жевательной резинки. Потом обязательно надо прополоскать рот, иначе не отделаешься от препротивного ощущения, что вы съели что-то не то.

А мы чуть не дрались из-за добавки. Тут даже Абигаиль-Агамемнон-Агата больше не пряталась, а вертелась у самого стола, а что касается отца, то он запросто набрал те десять фунтов веса, которых ему явно не хватало

Когда же А.-А.-Агата почему-либо не желала выходить к обеду, еда ждала ее у дверей ее комнаты, и в засахаренном яблоке на десерт торчал крохотный флажок. Стоило только поставить поднос, и он тут же исчезал.

Но бывали дни, когда Агата все же появлялась и, поклевав как птичка то с одной, то с другой тарелки, тут же снова исчезала.

— Агата! — в таких случаях укоризненно восклицал отец.

— Не надо, — тихонько останавливала его Бабушка. — Придет время, и она как все сядет за стол. Подождем еще немножко.

— Что это с ней? — не выдержав, как-то воскликнул я.

— Просто она не в своем уме, вот и все, — заключил Тимоти.

— Нет, она боится, — ответила Бабушка.

— Тебя? — недоумевал я.

— Не столько меня, а того, что, ей кажется, я могу ей сделать, — пояснила бабушка.

— Но ведь ты ничего плохого никогда ей не сделаешь?

— Конечно, нет. Но она не верит. Надо дать ей время, и она поймет, что ее страхи напрасны. Если это не так, я сама отправлю себя на свалку.

Приглушенное хихиканье свидетельствовало о том, что Агата прячется за дверью.

Закончив накрывать на стол. Бабушка заняла свое место напротив отца и сделала вид, будто ест. Я та, до конца и не разобрался, да и, пожалуй, не очень-то хотел, что она все же делала с едой. Она была волшебницей, и еда просто-напросто исчезала с ее тарелок.

Как-то за обедом отец вдруг воскликнул:

— Я это уже ел когда-то. Помню, это было в маленьком ресторанчике в Париже, рядом с «Ле Де Маго». Лет двадцать или двадцать пять тому назад. — И в глазах его блеснула слезинка. — Как вы это готовите? — наконец спросил он, опустив нож и вилку, и посмотрел через стол на это необыкновенное существо, этого робота... Нет, не робота — женщину!

Бабушка спокойно выдержала его взгляд и наши с Тимоти взгляды тоже; она бережно приняла их как драгоценный подарок, а затем сказала тихо:

— Меня наделили многим, чтобы я могла все это отдать вам. Иногда я сама не знаю, что отдаю, но неизменно и постоянно делаю это. Вы спрашиваете, кто я? Я — Машина. Но этим не все еще сказано. Я — это люди, задумавшие и создавшие меня, наделившие способностью двигаться и действовать, совершать все то, что они хотели, чтобы я совершала. Следовательно, я — это они, их планы, замыслы и мечты. Я то, чем они хотели бы стать, но почему-либо не стали. Поэтому они создали большого ребенка, чудесную игрушку, воплотившую в себе все.

— Странно, — произнес отец. — Когда я был мальчиком, все тогда восставали против машин. Машина была врагом, она была зло, она грозила обесчеловечить человека...

— Да, некоторые из машин это зло. Все зависит от того, как и для чего они создаются. Лисий капкан — простейшая из машин, но она хватает, калечит, рвет. Ружье ранит и убивает. Я не капкан и не ружье. Я Бабушка, а следовательно, я больше чем просто машина.

— Почему?

— Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она значительней и больше его самого. Разве это не так?

— Ничего не понимаю, — воскликнул Тимоти. — Объясни все сначала.

— О небо, — шутливо вздохнула Бабушка. — Терпеть не могу философствовать и совершать экскурсии в область эстетики. Хорошо, скажем так. Люди отбрасывают тени, и порой их тени бывают огромного размера. А потом человек всю жизнь стремится дотянуться до собственной тени, но безуспешно. Лишь в полдень человек догоняет свою тень и то всего лишь на короткое мгновение. Однако мы с вами живем в век, когда человек уже может догнать свою тень, и любую Великую мечту можно сделать реальностью. Это сделает машина. Именно это делает машину чем-то большим, чем просто машина, не так ли?

— Пусть так, — согласился Тим.

— Например, как ты считаешь, кинокамера и кинопроектор — это все же нечто большее, чем простые механизмы. Они способны мечтать порой о прекрасном, а порой о том, что похоже на кошмар. Назвать их машиной и на этом успокоиться было бы ошибкой, не так ли?

— Я понял! — обрадованно воскликнул Тимоти и засмеялся.

— Значит, вы тоже чья-то мечта, — заметил отец. — Мечта того, кто любил машины и ненавидел людей, считавших, что машины зло.

— Совершенно верно, — сказала Бабушка. — Его звали Гвидо Фанточини, и он вырос среди машин. Он не мог примириться с косностью и шаблонами.

— Шаблонами?

— Да, ложью, которую люди пытаются выдавать за абсолютную истину. «Человек никогда не сможет летать». Тысячелетиями это считалось истиной, а потом оказалось ложью. Земля плоская, как блин, стоит ступить за ее край, и ты попадешь в пасть дракона; чудовищная ложь, и это доказал Колумб. Сколько раз вам твердили, что машины жестоки? И это утверждали люди, во всех отношениях умные и добрые, а это была избитая, много раз повторяемая ложь. Машина разрушает, она жестока, бессердечна, не способна мыслить, она чудовище.

Доля правды в этом, конечно, есть. Но лишь самая крохотная. И Гвидо Фанточини понимал это. Сознание этого не давало ему покоя, как и всем таким, как он, возмущало, приводило в негодование. Он мог бы и не пойти дальше этого, но избрал другой путь. Он стал сам изобретать машины, чтобы опровергнуть вековую ложь о них.

Он знал, что машине чуждо понятие нравственности, сама по себе она ни плоха, ни хороша. Она никакая. Но от того, как и для чего вы будете создавать машины, зависит преобладание добра или зла в людях. Например, автомобиль, это мертвое чудовище, неспособная мыслить масса металла, вдруг стал самым страшным в истории человечества растлителем душ. Он превращает мужчину-мальчика в фанатика, обуреваемого жадной властью, безотчетной страстью к разрушению и только к разрушению.

А ведь те, кто создавал автомобиль, даже не помышляли об этом. Но так получилось.

Бабушка обошла вокруг стола и наполнила наши опустевшие стаканы прозрачной минеральной водой из указательного пальца своей левой руки.

— Вот поэтому нужны другие машины, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Машины, отбрасывающие грандиозные тени на лик земли, предлагающие вам потягаться с ними, стать столь же великими. Машины, формирующие вашу душу, придающие ей нужную форму, подобно чудесным ножницам обрезая все лишнее, ненужное — огрубелости, наросты, заусенцы, рога, копыта — в поисках совершенства формы. А для этого нужны примеры, образцы.

— Образцы? — переспросил я.

— Да, нужны люди, с которых можно брать пример. Чем усерднее человек следует достойному примеру, тем дальше уходит от своего волосатого предка.

Бабушка снова заняла свое место за столом...

— А ты, ты, конечно, никогда не ошибаешься, ты совершенство, ты лучше всех?!

Голос донесся из коридора, где, мы знали, стояла, прижавшись к стене, и подслушивала Агата и наконец не выдержала.

Но Бабушка даже не повернулась в ту сторону, а спокойно продолжала, обращаясь к нам, сидевшим за столом.

— Конечно, я не совершенство, ибо что такое совершенство? Но я знаю одно: будучи механической игрушкой, я неподкупна, свободна от алчности и зависти, мелочности и злобы. Я не знаю, что такое власть ради власти. Скорость не кружит мне голову, страсть не ослепляет и не делает безумной. У меня есть масса времени, вечность, чтобы впитывать нужную информацию и знания и сохранить любой идеал, любую мечту в чистоте и неприкосновенности. Скажите мне, кем вы хотите быть, укажите вашу заветную цель. Я соберу все, что известно о ней, я проверю и оценю и скажу вам, что сулит вам исполнение вашего желания. Скажите, какими вы хотели бы быть: добрыми, любящими, чуткими и заботливыми, уравновешенными и трезвыми, человеческими... и я проверю, заглянув в будущее, все дороги, по которым вам суждено пройти. Вы можете зажечь меня как факел, и он осветит вам путь в неизвестное и направит ваши шаги.

— Следовательно, — сказал отец, вытирая губы салфеткой, — когда мы будем лгать...

— Я буду говорить правду.

— Когда мы будем ненавидеть...

— Я буду любить, а это означает — дарить внимание и понимать, знать о вас все-все, и вы будете знать, что мне все о вас известно, но я буду хранить вашу тайну, не открою ее никому, она будет нашей общей драгоценной тайной, и вам никогда не придется сожалеть, что я знаю о вас слишком много.

Бабушка поднялась и стала собирать пустые тарелки и, делая это, все так же внимательно смотрела на нас. Вот, проходя мимо, она погладила Тимоти по щеке, легонько коснулась моего плеча, а речь ее лилась ласково и ровно, словно тихая река уверенности и покоя, до берегов заполнившая наш опустевший дом и наши жизни.

— Подождите! — воскликнул отец и остановил ее. Он заглянул ей в глаза, он собирался с силами для какого-то решающего шага. Тень омрачила его лицо. Наконец он решился: — Ваши слова о любви, внимании и прочем. Черт побери, женщина, ведь за ними, там, ничего нет!

И он указывал на ее голову, лицо, глаза, на все то, что было за ними, — на все эти светочувствительные линзы, миниатюрные батарейки и транзисторы.

— Вас-то там нет!

Бабушка переждала одну, две, три молчаливые секунды.

— Да, меня там нет, но зато там все вы — Тимоти, Том, Агата и вы, их отец. Все ваши слова и поступки я бережно храню как сокровище. Я хранилище всего, что будет стерто из вашей памяти и что лишь смутно запомнит сердце. Я получше всякого семейного альбома, который медленно листают, чтобы воскресить в памяти то, что было в такую-то зиму или весну. Я сохраню и напому вам все, что вы сами забыли. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну сотню тысячелетий, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь — это когда человеку возвращают его самого. Возможно, любовь — это если кто-то все видит и все помнит и помогает нам вновь обрести себя, но ставшего чуточку лучше, чем он сам посмел бы-об этом мечтать...

Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую. И мое существование усиливает вашу способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь? Вот так-то.

Она ходила вокруг стола, смахивая крошки со скатерти, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости.

— Что я знаю? Прежде всего я знаю, что должна испытывать семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому из вас внимание в абсолютно равной степени, но я делаю это.

Все свои знания, все внимание и чуткость я отдам каждому из вас. Мне хочется стать для вас чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного, и чтобы каждому достался от него большущий кусок. Никто не должен остаться голодным. Кто-то плачет — я спешу утешить. Кто-то нуждается в помощи — я буду рядом. Кому-то хочется прогуляться к реке. Я пойду с ним. По вечерам я не буду усталой и поэтому не стану ворчать и браниться. Глаза мои не утратят зоркости, голос — звонкости, руки — уверенности и силы, внимание никогда не ослабеет.

— Но, — промолвил отец, и в его голосе, сначала неуверенно дрогнувшем, а потом окрепшем, прозвучали нотки вызова, — вас-то нет во всем этом, нет! А ведь любовь...

— Если внимание — это любовь, тогда я люблю. Если понимать — значит любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой — значит любить, тогда я люблю.

Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас — единственный и неповторимый. Но он получит от меня все и всю меня. Даже если вы начнете говорить все вместе, я все равно буду слушать только каждого из вас, так, словно существует он один. Никто не почувствует себя обойденным. Я буду, если вы согласны и позволите мне употребить это странное выражение, «любить вас всех».

— Я не согласна! — закричала Агата.

Тут даже Бабушка обернулась. Агата стояла в дверях.

— Я не позволю тебе, ты не смеешь, ты не имеешь права! — кричала Агата. — Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала, а это была неправда, неправда!

— Агата! — отец вскочил со стула.

— Она? — переспросила Бабушка. — Кто она?

— Мама! — раздался вопль горького отчаяния. — Она говорила: «Я люблю тебя». А это была ложь. Люблю, люблю! Ложь, ложь! И ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее. А теперь ненавижу тебя!

Агата круто повернулась и бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь.

Отец сделал движение к двери, но Бабушка остановила его:

— Я сама.

Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала, да, побежала, легко и очень быстро.

Это был старт чемпиона. Беспорядочно толкаясь и крича, мы бросились вслед, пересекли лужайку и выбежали за калитку.

Агата уже мчалась по тротуару, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди. Агата, не раздумывая, свернула на мостовую, почти пересекла ее, как вдруг откуда ни возьмись машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены. Агата заметалась в ужасе, но Бабушка была уже рядом и с силой оттолкнула Агату в сторону. И в это мгновение машина, не сбавляя своей чудовищной скорости, врезалась в избранную ею цель, в нашу драгоценную Игрушку, в чудесную мечту Гвидо Фанточини. Удар поднял Бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остановиться безжалостное механическое чудовище. Тело Бабушки еще дважды перевернулось в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я видел, что Агата лежит на мостовой целехонькая и невредимая, а Бабушка медленно и как-то нехотя опускается на землю; Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов пятьдесят, обо что-то ударилась, отскочила и наконец застыла, распластавшись.

Стон отчаяния и боли вырвался из нашей груди.

Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему.

А мы все стояли, не способные двинуться с места, парализованные видом смерти, страхась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за застывшей машиной и перепуганной Агатой, и поэтому мы просто заплакали и запричитали, отец вместе с нами, и каждый, должно быть, молился, чтобы самого страшного не случилось... Нет, нет, только не это!..

Агата подняла голову, и ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел, но теперь отказывается верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал и нашел распостертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии снова упала на асфальт, чтобы рыдать и рыдать...

Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем пять коротких, похожих на прыжки шагов, и, когда я наконец был рядом и увидел ее, сжавшуюся в комочек, упрятавшую голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съежившегося тела, я вдруг испугался, что не дозовусь ее, что она никогда не вернется к нам, как бы я ни молил ее, ни просил и ни грозился. Далекая от нас, поглощенная своим неутешным горем, Агата лишь продолжала бессвязно повторить: «... Ложь, все ложь! Как я говорила... и та и другая... только обман!»

Я опустил на колени, бережно обнял ее так, словно собирал воедино, хотя глаза видели, что она целехонька, но руки говорили другое. Я остался с Агатой, обнимал и гладил ее и плакал вместе с ней, потому что не было никакого смысла помогать Бабушке. Подошел отец, постоял над нами и сам опустил на колени. Это было прямо на мостовой, и какое счастье, что больше не было машин.

— Кто «другая», Агата, кто? — спрашивал я.

— Та, мертвая! — наконец почти выкрикнула она.

— Ты говоришь о маме?

— О, мама! — простионала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца. — Мама умерла, мама! Бабушка тоже, она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда, обещала быть другой, а теперь посмотри, посмотри... Я ненавижу ее, ненавижу маму, ненавижу их всех... ненавижу!..

— Конечно, — вдруг раздался голос. — Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я глупа, что не поняла этого сразу.

Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам.

Вздвигнув, мы обернулись.

Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их, заморгала, приподнялась и застыла в этой позе.

— Какая же я глупая! — продолжала Бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение.

— Бабушка!

Она стояла, возвышаясь над нами, коленопреклоненными, плачущими, убитыми горем. А мы все еще боялись поверить своим глазам.

— Ты ведь умерла! — наконец не выдержала Агата. — Эта машина...

— Она ударила меня, это верно, — спокойно сказала Бабушка, — и я даже несколько раз

перевернулась в воздухе, затем упала на землю. Вот это был удар! Я даже испугалась, что разъединятся контакты, если правильно назвать испугом то, что я почувствовала. Но потом я поднялась, села, встряхнулась как следует, и все отлетевшие молекулы моей печатной схемы встали на места, и вот, небьющаяся и неломающаяся, я снова с вами, не так ли?

— Я думала, что ты уже... — промолвила Агата.

— Да, это случилось бы со всяким другим. Еще бы, если бы его так ударили, да еще швырнули вверх, — сказала Бабушка. — Но только не со мной, дорогая девочка. Теперь я понимаю, почему ты боялась и не верила мне. Ты не знала, какая я. А у меня не было возможности доказать тебе свою необыкновенную живучесть. Как это было глупо с моей стороны не предвидеть этого. Я давно должна была бы успокоить тебя. Подожди. — Она порылась где-то в своей памяти, ища нужную ленту, видимую только ей одной, и прочла все то, что там было записано еще в незапамятные времена. — Вот, слушай. Это из книги о воспитании детей. Она написана одной женщиной, и совсем недавно кое-кто даже смеялся над ее советом родителям: «Дети простят вам любую оплошность и ошибку, но помните: они никогда не простят вам вашей смерти».

— Не простят, — тихо произнес кто-то из нас.

— Разве могут дети понять, почему вы вдруг ушли? Только что были здесь, а потом вдруг ушли и не вернулись, не сказав ни слова, не объяснив, не попросив прощенья, не оставив даже крохотной записки, ничего.

— Не могут, — согласился я.

— Вот так-то, — сказала Бабушка, присоединясь к нашей маленькой группе и тоже встав на колени возле Агаты, которая уже не лежала, а сидела, и снова слезы ручьем текли по ее щекам, но не те слезы, в которых тонет горе, а те, что смывают последние его следы.

— Твоя мама ушла, чтобы не вернуться. Как могла ты после этого верить? Если люди уходят, чтобы не вернуться, разве можно им верить? Поэтому, когда пришла я, то, зная и совсем еще не зная вас, я слишком долго не понимала, почему ты отвергаешь меня, Агата. А ты просто-напросто боялась, что я тоже обману и тоже уйду. А два ухода, две смерти в один короткий год — это было бы слишком много! Теперь ты веришь мне, Абигайль?

— Агата! — по привычке поправила ее моя сестра.

— Теперь ты веришь, что я всегда буду с вами, всегда?

— О да, да! — воскликнула Агата и разразилась рыданиями. Мы с Тимом, не выдержав, заревели тоже, прижавшись друг к другу, а вокруг нас уже останавливались машины и выходили люди, чтобы посмотреть, что случилось, выяснить, сколько человек погибло и сколько осталось в живых.

Вот и конец этой истории.

Вернее, почти конец.

Ибо после этого мы зажили счастливо. То есть Бабушка, Агата-Агамемнон-Абигайль, Тимоти, я и наш отец.

Бабушка, словно в праздник, вводила нас в мир, где били фонтаны латинской, испанской, французской поэзии, мощно струился Моби Дик и прятались изящные, словно струи версальских фонтанов, невидимые в затишье, но зримые в бурю, поэтические родники. Вечно наша Бабушка, наши часы, маятник, отмеривающий бег времени, циферблат, где мы читали время в полдень, а ночью, измученные недугом, открыв глаза, неизменно видели ее у своей постели, терпеливо ждущую, чтоб успокоить ласковым словом,

прохладным прикосновением, глотком вкусной родниковой воды из ее чудо-пальца, охлаждающей пересохший от жара шершавый язык. Сколько тысяч раз на рассвете она стригла траву па лужайке, смахивала незримые пылинки в доме, осевшие за день, и, беззвучно шевеля губами, повторяла урок, который ей хотелось, чтобы мы выучили во сне.

Наконец одного за другим проводила она нас в большой мир. Мы уезжали учиться. И когда настал черед Агаты, самой младшей из нас, Бабушка тоже стала готовиться к отъезду.

В последний день этого последнего лета мы застали ее в гостиной в окружении чемоданов и коробок. Она сидела, что-то вязала и поджидала нас. И хотя она по раз говорила нам об этом, это было как жестокий удар, злой и ненужный сюрприз.

— Бабушка! Что ты собираешься делать?

— Я тоже еду в колледж. В известном смысле, конечно. Я возвращаюсь к Гвидо Фанточини, в свою Семью.

— Семью?

— Да, семью игрушечных человечков «буратино». Так называл он нас поначалу. Мы были Буратино, а он наш вала Карло. Лишь потом он дал нам свое имя — Фанточини. Вы были моей семьей. А теперь пришло время мне вернуться к моим братьям и сестрам, теткам и кузинам, к роботам, которые...

— ...которые что?... Что они там делают?... — перебила ее Агата.

— Кто «что», -ответила Бабушка. — Одни остаются, другие уходят. Одних разбирают на части, четвертуют, так сказать, чтобы из их частей комплектовать новые машины, заменять износившиеся детали. Меня тоже проверят, выяснят, на что я еще гожусь. Может случиться, что я снова понадобится, и меня тут же отправят учить других мальчиков и девочек и опровергать еще какую-нибудь очередную ложь и небылицу.

— Они не должны четвертовать тебя! — воскликнула Агата.

— Никогда! — воскликнул я, а за мной Тимоти.

— У меня стипендия! Я всю отдам ее, только бы... — волновалась Агата.

Бабушка перестала раскачиваться в качалке, казалось, глаза ее прикованы только к спицам и разноцветному узору из шерсти, который она внимательно разглядывала.

— Я не хотела говорить, но раз уж вы спросили, то скажу. За совсем небольшую плату можно снять комнату в доме с общей гостиной и большим темным холлом, где тихо и уютно и где живут тридцать или сорок таких же, как я, электрических бабушек, которые любят сидеть в качалках и болтать о себе. Я не была там. Ведь я, в сущности, родилась совсем недавно. За скромную ежемесячную или ежегодную плату я могу поселиться там вместе с остальными и слушать, что они рассказывают о себе, чему научились и что узнали в этом большом мире, и сама рассказывать им, как счастливо мы жили с Томом, Тимом и Агатой и чему я научилась у них.

— Но это ты... ты нас учила!

— Это вы так думаете, — сказала Бабушка. — Но все было наоборот. Вернее, вы учились у меня, а я у вас. И это все здесь, во мне. Все, из-за чего вы проливали слезы и над чем смеялись, все это здесь. И все это я расскажу им, а они расскажут мне о своих мальчиках и девочках и о себе. Мы будем беседовать и будем становиться мудрее, спокойнее и лучше с каждым годом, с каждым десятилетием, двадцатилетием, тридцатилетием. Общие знания нашей Семьи удвоятся, утроятся, наша мудрость и опыт не пропадут даром. Мы будем сидеть в гостиной и ждать, и, может быть, вы вспомните нас и позовете, если вдруг

заболеет ваш ребенок или, не дай бог, семью постигнет горе и кто-нибудь уйдет навсегда. Мы будем ждать, становясь старше, но не старея, все ближе к той грани, когда однажды и нас постигнет счастливая судьба того, чье забавное и милое имя мы вначале носили.

— Буратино, да?

Бабушка кивнула головой.

Я знал, о чем она говорит. О том дне, когда, как в старой сказке, добрый и храбрый Буратино, мертвая деревянная кукла, заслужил право стать живым человеком. Я увидел всех этих «буратино и фанточины», целые поколения их: они обмениваются знаниями и опытом, они тихонько переговариваются в просторных, располагающих к беседе гостиных и ждут своего дня, который, мы знали, никогда не наступит.

Бабушка, должно быть, причла это в наших глазах.

— Посмотрим, — сказала она. — Поживем — увидим.

— О, бабушка! — не выдержала Агата и разрыдалась так, как рыдала когда-то много лет назад.

— Тебе не надо ждать. Ты и сейчас живая. Ты всегда была для нас только такой.

Она бросилась на шею старой женщине, и тут мы все стали обнимать и целовать Бабушку, а потом покинули дом, вертолеты унесли нас в наши далекие колледжи и в далекие годы, и последними словами Бабушки, прежде чем мы поднялись в осеннее небо, были:

— Когда вы совсем состаритесь, будете беспомощными и слабыми, как дети, когда вам, как им, нужна будет забота и ласка, вспомните о старой няне, глупой и вместе с тем мудрой подруге вашего детства, и позовите меня. Я приду, и, не бойтесь, в нашей детской снова станет шумно и тесно.

— Мы никогда не состаримся! — закричали мы. — Это никогда не случится!

— Никогда! Никогда!

Мы улетели.

Промелькнули годы.

И вот мы состарились, Тим, Агата и я. Наши дети выросли и покинули родительский дом, наши жены и мужья ушли в иной мир, и вот теперь, хотите вы этого или нет, мы снова в нашем старом доме, мы трое — Тим, Агата и я.

Я лежу в своей спальне, как лежал мальчишкой семьдесят, о боже, целых семьдесят лет назад! Под зть ми обоями есть другие, а под ними еще и еще один, те старые обои моего детства, когда мне было всего девять лет.

Обои местами оборваны, и я отыскиваю под ними знакомых слонов и тигров, красивых и ласковых зебр и свирепых крокодилов. Не выдержав, я наконец посылаю за обойщиком и прошу его снять все обои и оставить только эти последние. Милые старые зверюшки снова будут жить.

Мы ждем. Мы зовем: «Бабушка! Ведь ты обещала вернуться, как только будешь нам нужна. Мы больше не узнаем ни себя, ни времени. Мы старые. Ты нам нужна».

В трех спальнях старого дома в поздний ночной час трое беспомощных, как младенцы, стариков поднимаются в своих постелях, и из сердца рвется беззвучное: «Мы любим! Мы любим тебя!»

— Там, там в небе! — вскакиваем мы по утрам. Разве это не тот вертолет, который?... Вот он сейчас опустится на лужайку...

Она будет там, на траве перед домом. Ведь это ее саркофаг!

И наши имена на полосках холста, в который завернуто ее прекрасное тело!

Золотой ключик по-прежнему на груди у Агаты, теплый, ждущий драгоценной минуты... Когда же она наступит? Подойдет ли ключик? Повернется ли он, заведется ли пружина?

МАШИНА ДО КИЛИМАНДЖАРО

Я приехал на грузовике ранним-ранним утром. Гнал всю ночь, в мотеле все равно не уснуть, вот я и решил — лучше уж не останавливаться, и прикатил в горы близ Кетчума и Солнечной долины как раз к восходу солнца, и рад был, что веду машину и ни о чем больше думать недосуг.

В городок я въехал, ни разу не поглядев на ту гору. Боялся, что, если погляжу, это будет ошибка. Главное, не смотреть на могилу. По крайней мере, так мне казалось. А тут уж надо полагаться на свое чутье.

Я поставил грузовик перед старым кабачком и пошел бродить по городку, и поговорил с разными людьми, и подышал здешним воздухом, свежим и чистым. Нашел одного молодого охотника, но он был не то что надо, я поговорил с ним всего несколько минут и понял — не то. Потом нашел очень старого старика, но этот был не лучше. А потом я нашел охотника лет пятидесяти, и он оказался в самый раз. Он мигом понял или, может, почувял, чего мне надо.

Я угостил его пивом, и мы толковали о всякой всячине, потом я спросил еще пива и понемногу подвел разговор к тому, что я тут делаю и почему хотел с ним потолковать. Мы замолчали, и я ждал, стараясь не выдать нетерпение, чтобы охотник сам завел речь о прошлом, о тех днях, три года тому назад, и о том, как бы выбрать время и съездить к Солнечной долине, и о том, видел ли он человека, который когда-то сидел здесь, в баре, и пил пиво, и говорил об охоте, и ходил отсюда на охоту, и рассказал бы все, что знает про этого человека.

И наконец, глядя куда-то в стену так, словно то была не стена, а дорога и горл охотник собрался с духом и негромко заговорил.

— Тот старик, — сказал он, — Да, старик на дороге. Да, да, бедняга.

Я ждал.

— Никак не могу забыть того старика на дороге, — сказал он и, понурясь, уставился на свое пиво.

Я отхлебнул еще из своей кружки — стало не по себе, я почувствовал, что и сам очень стар и устал.

Молчание затягивалось, тогда я достал карту здешних мест и разложил ее на дощатом столе. В баре было тихо. В эту утреннюю пору мы тут были совсем одни.

— Это здесь вы его видели чаще всего? — спросил я.

Охотник трижды коснулся карты.

— Я часто видал, как он проходил вот тут. И вон там. А тут срезал наискосок. Бедный старикан. Я все хотел сказать ему, чтоб не ходил по дороге. Да только не хотелось его обидеть. Такого человека не станешь учить — это, мол, дорога, еще попадешь под колеса. Если уж он попадет под колеса, так тому и быть. Соображаешь, что это уж его дело, и едешь дальше. Но под конец и старый же он был...

— Да, верно, — сказал я, сложил карту и сунул в карман.

— А вы что, тоже из этих, из газетчиков? — «просил охотник.

— Из этих, да не совсем.

— Я ж не хотел валить вас с ними в одну кучу, — сказал он.

— Не стоит извиняться, — сказал я. — Скажем так: я один из его читателей.

— Ну, читателей-то у него хватало самых разных. Я и то его читал. Вообще-то я круглый год книг в руки

не беру. А его книги читал. Мне, пожалуй, больше всех мичиганские рассказы нравятся. Про рыбную ловлю. По-моему, про рыбную ловлю рассказы хороши. Я думаю, про это никто так не писал и, может, уж больше так не напишут. Конечно, про бой быков тоже написано неплохо. Но это от нас далековато. Хотя некоторым пастухам да скотоводам нравится; они-то весь век около этой животины. Бык — он бык и есть, уж верно, что здесь, что там, все едино. Один пастух, мой знакомец, в испанских рассказах старика только про быков и читал, сорок раз читал. Так он мог бы хоть сейчас туда поехать и драться с этими быками, вот честное слово.

— По-моему, — сказал я, — в молодости каждый из нас, прочитавши эти его испанские рассказы про быков, хоть раз да почувствовал, что может туда поехать и драться. Или уж, по крайней мере, пробежать рысцей впереди быков, когда их выпускают рано поутру, а в конце дорожки ждет добрая выпивка, и твоя подружка с тобой на весь долгий праздник.

Я запнулся. И тихонько засмеялся. Потому что и сам не заметил, как заговорил в лад то ли речам старика, то ли его строчкам. Покачал я головой и замолчал.

— А у могилы вы уже побывали? — спросил охотник так, будто знал, что я отвечу — да, был.

— Нет, — сказал я.

Он очень удивился. Но постарался не выдать удивления.

— К могиле все ходят, — сказал он.

— К этой я не ходок.

Он пораскинул мозгами, как бы спросить повежливей.

— То есть... — сказал он. — А почему нет?

— Потому что это неправильная могила, — сказал я.

— Если вдуматься, так все могилы неправильные, — сказал он.

— Нет, — сказал я. — Есть могилы правильные и неправильные, все равно как умереть можно вовремя и не вовремя.

Он согласно кивнул: я снова заговорил о вещах, в которых он разбирался или, по крайней мере, нюхом чуял, что тут есть правда.

— Ну ясно, — сказал он. — Знавал я таких людей, отлично помирали. Тут всегда чувствуешь — вот это было хорошо. Знал я одного, сидел он за столом, дожидался ужина, а жена была в кухне, приходит она с миской супа, а он эдак чинно сидит за столом мертвый — и все тут. Для нее-то, конечно, худо, а для него плохо ли? Никаких болезней, ничего такого. Просто сидел, ждал ужина, да так и не узнал, принесли ему ужинать, нет ли. А то еще с одним приятелем вышло. Был у него старый пес. Четырнадцати лет от роду. Дряхлый уже, почти слепой. Под конец приятель решил свезти его к ветеринару и усыпить. Усадил он старого, дряхлого, слепого пса в машину рядом с собой, на переднее сиденье. Пес разок лизнул ему руку. У приятеля аж все перевернулось внутри. Поехали. А по дороге пес без звука кончился, так и помер на переднем сиденье, будто знал, что к чему, и выбрал способ получше, просто испустил дух — и все тут. Вы про это говорите, верно?

Я кивнул.

— Стало быть, по-вашему, та могила на горе неправильная могила для правильного человека, так, что ли?

— Примерно так, — сказал я.

— По-вашему, для всех нас на пути есть разные могилы, что ли?

— Очень может быть, — сказал я.

— И коли мы бы могли увидеть всю свою жизнь с начала до конца, всяк выбрал бы себе, которая получше? — сказал охотник. — В конце оглянешься и скажешь: черт подери, вот он был, подходящий год и подходящее место — не другой, на который оно пришлось, и не другое место, а вот только тогда и только там надо было помирать. Так, что ли?

— Раз уж только и остается выбирать, не то все равно выставят вон, выходит, что так, — сказал я.

— Неплохо придумано, — сказал охотник. — Только у многих ли достало бы ума? У большинства ведь не хватает соображения убраться с пирушки, когда выпивка на исходе. Все мы норовим засидеться подольше.

— Норовим засидеться, — подтвердил я. — Стыд и срам.

Мы спросили еще пива.

Охотник разом выпил полкружки и утер рот.

— Ну а что можно поделать, коли могила неправильная? — спросил он.

— Не замечать, будто ее и нет, — сказал я. — Может, тогда она исчезнет, как дурной сон.

Охотник коротко засмеялся, словно всхлипнул.

— Рехнулся, брат! Ну ничего, я люблю слушать которые рехнулись. Давай болтай еще.

— Больше нечего, — сказал я.

— Может, ты есть воскресение и жизнь?

— Нет.

— Может, ты велишь Лазарю встать из гроба?

— Нет.

— Тогда чего ж?

— Просто я хочу, чтоб можно было под самый конец выбрать правильное место, правильное время и правильную могилу.

— Нот выпей-ка, — сказал охотник. — Тебе полезно. И откуда ты такой взялся?

— От самого себя. И от моих друзей. Мы собрались вдесятером и выбрали одного. Купили в складчину грузовик — вон он стоит, — и я покатил через всю страну. По дороге много охотился и ловил рыбу, чтоб настроиться как надо. В прошлом году побывал на Кубе. В позапрошлом провел лето в Испании. А еще перед тем съездил летом в Африку. Накопилось вдоволь о чем поразмыслить. Потому меня и выбрали.

— Для чего выбрали, черт подери, для чего? — напористо, чуть не с яростью спросил охотник и покачал головой. — Ничего тут не поделаешь. Все уже кончено.

— Все, да не совсем, — сказал я. — Пошли.

И шагнул к двери. Охотник остался сидеть. Потом взгляделся мне в лицо — оно все горело от этих моих речей, — ворча поднялся, догнал меня, и мы вышли.

Я показал на обочину, и мы оба поглядели на грузовик, который я там оставил.

— Я такие видал, — сказал охотник. — В кино показывали. С таких стреляют носорогов, верно? Львов

и все такое? В общем, на них разъезжают по Африке, верно?

— Правильно.

— У нас тут львы не водятся, — сказал он. — И носороги тоже, и буйволы, ничего такого нету.

— Нету? — переспросил я. Он не ответил.

Я подошел к открытой машине, коснулся борта.

— Знаешь, что это за штука?

— Ничего я больше не знаю, — сказал охотник. — Считаю меня круглым дураком. Так что это у тебя?

Долгую минуту я поглаживал крыло. Потом сказал:

— Машина Времени.

Он вытаращил глаза, потом прищурился, отхлебнул пива (он прихватил с собой кружку, зажав ее в широкой ладони). И кивнул мне — валяй, мол, дальше.

— Машина Времени, — повторил я.

— Слышу, не глухой, — сказал он.

Он прошел вдоль борта, отступил на середину улицы и стал разглядывать машину — с такими и в самом деле охотятся в Африке. На меня он не смотрел. Обошел ее всю кругом, вновь остановился на тротуаре и уставился на крышку бензобака.

— Сколько миль из нее можно выжать? — спросил он.

— Пока не знаю.

— Ничего ты не знаешь, — сказал он.

— Первый раз еду, — сказал я. — Съезжу до места, тогда узнаю.

— И чем же такую штуку заправлять?

Я промолчал.

— Какое ей нужно горючее? — опять спросил он.

Я мог бы ответить: надо читать до поздней ночи, читать по ночам год за годом, чуть не до утра, читать в горах, где лежит снег, к в полдень в Памплоне, читать, сидя у ручья, или в лодке где-нибудь у берегов Флориды. А еще я мог сказать: все мы приложили руку к этой машине, все мы думали о ней и купили ее, и касались ее, и вложили в нее нашу любовь, и память о том, что сделали с нами его слова двадцать, двадцать пять или тридцать лет тому назад. В нее вложена уйма жизни, и памяти, и любви — это и есть бензин, горючее, топливо, называй как хочешь; дождь в Париже, солнце в Мадриде, снег на вершинах Альп, дымки ружейных выстрелов в Тироле, солнечные блики на Гольфстриме, взрывы бомб и водяные взрывы, когда выскакивает из реки рыба, — вот он, нужный тут бензин, горючее, топливо; так я мог бы сказать, так подумал, но говорить не стал.

Должно быть, охотник почуял, о чем я думаю, — глаза его сузились, долгие годы в лесу научили его читать чужие мысли, и он принялся ворочать в голове мою затею.

Потом подошел и... вот уж этого трудно было ждать! Он протянул руку... и коснулся моей машины.

Он положил ладонь на капот и так и стоял, словно прислушивался, есть ли там жизнь, и рад был тому, что ощутил под ладонью. Долго он так стоял.

Потом без единого слова повернулся и, не взглянув на меня, ушел обратно в бар и сел пить в

одиночестве, спиной к двери.

И мне не захотелось нарушать молчание. Похоже, вот она, самая подходящая минута поехать, попытать счастья.

Я сел в машину и включил зажигание.

«Сколько миль из нее можно выжать? Какое ей нужно горючее?» — подумал я. И покатил.

Я катил по шоссе, не глядя ни направо, ни налево, так и ездил добрый час взад и вперед, и порой на секунду-другую зажимивался, так что запросто мог съехать с дороги и перевернуться, а то и разбиться насмерть.

А потом, около полудня, солнце затянуло облаками, и вдруг я почувствовал — все хорошо.

Я поднял глаза, глянул на гору и чуть не заорал.

Могила исчезла.

Я как раз спустился в неглубокую ложбинку, а впереди на дороге одиноко брел старик в толстом свитере.

Я сбросил скорость, и, когда нагнал пешехода, машина моя поползла с ним вровень. На нем были очки в стальной оправе, довольно долго мы двигались бок о бок, словно не замечая друг друга, а потом я окликнул его по имени.

Он чуть поколебался, потом зашагал дальше. Я нагнал его на своей машине и опять сказал:

— Папа.

Он остановился выжидая.

Я затормозил и сидел, не снимая рук с баранки.

— Папа, — повторил я.

Он подошел, остановился у дверцы.

— Разве я вас знаю?

— Нет. Зато я знаю вас.

Он поглядел мне в глаза, всмотрелся в лицо, в губы.

— Да, похоже, что знаете.

— Я вас увидел на дороге. Думаю, нам с вами по пути. Хотите, подвезу?

— Нет, спасибо, — сказал он. — В этот час хорошо пройтись пешком.

— Вы только послушайте, куда я еду.

Он двинулся было дальше, но приостановился и, не глядя на меня, спросил:

— Куда же?

— Путь долгий.

— Похоже, что долгий, потому, как вы это сказали. А покорооче вам нельзя?

— Нет, — отвечал я. — Путь долгий. Примерно две тысячи шестьсот дней, да прибавить пли убавить денек-другой и еще полдня.

Он вернулся ко мне и заглянул в машину.

— Значит, вон в какую даль вы собрались?

— Да, в такую даль.

— В какую же сторону? Вперед?

— А вы не хотите вперед?

Он поглядел на небо.

— Не знаю. Не уверен.

— Я не вперед еду, — сказал я. — Еду назад.

Глаза его стали другого цвета. Мгновенная, едва уловимая перемена, словно в облачный день человек вышел из тени дерева на солнечный свет.

— Назад...

— Где-то посередине между двух и трех тысяч дней, день пополам, плюс-минус час, прибавить или отнять минуту, поторгуюсь из-за секунды, — сказал я.

— Язык у вас ловко подвешен, — сказал он.

— Так уж приходится, — сказал я.

— Писатель из вас никудышный, — сказал он. — Кто умеет писать, тот говорить не мастер.

— Это уж моя забота, — сказал я.

— Назад? — Он пробовал это слово на вес.

— Разворачиваю машину, — сказал я. — И возвращаюсь вспять.

— Не по милям, а по дням?

— Не по милям, а по дням.

— А машина подходящая?

— Для того и построена.

— Стало быть, вы изобретатель?

— Просто читатель, но так вышло, что изобрел.

— Если ваша машина действует, так это всем машинам машина.

— К вашим услугам, — сказал я.

— А когда вы доедете до места, — начал старик, взялся за дверцу, нагнулся, сам того не замечая, и вдруг спохватился, отнял руку, выпрямился во весь рост и тогда только договорил: — Куда вы попадете?

— В десятое января тысяча девятьсот пятьдесят четвертого.

— Памятный день, — сказал он.

— Был и есть. А может стать еще памятной.

Он не шевельнулся, но света в глазах прибавилось, будто он еще шагнул из тени на солнце.

— И где же вы будете в этот день?

— В Африке, — сказал я.

Он промолчал. Бровью не повел. Не дрогнули губы.

— Неподалеку от Найроби, — сказал я.

Он медленно кивнул. Повторил:

— В Африке, неподалеку от Найроби.

Я ждал.

— И если поедем — попадем туда, а дальше что? — спросил он.

— Я вас там оставлю.

— А потом?

— Вы там останетесь.

— А потом?

— Это все.

— Все?

— Навсегда, — сказал я.

Старик вздохнул, провел ладонью по краю дверцы.

— И эта машина где-то на полпути обратится в самолет? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я.

— Где-то на полпути вы станете моим пилотом?

— Может быть. Никогда раньше на ней не ездил.

— Но хотите попробовать?

Я кивнул.

— А почему? — спросил он, нагнулся и посмотрел мне прямо в глаза, в упор, грозным, спокойным, яростно-пристальным взглядом. — *Почему?*

Старик, подумал я, не могу я тебе ответить. Не спрашивай.

Он отодвинулся — почувствовал, что перехватил.

— Я этого не говорил, — сказал он.

— Вы этого не говорили, — повторил я.

— И когда вы пойдете на вынужденную посадку, — сказал он, — вы на этот раз приземлитесь немного по-другому?

— Да, по-другому.

— Немного жестче?

— Погляжу, что тут можно сделать.

— И меня швырнет за борт, а больше никто не пострадает?

— По всей вероятности.

Он поднял глаза, поглядел на горный склон, никакой могилы там не было. Я тоже посмотрел на эту гору. И, наверное, он догадался, что однажды могилу там вырыли.

Он оглянулся на дорогу, на горы и на море, которого не видно было за горами, и на материк, что лежал за морем.

— Хороший день вы вспомнили.

— Самый лучший.

— И хороший час, и хороший миг.

— Право, лучше не сыскать.

— Об этом стоит подумать.

Рука его лежала на дверце машины — не опираясь, нет — испытующе: пробовала, ощупывала, трепетная, нерешительная. Но глаза смотрели прямо в сияние африканского полдня.

— Да.

— Да? — переспросил я.

— Идет, — сказал он. — Ловлю вас на слове, подвезите меня.

Я выждал мгновение — только раз успело ударить сердце, — дотянулся и распахнул дверцу.

Он молча поднялся в машину, сел рядом со мной, бесшумно, не хлопнув, закрыл дверцу. Он сидел рядом, очень старый, очень усталый. Я ждал.

— Поехали, — сказал он.

Я включил зажигание и мягко взял с места.

— Развернитесь, — сказал он.

Я развернул машину в обратную сторону.

— Это правда такая машина, как надо? — спросил он.

— Правда. Такая самая.

Он поглядел на луг, на горы, на дом в отдалении. Я ждал, мотор работал вхолостую.

— Я кое о чем вас попрошу, — начал он, — когда приедем на место, не забудете?

— Постараюсь.

— Там есть гора, — сказал он и умолк, и сидел молча, с его сомкнутых губ не слетело больше ни слова.

Но я докончил за него. Есть в Африке гора по имени Килиманджаро, подумал я. И на западном ее склоне нашли однажды иссохший, мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может.

На этом склоне мы тебя и положим, думал я, на склоне Килиманджаро, по соседству с леопардом, и напишем твое имя, а под ним еще: никто не знал, что он делал здесь, так высоко, но он здесь. И напишем даты рожденья и смерти, и уйдем вниз, к жарким летним травам, и пусть могилу эту знают лишь темнокожие воины, да белые охотники, да быстроногие окапи.

Заслонив глаза от солнца, старик из-под ладони смотрел, как вьется в предгорьях дорога. Потом кивнул:

— Поехали.

— Да, Папа, — сказал я.

И мы двинулись не торопясь, я за рулем, старик — рядом со мной, спустились с косогора, поднялись на новую вершину. И тут выкатилось солнце, и ветер дохнул жаром. Машина мчалась, точно лев в высокой траве. Мелькали, уносились назад реки и ручьи. Вот бы нам остановиться на час, думал я, побродить по колону в Воде, половить рыбу, а потом изжарить ее, полежать на берегу и потолковать, а может,

помолчать. Но если остановимся, вдруг не удастся продолжать путь? И я дал полный газ. Мотор взревел неистовым рыком какого-то чудо-зверя. Старик улыбнулся.

— Отличный будет день! — крикнул он.

— Отличный.

«Позади дорога, — думал я, — как там на ней сейчас, ведь сейчас мы исчезаем? Вот исчезли, нас там больше нет? И дорога пуста. И Солнечная долина безмятежна в солнечных лучах. Как там сейчас, когда нас там больше нет?»

Я еще поддал газу, машина рванулась: девяносто миль в час.

Мы оба заорали, как мальчишки. Уж не знаю, что было дальше.

— Ей-богу, — сказал под конец старик, — знаете, мне кажется... мы летим.

А РЕБЕНОК — ЗАВТРА

Питер Хорн вовсе не собирался стать отцом голубой пирамидки. Ничего похожего он не предвидел. Им с женой и не снилось, что с ними может случиться такое. Они спокойно ждали рождения своего первенца, много о нем говорили, нормально питались, подолгу спали, изредка бывали в театре, а потом пришло время Полли лететь вертолетом в клинику; муж обнял ее и поцеловал.

— Через шесть часов ты уже будешь дома, детка, — сказал он. — Спасибо, эти новые родильные машины хоть отцов не отменили, а так они сделают за тебя все, что надо.

Она вспомнила старую-престарую песенку: «Нет, уж этого вам у меня не отнять» — и тихонько напела ее, и, когда вертолет взмыл над зеленой равниной, направляясь в город, оба они смеялись.

Врач по имени Уолкот был исполнен спокойствия и уверенности. Полли-Энн, будущую мать, приготовили к тому, что ей предстояло, а отца, как полагается, отправили в приемную — здесь можно было курить сигарету за сигаретой или смешивать себе коктейли, для чего под рукой имелся миксер. Питер чувствовал себя недурно. Это их первый ребенок, но волноваться совершенно не о чем. Полли-Энн в хороших руках.

Через час о приемную вышел доктор Уолкот. Он был бледен как смерть. Питер Хорн оцепенел с третьим коктейлем в руке. Стиснул стакан и прошептал:

— Она умерла.

— Нет, — негромко сказал Уолкот. — Нет, нет, она жива и здорова. Но вот ребенок...

— Значит, ребенок мертвый.

— И ребенок жив, но... допивайте свой коктейль и пойдете. Кое-что произошло.

Да, несомненно, кое-что произошло. Нечто такое, из-за чего переполошилась вся клиника. Люди высыпали в коридоры, сновали из палаты в палату. Пока Питер Хорн шел за доктором, ему стало совсем худо; там и сям, сойдясь тесным кружком, стояли сестры и санитарки в белых халатах, тарасили друг на друга глаза и шептались:

— Нет, вы видали? Ребенок Питера Хорна! Невероятно!

Врач привел его в очень чистую небольшую комнату. Вокруг низкого стола толпились люди. На столе что-то лежало.

Голубая пирамидка.

— Зачем вы привели меня сюда? — спросил Хорн.

Голубая пирамидка шевельнулась. И заплакала.

Питер Хорн протиснулся сквозь толпу и в ужасе посмотрел на стол. Он побелел и задыхался.

— Неужели... это и есть?...

Доктор Уолкот кивнул.

У голубой пирамидки было шесть гибких голубых отростков, и на выдвинутых вперед стерженьках моргали три глаза.

Хорн оцепенел.

— Оно весит семь фунтов и восемь унций, — сказал кто-то.

«Меня разыгрывают, — подумал Хорн. — Это такая шутка. И все это затеял, конечно, Чарли Расколл. Вот сейчас он заглянет в дверь, крикнет: «С первым апреля!» — и все засмеются. Не может быть, что это мой ребенок. Какой ужас! Нет, меня разыгрывают».

Ноги Хорна пристыли к полу, по лицу струился пот.

— Уведите меня отсюда.

Он отвернулся; сам того не замечая, он сжимал и разжимал кулаки, веки его вздрагивали.

Уолкот взял его за локоть и спокойно заговорил:

— Это ваш ребенок. Поймите же, мистер Хорн.

— Нет. Нет, невозможно. — Такое не умещалось у него в голове. — Это какое-то чудище. Его надо уничтожить.

— Мы не убийцы, нельзя уничтожить человека.

— Человека? — Хорн смигнул слезы. — Это не человек! Это святотатство!

— Мы осмотрели этого... ребенка и установили, что он не мутант, не результат разрешения генов или их перестановки, — быстро заговорил доктор. — Ребенок и не уродец. И он совершенно здоров. Прошу вас, выслушайте меня внимательно.

Широко раскрытыми измученными глазами Хорн уставился в стену. Его шатало. Доктор продолжал сдержанно, уверенно:

— На ребенка своеобразно подействовало давление во время родов. Что-то разладилось сразу в обеих новых машинах — родильной и гипнотической, произошло короткое замыкание, и от этого исказились пространственные измерения. Ну, короче говоря, — неловко dokonчил доктор, — ваш ребенок родился в... в другое измерение.

Хорн даже не кивнул. Он стоял и ждал.

— Ваш ребенок жив, здоров и отлично себя чувствует, — со всей силой убеждения сказал доктор Уолкот. — Вот он лежит на столе. Но он непохож на человека, потому что родился в другое измерение. Наши глаза, привыкшие воспринимать все в трех измерениях, отказываются видеть в нем ребенка. Но все равно он ребенок. Несмотря на такое странное обличье, на пирамидальную форму и щупальца, это и есть ваш ребенок.

Хорн сжал губы и зажмурился.

— Можно мне чего-нибудь выпить?

— Конечно.

Ему сунули в руки стакан.

— Дайте я сяду, посижу минутку.

Хорн устало опустился в кресло. Постепенно все начало проясняться. Все медленно становилось на место. Что бы там ни было, это его ребенок. Хорн содрогнулся. Пусть с виду страшилище, но это его первенец.

Наконец он поднял голову; хоть бы лицо доктора не расплывалось перед глазами...

— А что мы скажем Полли? — спросил он еле слышно.

— Придумаем что-нибудь утром, как только вы соберетесь с силами.

— А что будет дальше? Можно как-нибудь вернуть его... в прежний вид?

— Мы постараемся. Конечно, если вы разрешите. В конце концов, он ваш. Вы вправе поступать с ним как пожелаете.

— С ним? — Хорн горько усмехнулся, закрыл глаза. — А откуда вы знаете, что это «он»? — Его засасывала тьма. В ушах шумело.

Доктор Уолкот явно смутился.

— Видите ли... то есть... ну, конечно, мы не можем сказать наверняка...

Хорн еще отхлебнул из стакана.

— А если вам не удастся вернуть его обратно?

— Я понимаю, какой это удар для вас, мистер Хорн. Что ж, если вам нестерпимо его видеть, мы охотно вырастим ребенка здесь, в институте.

Хорн подумал.

— Спасибо. Но, какой он ни есть, он наш — мой и Полли. Он останется у нас. Я буду растить его, как пастил бы любого ребенка. У него будет дом, семья, я постараюсь его полюбить. И обращаться с ним буду как положено.

Губы Хорна одеревенели, мысли не слушались.

— Понимаете ли вы, что берете на себя, мистер Хорн? Этому ребенку нельзя будет иметь обычных товарищей, ему не с кем будет играть — ведь его в два счета задразнят до смерти. Вы же знаете, что такое дети. Если вы решите воспитывать ребенка дома, всю его жизнь придется строго ограничить, никто никогда, не должен его видеть. Это вы понимаете?

— Да. Это я понимаю. Доктор... доктор, а умственно он в порядке?

— Да. Мы исследовали его реакции. В этом отношении он отличный здоровый младенец.

— Я просто хотел знать наверняка. Теперь только одно — Полли.

Доктор нахмурился.

— Признаться, я и сам ломаю голову. Конечно, тяжело женщине услышать, что ее ребенок родился мертвым. А уж это... сказать матери, что она произвела на свет нечто непонятное и на человека-то непохожее. Хуже, чем мертвого. Такое потрясение может оказаться губительным. И все же я обязан сказать ей правду. Врач не должен лгать пациенту, этим ничего не достигнешь.

Хорн отставил стакан.

— Я не хочу потерять еще и Полли. Я-то сам уже готов к тому, что вы уничтожите ребенка, я бы это пережил. Но я не допущу, чтобы эта история убила Полли.

— Надеюсь, мы сможем вернуть ребенка в наше намерение. Это и заставляет меня колебаться. Считаю я, что надежды нет, я бы сейчас же удостоверил, что необходимо его умертвить. Но, думаю, не все потеряно, надо попытаться.

Хорн безмерно устал. Все внутри дрожало.

— Ладно, доктор. А пока что ему нужна еда, молоко и любовь. Ему худо пришлось, так пусть хоть дальше будет все по справедливости, Когда мы скажем Полли?

— Завтра днем, когда она проснется.

Хорн встал, подошел к столу, на который сверху лился теплый мягкий свет. Протянул руку, и голубая пирамидка приподнялась.

— Привет, малыш, — сказал Хорн.

Пирамидка поглядела на него тремя блестящими голубыми глазами. Тихонько протянулось крохотное голубое щупальце и коснулось пальцев Хорна.

Он вздрогнул.

— Привет, малыш!

Доктор поднес поближе бутылочку-соску.

— Вот и молоко. А ну-ка попробуем!

Малыш поднял глаза, туман рассеивался. Над малышом склонялись какие-то фигуры, и он понял, что это друзья. Он только что родился, но был уже смысленый, на диво смысленый. Он воспринимал окружающий мир.

Над ним и вокруг что-то двигалось. Шесть серых с белым кубов склонились к нему, и у всех шестиугольные отростки, и у всех по три глаза. И еще два куба приближались по прозрачной плоскости. Один совсем белый. И у него тоже три глаза. Что-то в этом Белом кубе нравилось малышу. Что-то привлекало. Чем-то он был ему близок. И пахло от этого Белого куба чем-то родным.

Шесть склонившихся над малышом серо-белых кубов издавали резкие высокие звуки. Наверно, им было интересно, и они удивлялись. Получалось, словно играли сразу шесть флейт пикколо.

Теперь свистели два только что подошедших куба — Белый и Серый. Потом Белый куб вытянул один из своих шестиугольных отростков и коснулся малыша. В ответ малыш протянул одно из щупалец. Малышу нравился Белый куб. Да, нравился. Малыш проголодался, Белый куб ему нравится. Может, Белый куб его накормит...

Серый куб принес малышу розовый шар. Сейчас его накормят. Хорошо. Хорошо, Малыш с жадностью принялся за еду.

Хорошо, вкусно. Серо-белые кубы куда-то скрылись, остался только приятный Белый куб, он стоял над малышом, глядел на него и все посвистывал. Все посвистывал.

Назавтра они сказали Полли. Не все. Только самое необходимое. Только намекнули. Сказали, что с малышом в некотором смысле немного неладно. Говорили медленно, кругами, которые все тесней смыкались вокруг Полли. Потом доктор Уолкот прочел длинную лекцию о родильных машинах — как они облегчают жен~ шине родовые муки, но вот на этот раз произошло короткое замыкание. Другой ученый муж коротко и сухо рассказал о разных измерениях, перечел их по пальцам, весьма наглядно: первое, второе, третье и четвертое! Еще один толковал ей об энергии и материи. И еще один — о детях бедняков, которым недоступны блага прогресса.

Наконец Полли села на кровати и сказала:

— К чему столько разговоров? Что такое с моим ребенком и почему вы все так много говорите?

И доктор Уолкот сказал ей правду.

— Конечно, через недельку вы можете его увидеть, — прибавил он. — Или, если хотите, передайте его на попечение нашего института.

— Мне надо знать только одно, — сказала Полли.

Доктор Уолкот вопросительно поднял брови.

— Это я виновата, что он такой?

— Никакой вашей вины тут нет.

— Он не выродок, не чудовище? — допытывалась Полли.

— Просто он выброшен в другое измерение. Во всем остальном совершенно нормальный младенец.

Полли уже не стискивала зубы, складки в углах губ разгладились. Она сказала просто:

— Тогда принесите *мне* моего малыша. Я хочу его видеть. Пожалуйста. Прямо сейчас.

Ей принесли «ребенка».

Назавтра они покинули клинику, Полли шагала твердо, решительно, а Питер шел следом, тихо изумляясь ей.

Малыша с ними не было. Его привезут позднее. Хорн помог жене подняться в вертолет, сел рядом. И вертолет, жужжа, взмыл в теплую высь.

— Ты просто чудо, — сказал Питер.

— Вот как? — отозвалась она, закуривая сигарету,

— Еще бы. Даже не заплакала. Держалась молодцом.

— Знаешь, он вовсе не так уж плох, — сказала Полли, — когда узнаешь его поближе. Я... я даже могу взять его на руки. Он теплый, и плачет, и ему надо менять пеленки, хоть они и треугольные. — Она засмеялась. Но в этом смехе Питер расслышал дрожащую болезненную нотку. — Нет, я не заплакала, Пит, ведь это мой ребенок. Или будет моим. Слава богу, он не родился мертвый. Он... не знаю, как тебе объяснить... он еще не совсем родился. Я стараюсь думать, что он еще не родился. И мы ждем, когда он появится. Я очень верю доктору Уолкоту. А ты?

— Да, да. Ты права. — Питер взял ее за руку. — Знаешь, что я тебе скажу? Ты просто молодчина.

— Я смогу держаться, — сказала Полли, — глядя прямо перед собой и не замечая проносящихся под ними зеленых просторов. — Пока я верю, что впереди ждет что-то хорошее, я не позволю себе терзаться и мучиться. Я еще подожду с полгода, а потом, может быть, убью себя.

— Полли!

Она заглянула на него так, будто увидела впервые.

— Прости меня, Пит. Но ведь так не бывает, просто не бывает. Когда все кончится и малыш родится по-настоящему, я тут же обо всем забуду, точно ничего и не было. Но если доктор не сумеет нам помочь, рассудку этого не выдержать, рассудка Только и хватит — приказать телу влезть на крышу и прыгнуть вниз.

— Все уладится, — сказал Питер, сжимая руками штурвал. — Непременно уладится.

Полли не ответила, только выпустила облачко табачного дыма, и оно мигом распалось в воздушном вихре под лопастями вертолета.

Прошло три недели. Каждый день они летали в институт навестить Пая. Такое спокойное, скромное имя дала Полли Хорн голубой пирамидке, которая лежала на теплом спальном столе и смотрела на них из-под длинных ресниц. Доктор Уолкот не забывал повторять родителям, что ребенок ведет себя как все младенцы: столько-то часов спит, столько-то бодрствует, временами спокоен, а временами нет, в точности как всякий младенец, и так же ест и так же пачкает пеленки. Полли слушала все это, и лицо ее смягчалось, глаза теплели.

В конце третьей недели доктор Уолкот сказал:

— Может быть, вы уже в силах взять его домой? Ведь вы живете за городом, так? Отлично, у вас есть внутренний дворик, малыш может иногда погулять на солнышке. Ему нужна материнская любовь. Истина избитая, но с нею не поспоришь. Его надо кормить грудью. Конечно, мы договорились — там, где его кормит новая специальная машина, для него нашлись и ласковый голос, и теплые руки, и прочее. — Доктор Уолкот говорил сухо, отрывисто. — Но, мне кажется, вы уже достаточно с ним свыклись и понимаете, что это вполне здоровый ребенок. Вы готовы к этому, миссис Хорн?

— Да, я готова.

— Отлично. Приносите его каждые три дня на осмотр. Вот вам его режим и все предписания. Мы исследуем сейчас несколько возможностей, миссис Хорн. К концу года мы надеемся чего-то достичь. Не могу сейчас обещать определенно, но у меня есть основания полагать, что мы вытащим этого мальчугана из четвертого измерения, как фокусник — кролика из шляпы.

К немалому изумлению и удовольствию доктора, в ответ на эту речь Полли Хорн тут же его поцеловала.

Питер Хорн вел вертолет домой над волнистыми зелеными лугами Гриффита. Временами он поглядывал на пирамидку, лежавшую на руках у Полли. Полли ласково над ней ворковала, пирамидка отвечала примерно тем же.

— Хотела бы я знать... — начала Полли.

— Что?

— Какими он видит нас?

— Я спрашивал Уолкота. Он говорит, наверно, мы тоже кажемся малышу странными. Он в одном измерении, мы — в другом.

— Ты думаешь, он не видит нас людьми?

— Если глядеть на это нашими глазами — нет. Но не забудь, он ничего не знает о людях. Для него мы в любом обличье такие, как надо. Он привык видеть нас в форме кубов, квадратов или пирамид, какими мы ему там представляемся из его измерения. У него не было другого опыта, ему не с чем сравнивать. Мы для него самые обыкновенные. А он нас поражает потому, что мы, сравниваем его с привычными для нас формами и размерами.

— Да, понимаю. Понимаю.

Малыш ощущал движение. Один Белый куб держал его в теплых отростках. Другой Белый куб сидел поодаль; все они были в фиолетовом эллипсоиде. Эллипсоид двигался по воздуху над просторной светлой равниной, сплошь усеянной пирамидами, шестигранниками, цилиндрами, колоннами, шарами и многоцветными кубами.

Один Белый куб что-то просвистел. Другой ответил свистом. Тот Белый куб, что держал малыша, слегка покачивался. Малыш глядел на Белые кубы, на мир, проносящийся за стенками вытянутого летучего пузыря.

И ему стало как-то сонно. Он закрыл глаза, прислонился поуютней к Белому кубу и тоненько, чуть слышно загудел.

— Он уснул, — сказала Полли Хорн.

Настало лето, у Питера Хорна в экспортно-импортной конторе хлопот было по горло. Но все вечера он неизменно проводил дома. Дни с малышом давались Полли без труда, но, если приходилось оставаться с ним одной до ночи, она слишком много курила, а однажды поздним вечером Питер застал ее на кушетке

без чувств, и рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. С тех пор по ночам он сам вставал к малышу. Плакал малыш как-то странно, то ли свистел, то ли шипел жалобно, будто испуганный зверек, затерявшийся в джунглях. Дети так не плачут.

Питер сделал в детской звуконепроницаемые стены.

— Это чтоб ваша жена не слыхала, как плачет маленький? — спросил рабочий, который ему помогал.

— Да, чтоб она не слыхала, — ответил Питер Хорн. Они почти никого у себя не принимали. Боялись — вдруг кто-нибудь наткнется на Пая, маленького Пая, на милую, любимую пирамидку.

— Что это? — спросил раз вечером один гость, отрываясь от коктейля, и прислушался. — Какая-то пичужка голос подает? Вы никогда не говорили, что держите птиц в клетках, Питер.

— Да, да, — ответил Питер, закрывая дверь в детскую. — Выпейте еще. Давайте все выпьем.

Было так, словно они завели собаку или кошку. По крайней мере, так на это смотрела Полли. Питер Хорн незаметно наблюдал за женой, подмечал, как она говорит о маленьком Пае, как ласкает его. Она всегда рассказывала, что Пай делал и как себя вел, но словно бы с осторожностью, а порой окинет взглядом комнату, проведет ладонью по лбу, по щеке, стиснет руки — и лицо у нее станет испуганное, потерянное, словно она давно и тщетно кого-то ждет.

В сентябре Полли с гордостью сказала мужу:

— Он умеет говорить «папа». Да, да, умеет. Ну-ка, Пай, скажи: папа.

И она подняла повыше теплую голубую пирамидку.

— Фьюи-и! — просвистела теплая голубая пирамидка.

— Еще разок! — сказала Полли.

— Фьюи-и! — просвистела пирамидка.

— Ради бога, перестань! — сказал Питер Хорн. Взял у Полли ребенка и отнес в детскую, и там пирамидка свистела опять и опять, повторяла по-своему: папа, папа, папа. Хорн вышел в столовую и налил себе чистого виски. Полли тихонько смеялась.

— Правда, потрясающе? — сказала она. — Даже голос у него в четвертом измерении. Вот будет мило, когда он научится говорить! Мы дадим ему выучить монолог Гамлета, и он станет читать наизусть, и это прозвучит как отрывок из Джойса. Повезло нам, правда? Дай мне выпить.

— Ты уже пила, хватит.

— Ну спасибо, я себе и сама налью, — ответила Полли.

Что она и сделала.

Прошел октябрь, наступил ноябрь. Пай теперь учился говорить. Он свистел и пищал, а когда был голоден, звенел, как бубенчик. Доктор Уолкот навещал их.

— Если малыш весь ярко-голубой, значит, здоров, — сказал он однажды. — Если же голубизна тускнеет, выцветает, значит, ребенок чувствует себя плохо. Запомните это.

— Да, да, я запомню, — сказала Полли. — Яркий, как яйцо дрозда, — здоров, тусклый, как кобальт — болен.

— Знаете что, моя милая, — сказал Уолкот, — примите-ка парочку вот этих таблеток, а завтра придете ко мне, побеседуем. Не нравится мне, как вы разговариваете. Покажите-ка язык! Гм... Вы что, пьете? И пальцы все в желтых пятнах. Курить надо вдвое меньше. Ну, до завтра.

— Вы не очень-то мне помогаете, — возразила Полли. — Прошел уже почти целый год...

— Дорогая миссис Хорн, не могу же я держать вас в непрерывном напряжении. Как только наша механика будет готова, мы тотчас вам сообщим. Мы работаем не покладая рук. Скоро проведем испытание. А теперь примите таблетки и прикусите язычок. — Доктор потрепал Пая по «подбородку». — Отличный здоровый младенец, право слово! И весит никак не меньше двадцати фунтов.

Малыш подмечал каждый шаг этих двух славных Белых кубов, которые всегда с ним, когда он не спит. Есть еще один куб — Серый, тот появляется не каждый день. Но главные в его жизни — два Белых куба, они его любят и заботятся о нем. Малыш поднял глаза на Белый куб, тот, что с округленными гранями, потеплей и помягче, — и, очень довольный, тихонько защебетал. Белый куб кормит его. Малыш доволен. Он растет. Все привычно и хорошо.

Настал новый, 1989 год.

В небе проносились межпланетные корабли, жужжали вертолеты, завивая вихрями теплый воздух Калифорнии.

Питер Хорн тайком привез домой большие пластины особым способом отлитого голубого и серого стекла. Сквозь них он всматривался в своего «ребенка». Ничего. Пирамидка оставалась пирамидкой, просвечивал ли он ее рентгеновскими лучами или разглядывал сквозь желтый целлофан. Барьер был непробиваем. Хорн потихоньку вновь начал пить.

Все круто переломилось в начале февраля. Хорн возвращался домой, хотел уже посадить вертолет — и ахнул: на лужайке перед его домом столпились соседи. Кто сидел, кто стоял, некоторые уходили прочь, и лица у них были испуганные.

Во дворе гуляла Полли с «ребенком».

Она была совсем пьяная. Сжимая в руке щупальце голубой пирамидки, она водила Пая взад и вперед. Не заметила, как сел вертолет, не обратила никакого внимания на мужа, который бегом бросился к ней.

Один из соседей обернулся.

— Какая у вас славная зверюшка, мистер Хорн! Где вы ее откопали?

Еще кто-то крикнул:

— Видно, вы порядком постранствовали, Хорн! Это откуда же, из Южной Африки?

Полли подхватила пирамидку на руки.

— Скажи «папа»! — закричала она, неуверенно, как сквозь туман, глядя на мужа.

— Фьюи! — закричала пирамидка.

— Полли! — позвал Питер.

— Он ласковый, как щенок или котенок, — сказала Полли, ведя пирамидку по двору. — Нет, нет, не бойтесь, он совсем не опасен. Он ласковый, прямо как ребенок. Мой муж привез его из Афганистана.

Соседи начали расходиться.

— Куда же вы? — Полли замахала им рукой. — Не хотите поглядеть на моего малютку? Разве он не красавчик?

Питер ударил ее по лицу.

— Мой малютка... — повторяла Полли срывающимся голосом.

Питер опять и опять бил ее по щекам, и наконец она умолкла, у нее подкосились ноги. Он поднял ее и

унес в дом. Потом вышел, увел в дом Пая, сел и позвонил в институт.

— Доктор Уолкот, говорит Хорн. Извольте подготовить вашу механику. Сегодня или никогда.

Короткая заминка. Потом Уолкот сказал со вздохом:

— Ладно. Привозите жену и ребенка, Попробуем управиться.

Оба дали отбой.

Хорн сидел и внимательно разглядывал пирамидку.

— Все соседи от него в восторге, — сказала Полли.

Она лежала на кушетке, глаза были закрыты, губы дрожали...

В вестибюле института их обдало безупречной, стерильной чистотой. Доктор Уолкот шагал по коридору, за ним Питер Хорн и его жена Полли с Паем на руках. Вошли в одну из дверей и очутились в просторной комнате. Посередине стояли рядом два стола, над каждым свисал большой черный колпак.

Позади столов выстроились незнакомые аппараты, счету не было циферблатам и рукояткам. Слышалось еле уловимое гуденье. Питер Хорн поглядел на Полли.

Уолкот подал ей стакан с какой-то жидкостью.

— Выпейте, — сказал он.

Полли повиновалась.

— Вот так. Садитесь.

Оба сели. Доктор сцепил руки, пальцы в пальцы, и минуту-другую молча смотрел на Хорнов.

— Теперь послушайте, чем я занимался все последние месяцы, — сказал он. — Я пытался вытащить малыша из того измерения, куда он попал, — четвертого, пятого или шестого, сам черт не разберет. Всякий раз, как вы привозили его сюда на осмотр, мы бились над этой задачей. И в известном смысле она решена, но извлечь ребенка из того треклятого измерения мы покуда не можем.

Полли вся сникла. Хорн же неотрывно смотрел на доктора — что-то он еще скажет? Уолкот наклонился к ним.

— Я не могу извлечь оттуда Пая, но я могу переправить вас обоих туда. Вот так-то.

И он развел руками.

Хорн посмотрел на машину в углу.

— То есть вы можете послать нас в измерение Пая?

— Если вы непременно этого хотите.

Полли не отозвалась. Она молча держала на коленях Пая и не сводила с него глаз.

Доктор Уолкот стал объяснять:

— Мы знаем, какими неполадками, механическими и электрическими, вызвано теперешнее состояние Пая. Мы можем воспроизвести эту цепь случайных погрешностей и воздействий. Но вернуть ребенка в наше измерение — это уже совсем другое дело. Возможно, пока мы добьемся нужного сочетания, придется провести миллион неудачных опытов. Сочетание, которое ввергло его в чужое пространство, было случайностью, но, по счастью, мы заметили и проследили ее, у нас есть показания приборов. А вот как вернуть его оттуда — таких данных у нас нет. Приходится действовать наугад. Поэтому гораздо легче переправить вас в четвертое измерение, чем вернуть Пая в наше.

— Если я перейду в его измерение, я увижу моего ребенка таким, какой он на самом деле? — просто и серьезно спросила Полли.

Уолкот кивнул.

— Тогда я хочу туда, — сказала Полли.

— Подожди, — вмешался Питер. — Мы пробыли здесь только пять минут, а ты уже перечеркиваешь всю свою жизнь.

— Пускай. Я иду к моему настоящему ребенку.

— Доктор Уолкот, а как будет там, по ту сторону?

— Сами вы не заметите никаких перемен. Будете видеть друг друга такими же, как и прежде — тот же рост, тот же облик. А вот пирамидка станет для вас ребенком. Вы обретете еще одно чувство и станете иначе воспринимать все, что увидите.

— А может быть, мы обратимся в какие-нибудь цилиндры или пирамиды? И вы, доктор, покажетесь нам уже не человеком, а какой-нибудь геометрической фигурой?

— Если слепой прозреет, разве он утратит способность слышать и осязать?

— Нет.

— Ну так вот. Перестаньте рассуждать при помощи вычитания. Думайте путем сложения. Вы кое-что приобретаете. И ничего не теряете. Вы знаете, как выглядит человек, а у Пая, когда он смотрит на нас из своего измерения, этого преимущества нет. Прибыв «туда», вы сможете увидеть доктора Уолкота, как пожелаете — и геометрической фигурой, и человеком. Наверно, на этом бы сделали заправским философом. Но тут есть еще одно...

— Что же?

— Для всего света вы, ваша жена и ребенок будете выглядеть абстрактными фигурами. Малыш — треугольником, ваша жена, возможно, прямоугольником. Сами вы — массивным шестигранником. Потрясение ждет всех, кроме вас.

— Мы окажемся выродками.

— Да. Но не почувствуете себя выродками. Только придется жить замкнуто и уединенно.

— До тех пор, пока вы не найдете способ вернуть нас всех троих?

— Вот именно. Может пройти и десять лет, и двадцать. Я бы вам не советовал. Пожалуй, вы оба сойдете с ума от одиночества, от сознания, что вы не такие, как все. Если в вас есть хоть малое зернышко шизофрении, она разовьется. Но, понятно, решайте сами.

Питер Хорн посмотрел на жену, она ответила прямым, серьезным взглядом.

— Мы идем, — сказал Питер.

— В измерение Пая? — переспросил Уолкот.

— В измерение Пая.

Они поднялись.

— Мы не утратим никаких способностей, доктор, вы уверены? Поймете ли вы нас, когда мы станем с вами говорить? Ведь Пая понять невозможно.

— Пай говорит так потому, что так звучит для него наша речь, когда она проникает в его измерение. И

он, повторяет то, что слышит. А вы, оказавшись там, будете говорить со мной превосходным человеческим языком, потому что вы это умеете. Измерения не отменяют чувств и способностей, времени и знаний.

— А что будет с Паем? Когда мы попадем в его измерение, мы прямо у него на глазах обратимся в людей? Вдруг это будет для него слишком сильным потрясением? Не опасно это?

— Он еще совсем кроха. Его представления о мире не вполне сложились. Конечно, он будет поражен, но от вас будет пахнуть по-прежнему, и голоса останутся прежние, хорошо знакомые, и вы будете все такими же ласковыми и любящими, а это главное. Нет, вы с ним прекрасно поймете друг друга.

Хорн медленно почесал в затылке.

— Да, не самый простой и короткий путь к цели... — Он вздохнул. — Вот был бы у нас еще ребенок, тогда про этого можно бы и забыть...

— Но ведь речь именно о нем. Смею думать, вашей жене нужен только этот малыш и никакой другой, правда, Полли?

— Этот, только этот, — сказала Полли.

Уолкот многозначительно посмотрел на Хорна. И Питер понял. Этот ребенок — не то Полли потеряна. Этот ребенок — не то Полли до конца жизни просидит где-то в тишине, в четырех стенах, уставясь в пространство невидящими глазами.

Все вместе они направились к машине.

— Что ж, если она это выдержит, так выдержу и я, — сказал Хорн и взял жену за руку. — Столько лет я работал в полную силу, не худо и отдохнуть, примем для разнообразия абстрактную форму.

— По совести, я вам завидую, — сказал Уолкот, нажимая какие-то кнопки на большой непонятной машине. — И еще вам скажу, вот поживете там — и, пожалуй, напишете такой философский трактат, что Дьюи, Бергсон, Гегель и прочие померли бы от зависти. Может, и я как-нибудь соберусь к вам в гости.

— Милости просим. Что нам понадобится для путешествия?

— Ничего. Просто ложитесь на стол и лежите смирно.

Комната наполнилась гуденьем. Это звучали мощь, энергия и тепло.

Полли и Питер Хорн лежали на сдвинутых столах, держась за руки. Их накрыли двойным черным колпаком. И они очутились в темноте. Откуда-то донесся бой часов — далеко в глубине здания металлический голосок прозвенел: «Тик-ки, так-ки, ровно семь, пусть известно будет всем...» — и постепенно замер.

Низкое гуденье звучало все громче. Машина дышала затаенной, пружинно сжатой нарастающей мощью.

— Это опасно? — крикнул Питер Хорн.

— Нисколько!

Мощь прорвалась воплем. Кажется, все атомы в комнате разделились на два чуждых, враждебных лагеря. И борются — чья возьмет. Хорн раскрыл рот — закричать бы... Все его существо сотрясали ужасающие электрические разряды, перекраивали по неведомым граням и диагоналям. Он чувствовал — тело раздирает какая-то сила, тянет, засасывает, властно чего-то требует. Жадная, неотступная, напористая, она распирает комнату. Черный колпак над ним растягивался, все плоскости и линии дико, непостижимо исказились. Пот струился по лицу — нет, не пот, а соки, выжатые из него тисками враждующих измерений. Казалось, руки и ноги что-то выворачивает, раскидывает, колет, и вот зажало. И весь он тает, плавится, как

воск.

Негромко щелкнуло.

Мысль Хорна работала стремительно, но спокойно. Как будет потом, когда мы с Полли и Паем окажемся дома и придут друзья посидеть и выпить? Как все это будет?

И вдруг он понял, как оно будет, и разом ощутил благоговейный трепет, и безоглядное доверие, и всю надежность времени. Они по-прежнему будут жить в своем белом доме, на том же тихом зеленом холме, только вокруг поднимется высокая ограда, чтобы не докучали любопытные. И доктор Уолкот будет их навещать — поставит свою букашку во дворе и поднимется на крыльцо, а в дверях его встретит стройный Белый четырехгранник с коктейлем в змееподобной руке.

А в кресле в глубине комнаты солидный Белый цилиндр будет читать Ницше и покуривать трубку. И тут же будет бегать Пай. И завяжется беседа, придут еще друзья, Белый цилиндр и Белый четырехгранник будут смеяться и шутить, и угощать всех крохотными сэндвичами и вином, и вечер пройдет славно, весело и непринужденно.

Вот как это будет.

Щелк!

Гуденье прекратилось.

С Хорна сняли колпак.

Все кончилось.

Они уже в другом измерении.

Он услышал, как вскрикнула Полли. Было очень светло. Хорн соскользнул со стола и остановился озираясь. По комнате бежала Полли. Наклонилась, подхватила что-то на руки...

Вот он, сын Питера Хорна. Живой, розовощекий, голубоглазый мальчуган лежит в объятиях матери, растерянно озирается и захлебывается плачем,

Пирамидки словно не бывало. Полли плакала от счастья.

Весь дрожа, но сиюсь улыбнуться, Питер Хорн пошел к ним — обнять наконец и Полли и малыша разом и заплакать вместе с ними.

— Ну вот, — стоя поодаль, промолвил Уолкот. Он долго стоял не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел в другой конец комнаты, на Белый цилиндр и стройный Белый четырехгранник с Голубой пирамидкой в объятиях. Дверь отворилась, вошел ассистент.

— Шш-ш! — Уолкот приложил палец к губам. — Им надо побыть одним. Пойдемте.

Он взял ассистента за локоть и на цыпочках двинулся к выходу. Дверь затворилась за ними, а Белый четырехгранник и Белый цилиндр даже не оглянулись.

ВЕТЕР

В тот вечер телефон зазвонил в половине шестого. Стоял декабрь, и уже стемнело, когда Томпсон взял трубку.

— Слушаю.

— Алло. Герб?

— А, это ты, Аллин.

— Твоя жена дома, Герб?

— Конечно. А что?

— Ничего, так просто.

Герб Томпсон спокойно держал трубку.

— В чем дело? У тебя какой-то странный голос.

— Я хотел, чтобы ты приехал ко мне сегодня вечером.

— Мы ждем гостей.

— Хотел, чтобы ты остался ночевать у меня. Когда уезжает твоя жена?

— На следующей неделе, — ответил Томпсон. — Дней девять пробудет в Огайо. Ее мать заболела. Тогда я приеду к тебе.

— Лучше бы сегодня.

— Если бы я мог... Гости и все такое прочее. Жена убьет меня.

— Очень тебя прошу.

— А в чем дело? Опять ветер?

— Нет... Нет, нет.

— Говори: ветер? — повторил Томпсон.

Голос в трубке замялся.

— Да. Да, ветер.

— Но ведь небо совсем ясное, ветра почти нет!

— Того, что есть, вполне достаточно. Вот он, дохнул в окно, чуть колыхнет занавеску... Достаточно, чтобы я понял.

— Слушай, а почему бы тебе не приехать к нам, не переночевать здесь? — сказал Герб Томпсон, обводя взглядом залитый светом холл.

— Что ты. Поздно. Он может перехватить меня в пути. Очень уж далеко. Не хочу рисковать, а вообще спасибо за приглашение. Тридцать миль как-никак. Спасибо...

— Прими снотворное.

— Я целый час в дверях простоял, Герб. На западе, на горизонте такое собирается... Такие тучи, и одна из них на глазах у меня будто разорвалась на части. Будет буря, уж это точно.

— Ладно, ты только не забудь про снотворное. И звони мне в любое время. Хотя бы сегодня еще, если

надумаешь.

— В любое время? — переспросил голос в трубке.

— Конечно.

— Ладно, позвоню, но лучше бы ты приехал. Нет, я не желаю тебе беды. Ты мой лучший друг, зачем рисковать. Пожалуй, мне и впрямь лучше одному встретить испытание. Извини, что я тебя побеспокоил.

— На то мы и друзья! Расскажи-ка, чем ты сегодня занят?... Почему бы тебе не пописать немного? — говорил Герб Томпсон, переминаясь с ноги на ногу в холле. — Отвлечешься, забудешь свои Гималаи и эту долину Ветров, все эти твои штормы и ураганы. Как раз закончил бы еще одну главу своих путевых очерков.

— Попробую. Может быть, получится, не знаю. Может быть... Большое спасибо, что ты разрешаешь мне беспокоить тебя.

— Брось, не за что. Ну, кончай, а то жена зовет меня обедать.

Герб Томпсон повесил трубку. Он прошел к столу, сел; жена сидела напротив.

— Это Аллин звонил? — спросила она.

Он кивнул.

— Не надоел он тебе своими ветрами, которые то подуют, то стихнут, то жаром его обдадут, то холодом? — продолжала она, передавая ему полную тарелку.

— Ему там, в Гималаях, во время войны туго пришлось, — ответил Герб Томпсон.

— Неужели ты веришь его рассказам про эту долину?

— Очень уж убедительно он рассказывает.

— Лазать куда-то, карабкаться... И зачем это мужчины лазают по горам, сами на себя страх нагоняют?

— Шел снег, — сказал Герб Томпсон.

— В самом деле?

— И дождь хлестал... И град, и ветер, все сразу. В той самой долине. Аллин мне много раз рассказывал. Здорово рассказывает... Забрался на большую высоту, кругом облака и все такое... И вся долина гудела.

— Как же, как же, — сказала она.

— Такой звук был, точно дул не один ветер, а множество. Ветры со всех концов света. — Он поднес вилку ко рту. — Так Аллин говорит.

— Незачем было туда лезть, только и всего, — сказала она. — Ходит-бродит, всюду свой нос сует, потом начинает сочинять. Мол, ветры разгневались на него, стали преследовать...

— Не смейся, он мой лучший друг, — рассердился Герб Томпсон.

— Ведь это все чистейший вздор!

— Вздор или нет, а сколько раз он потом попадал в переделки! Шторм в Бомбее, через два месяца тайфун у берегов Новой Гвинеи. А случай в Корнуолле?...

— Не могу сочувствовать мужчине, который без конца то в шторм, то в ураган попадает, и у него от этого развивается мания преследования.

В этот самый миг зазвонил телефон.

— Не бери трубку, — сказала она.

— Вдруг что-нибудь важное!

— Это опять твой Аллин.

Девять раз прозвенел телефон, они не поднялись с места. Наконец звонок замолчал. Они доели обед. На кухне под легким ветерком из приоткрытого окна чуть колыхались занавески.

Опять телефонный звонок.

— Я не могу так, — сказал он и взял трубку. — Я слушаю, Аллин!

— Герб! Он здесь! Добрался сюда!

— Ты говоришь в самый микрофон, отодвинься немного.

— Я стоял в дверях, ждал его. Увидел, как он мчится по шоссе, гнет деревья одно за другим, потом зашелестели кроны деревьев возле дома, потом он сверху метнулся вниз, к двери, я захлопнул ее прямо перед носом у него!

Томпсон молчал. Он не знал, что сказать, и жена стояла в дверях холла, не сводя с него глаз.

— Очень интересно, — произнес он наконец.

— Он весь дом обложив, Герб. Я не могу выйти, ничего не могу предпринять. Но я его облапошил: сделал вид, будто зазевался, и только он ринулся вниз, за мной, как я захлопнул дверь и запер! Не дал застигнуть себя врасплох, недаром уже которую неделю начеку!

— Ну вот и хорошо, старина, а теперь расскажи мне все, как было, — ласково произнес в телефон Герб Томпсон.

От пристального взгляда жены у него вспотела шея.

— Началось это шесть недель назад...

— Правда? Ну, давай дальше.

— ...Я уж думал, что провел его. Думал, он отказался от попыток расправиться со мной. А он, оказывается, просто-напросто выжидал. Шесть недель назад я услышал его смех и шепот возле дома. Всего около часа это продолжалось, недолго, словом, и совсем негромко. Потом он улетел.

Томпсон кивнул трубке.

— Вот и хорошо, хорошо.

Жена продолжала смотреть на него.

— А на следующий вечер он вернулся... Захлопал ставнями, выдул искры из дымохода. Пять вечеров подряд прилетал, с каждым разом чуточку сильнее. Стоило мне открыть наружную дверь, как он врывался в дом и пытался вытащить меня. Да только слишком слаб был. Зато теперь набрался сил...

— Я очень рад, что тебе лучше, — сказал Томпсон.

— Мне ничуть не лучше, ты что? Опять жена слушает?

— Да.

— Понятно. Я знаю, все это звучит глупо. — Ничего подобного. Продолжай.

Жена Томпсона ушла на кухню. Он облегченно вздохнул. Сел на маленький стул возле телефона. — Давай, Аллин, выговорись, скорее уснешь.

— Он весь дом обложил, гудит в застрехах, точно огромный пылесос. Деревья гнет.

— Странно, Аллин, здесь совершенно нет ветра.

— Разумеется, зачем вы ему, он до меня добирается.

— Конечно, такое объяснение тоже возможно...

— Этот ветер — убийца, Герб, величайший и самый безжалостный древний убийца, какой только когда-либо выходил на поиски жертву... Исполинский охотничий пес бежит по следу, нюхает, фыркает, меня ищет. Подносит холодный носик к моему дому, втягивает воздух... Учужал меня в гостиной, пробует туда ворваться. Я на кухню, ветер за мной. Хочет сквозь окно проникнуть, но я навесил прочные ставни, даже сменил петли и засовы на дверях. Дом крепкий, прежде строили прочно. Я нарочно всюду свет зажег, во всем доме. Ветер следил за мной, когда я переходил из комнаты в комнату, он заглядывал в окна, видел, как я включаю электричество. Ого!

— Что случилось?

— Он только что сорвал проволочную дверь снаружи!

— Ехал бы ты к нам ночевать, Аллин.

— Не могу из дому выйти! Ничего не могу сделать. Я этот ветер знаю. Сильный и хитрый. Только что я хотел закурить — он загасил спичку. Ветер такой: любит поиграть, подразнить. Не спешит, у него вся ночь впереди. Вот опять! Книга лежит в библиотеке на столе... Если бы ты видел: он отыскал в стене крохотную щелочку и дует, перелистывает книгу, страницу за страницей! Жаль, ты не можешь видеть. Сейчас введение листает. Ты помнишь, Герб, введение к моей книге о Тибете?

— Помню.

- «Эта книга посвящается тем, кто был побежден в поединке со стихиями, ее написал человек, который столкнулся со стихиями лицом к лицу, но сумел спастись».

— Помню, помню.

— Свет погас!

Что-то затрещало в телефоне.

— А сейчас сорвало провода. Герб, ты слышишь?

— Да, да, я слышу тебя.

— Ветру не по душе, что в доме столько света, и он оборвал провода. Наверно, на очереди телефон. Это прямо воздушный бой какой-то! Погоди...

— Аллин!

Молчание. Герб прижал трубку плотнее к уху. Из кухни выглянула жена. Герб Томпсон ждал.

— Аллин!

— Я здесь, — ответил голос в телефоне. — Сквозняк начался, пришлось законопатить щель под дверь, а то прямо в ноги дуло. Знаешь, Герб, это даже лучше, что ты не поехал ко мне, не хватало еще тебе в такой переплет попасть. Ого! Он только что высадил окно в одной из комнат, теперь в доме настоящая буря, картины так и сыплются со стен на пол! Слышишь?

Герб Томпсон прислушался. В телефоне что-то выло, свистело, стучало. Аллин повысил голос, сиюсь перекричать шум.

— Слышишь?

Герб Томпсон проглотил ком.

— Да, слышу.

— Я ему нужен живьем, Герб. Он осторожен, не хочет одним ударом с маху дом развалить. Тогда меня убьет. А я ему живьем нужен, чтобы можно было разобрать меня по частям: палец за пальцем. Ему нужно то, что внутри меня, моя душа, мозг. Нужна моя жизненная, психическая сила, мое «я», мой разум.

— Жена зовет меня, Аллин. Просит помочь с посудой.

— Над домом огромное туманное облако, ветры со всего мира! Та самая буря, что год назад опустошила Целебес, тот самый памперо, что убил столько людей в Аргентине, тайфун, который потряс Гавайские острова, ураган, который в начале этого года обрушился на побережье Африки. Частица всех тех штормов, от которых мне удалось уйти. Он выследил меня, выследил из своего убежища в Гималаях, ему не дает покоя, что я знаю о долине Ветров, где он укрывается, вынашивая свои разрушительные замыслы. Давным-давно что-то породило его на свет... Я знаю, где он набирается сил, где рождается, где испускает дух. Вот почему он меня ненавидит — меня и мои книги, которые учат, как с ним бороться. Хочет зажать мне рот. Хочет вобрать меня в свое могучее тело, впитать мое знание. Ему нужно заполучить меня на свою сторону!

— Аллин, я вешаю трубку. Жена...

— Что? — Пауза, далекий вой ветра в телефонной трубке. — Что ты говоришь?

— Позвони мне еще через часок, Аллин.

Он повесил трубку.

Он пошел вытирать тарелки, и жена глядела на него, а он глядел на тарелки, досуха вытирая их полотенцем.

— Как там на улице? — спросил он.

— Чудесно. Тепло. Звезды, — ответила она. — А что?

— Так, ничего.

На протяжении следующего часа телефон звонил трижды. В восемь часов явились гости, Стоддард с женой. До половины девятого посидели, поболтали, потом раздвинули карточный столик и стали играть в «ловушку».

Герб Томпсон долго, тщательно тасовал колоду — казалось, шуршат открываемые жалюзи — и стал сдавать/ Карты одна за другой, шелестя, ложились на стол перед каждым из игроков. Беседа шла своим чередом. Он закурил сигару, увенчал ее кончик конусом легкого серого пепла, взял свои карты, разобрал их по мастям. Вдруг поднял голову и прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. Жена заметила его движение, он тотчас вернулся к игре и пошел с валета треф.

Герб не спеша попыхивал сигарой, все негромко переговаривались, иногда извергая маленькие порции смеха. Наконец часы в холле нежно пробили девять.

— Вот сидим мы здесь, — заговорил Герб Томпсон, вынув изо рта сигару и задумчиво разглядывая ее, — а жизнь... Да, странная штука жизнь.

— Что? — сказал мистер Стоддард.

— Нет, ничего, просто сидим мы тут, и наша жизнь идет, а где-то еще на земле живут своей жизнью миллиарды других людей.

— Не очень свежая мысль.

— Живем... — Он опять стиснул сигару в зубах. — Одиноко живем. Даже в собственной семье. Бывает так: тебя обнимают, а ты словно за миллион миль отсюда.

— Интересное наблюдение, — заметила его жена.

— Ты меня не так поняла, — объяснил он спокойно. Он не горячился, так как не чувствовал за собой никакой вины, — Я хотел сказать: у каждого из нас свои убеждения, своя маленькая жизнь. Другие люди живут совершенно иначе. Я хотел сказать: сидим мы тут в комнате, а тысячи людей сейчас умирают. Кто от рака, кто от воспаления легких, кто от туберкулеза. Уверен, где-нибудь в США в этот миг кто-то умирает в разбитой автомашине.

— Не слишком веселый разговор, — сказала его жена.

— Я хочу сказать: живем и не задумываемся над тем, как другие люди мыслят, как свою жизнь живут, как умирают. Ждем, когда к нам смерть придет. Хочу сказать: сидим здесь, приросли к креслам, а в тридцати милях от нас, в большом старом доме — со всех сторон ночь и всякая чертовщина — один из лучших людей, какие когда-либо жили на свете...

— Герб!

Он пыхнул сигарой, пожевал ее, уставился невидящими глазами в карты.

— Извините. — Он моргнул, откусил кончик сигары. — Что, мой ход?

— Да, твой ход.

Игра возобновилась: шорох карт, шепот, тихая речь... Герб Томпсон поник в кресле с совершенно больным видом.

Зазвонил телефон. Томпсон подскочил, метнулся к аппарату, сорвал с вилки трубку.

— Герб! Я уже который раз звоню. Как там у вас, Герб?

— Ты о чем?

— Гости ушли?

— Черта с два, тут...

— Болтаете, смеетесь, играете в карты?

— Да-да, но причем...

— И ты куришь свою десятицентовую сигару?

— Да, черт возьми, но...

— Здорово, — сказал голос в телефоне. — Ей-богу, здорово. Хотел бы я быть с вами. Эх, лучше бы мне не знать того, что я знаю. Хотел бы я... да-а, еще много чего хочется...

— У тебя все в порядке?

— Пока что держусь. Сажу на кухне. Ветер снес часть передней стены. Но я заранее подготовил отступление. Когда сдаст кухонная дверь, спущусь в подвал. Посчастливится, отсижусь там до утра. Чтобы добраться до меня, ему надо весь этот чертов дом разнести, а над подвалом прочное перекрытие. И у меня лопата есть, могу еще глубже зарыться...

Казалось, в телефоне звучит целый хор других голосов.

— Что это? — спросил Герб Томпсон, ощутив холодную дрожь.

— Это? — повторил голос в телефоне. — Это голоса двенадцати тысяч, убитых тайфуном, семи тысяч,

уничтоженных ураганом, трех тысяч, истребленных бурей. Тебе не скучно меня слушать? Понимаешь, в этом вся суть ветра, его плоть, он — полчища погибших. Ветер их убил, взял себе их разум. Взял все голоса и слил в один. Голоса миллионов, убитых за последние десять тысяч лет, истязаемых, гонимых с материка на материк, поглощенных муссонами и смерчами. Боже мой, какую поэму можно написать!

В телефоне звучали, отдавались голоса, крики, вой.

— Герб, где ты там? — позвала жена от карточного стола.

— И ветер, что ни год, становится умнее, он все присваивает себе — тело за телом, жизнь за жизнью, смерть за смертью.

— Герб, мы ждем тебя! — крикнула жена.

— К черту! — чуть не рявкнул он, обернувшись. — Минуты подождать не можете! — И снова в телефон: — Аллин, если хочешь, чтобы я к тебе сейчас приехал, я готов! Я должен был раньше...

— Ни в коем случае. Борьба непримиримая, еще и тебя в нее ввязывать! Лучше я повешу трубку. Кухонная дверь поддается, пора в подвал уходить.

— Ты еще позвонишь?

— Возможно, если мне повезет. Да только вряд ли. Сколько раз удавалось спастись, ускользнуть, но теперь, похоже, он припер меня к стенке. Надеюсь, я тебе не очень помешал, Герб.

— Ты никому не помешал, ясно? Звони еще.

— Попытаюсь...

Герб Томпсон вернулся к картам. Жена пристально поглядела на него.

— Как твой приятель, этот Аллин? — спросила она. — Трезвый еще?

— Он в жизни капли спиртного не проглотил, — угрюмо произнес Томпсон, садясь. — Я должен был давно поехать к нему.

— Но ведь он вот уже шесть недель каждый вечер звонит тебе. Ты десять раз, не меньше, ночевал у него, и ничего не случилось.

— Ему нужно помочь. Он способен навредить себе.

— Ты только недавно был у него, два дня назад, что же — так и ходить за ним все время?

— Завтра же, не откладывая, отвезу его в лечебницу. А жаль человека, он вполне рассудительный...

В половине одиннадцатого был подан кофе. Герб Томпсон медленно пил, поглядывая на телефон, и думал: «Хотелось бы знать — перебрался он в подвал?»

Герб Томпсон прошел к телефону, вызвал междугородную, заказал номер.

— К сожалению, — ответили ему со станции, — связь с этим районом прервана. Как только починят линию, мы вас соединим.

— Значит, связь прервана! — воскликнул Томпсон. Он повесил трубку, повернулся, распахнул дверцы стенового шкафа, схватил пальто.

— Герб! — крикнула жена.

— Я должен ехать туда! — ответил он, надевая пальто.

Что-то бережно, мягко коснулось двери снаружи.

Все вздрогнули, выпрямились.

— Кто это? — спросила жена Герба.

Снова что-то тихо коснулось двери снаружи.

Томпсон поспешно пересек холл, вдруг остановился.

Снаружи донесся чуть слышный смех.

— Чтоб мне провалиться, — сказал Герб.

С внезапным чувством приятного облегчения он взялся за дверную ручку.

— Этот смех я везде узнаю. Это же Аллин. Приехал все-таки, сам приехал. Не мог дожждаться утра, не терпится рассказать мне свои басни. — Томпсон чуть улыбнулся. — Наверно, друзей привез. Похоже, их там много...

Он отворил наружную дверь.

На крыльце не было ни души.

Но Томпсон не опешил. На его лице появилось озорное, лукавое выражение, он рассмеялся.

— Аллин? Брось свои штуки! Где ты? — Он включил наружное освещение, посмотрел налево, направо. — Аллин! Выходи!

Прямо в лицо ему подул ветер.

Томпсон минуту постоял, вдруг ему стало очень холодно. Он вышел на крыльцо. Тревожно и испытующе поглядел вокруг.

Порыв ветра подхватил, дернул полы его пальто, растрепал волосы. И ему почудилось, что он опять слышит смех. Ветер обогнул дом, внезапно давление воздуха стало невыносимым, но шквал длился всего мгновение, ветер тут же умчался дальше.

Он улетел, прошелестев в высоких кронах, понесся прочь, возвращаясь к морю, к Целебесу, к Берегу Слоновой Кости, Суматре, мысу Горн, к Корнуоллу и Филиппинам. Все тише, тише, тише...

Томпсон стоял на месте, оцепенев. Потом вошел в дом, затворил дверь и прислонился к ней — неподвижный, глаза закрыты.

— В чем дело? — спросила жена.

УСНУВШИЙ В АРМАГЕДДОНЕ

Никто не хочет смерти, никто не ждет ее. Просто что-то срывает не так, ракета поворачивается боком, астероид стремительно надвигается, закрываешь руками глаза — чернота, движение, носовые двигатели неудержимо тянут вперед, отчаянно хочется жить — и некуда податься.

Какое-то мгновение он стоял среди обломков...

Мрак. Во мраке неощутимая боль. В боли — кошмар.

Он не потерял сознания.

«Твое имя?» — спросили невидимые голоса. «Сейл, — ответил он, крутясь в водовороте тошноты, — Леонард Сейл». — «Кто ты?» — закричали голоса. «Космонавт!» — крикнул он, один в ночи. «Добро пожаловать», -сказали голоса. «Добро... добро...». И замерли.

Он поднялся, обломки рухнули к его ногам, как смятая, порванная одежда.

Взошло солнце, и наступило утро.

Сейл протиснулся сквозь узкое отверстие шлюза и вдохнул воздух. Везет. Просто везет. Воздух пригоден для дыхания. Продуктов хватит на два месяца. Прекрасно, прекрасно! И это тоже! — Он ткнул пальцем в обломки. — Чудо из чудес! Радиоаппаратура не пострадала.

Он отстучал ключом: «Врезался в астероид 787. Сейл. Пришлите помощь. Сейл. Пришлите помощь». Ответ не заставил себя ждать: «Хелло, Сейл. Говорит Адаме из Марсопорта. Посылаем спасательный корабль «Логарифм». Прибудет на астероид 787 через шесть дней. Держись».

Сейл едва не пустился в пляс.

До чего все просто. Попал в аварию. Жив. Еда есть. Радировал о помощи. Помощь придет. Ля-ля-ля! Он захопал в ладоши.

Солнце поднялось, и стало тепло. Он не ощущал страха смерти. Шесть дней пролетят незаметно. Он будет есть, он будет спать. Он огляделся вокруг. Опасных животных не видно, кислорода достаточно. Чего еще желать? Разве что свинины с бобами. Приятный запах разлился в воздухе.

Позавтракав, он выкурил сигарету, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. Радостно покачал головой. Что за жизнь. Ни царапины. Повезло. Здорово повезло.

Он клюнул носом. Спать, подумал он. Неплохая идея. Вздремнуть после еды. Времени сколько угодно. Спокойно. Шесть долгих, роскошных дней ничегонеделания и философствования. Спать.

Он растянулся на земле, положил голову на руку и закрыл глаза.

И в него вошло, им овладело безумие «Спи, спи, о спи, — говорили голоса. — А-а, спи, спи» Он открыл глаза. Голоса исчезли. Все было в порядке. Он передернулся, покрепче закрыл глаза и устроился поудобнее.

«Ээээээээ», -пели голоса далеко-далеко.

«Ааааааах», -пели голоса.

«Спи, спи, спи, спи, спи», -пели голоса.

«Умри, умри, умри, умри, умри», -пели голоса.

«Ооооооо!» — кричали голоса.

«Ммммммммм», -жужжала в его мозгу пчела.

Он сел. Он затряс головой. Он зажал уши руками. Прищурившись, поглядел на разбитый корабль. Твердый металл. Кончиками пальцев нащупал под собой крепкий камень. Увидел на голубом небосводе настоящее солнце, которое дает тепло.

«Попробуем уснуть на спине», -подумал он и снова улегся. На запястье тикали часы. В венах пульсировала горячая кровь.

«Спи, спи, спи, спи», -пели голоса.

«Ооооооох», -пели голоса.

«Ааааааах», -пели голоса.

«Умри, умри, умри, умри, умри. Спи, спи, умри, спи, умри, спи, умри! Оохх, Аахх, Эээээээ!» Кровь стучала в ушах, словно шум нарастающего ветра.

«Мой, мой, — сказал голос. — Мой, мой, он мой!»

«Нет, мой, мой, — сказал другой голос. — Нет, мой, мой, он мой!»

«Нет, наш, наш, — пропели десять голосов. — Наш, наш, он наш!»

Его пальцы скрючились, скулы свело спазмой, веки начали вздрагивать.

«Наконец-то, наконец-то, — пел высокий голос. — Теперь, теперь. Долгое-долгое ожидание. Кончилось, кончилось, — пел высокий голос. — Кончилось, наконец-то кончилось!»

Словно ты в подводном мире. Зеленые песни, зеленые видения, зеленое время. Голоса булькают и тонут в глубинах морского прилива. Где-то вдалеке хоры выводят неразборчивую песнь. Леонард Сейл начал метаться в агонии. «Мой, мой», -кричал громкий голос. «Мой, мой», -визжал другой. «Наш, наш», - визжал хор.

Грохот металла, звон мечей, стычка, битва, борьба, война. Все взрывается, его мозг разбрызгивается на тысячи капель.

«Эээээээ!»

Он вскочил на ноги с пронзительным воплем. В глазах у него все расплавилось и поплыло. Раздался голос: «Я Тилле из Раталара. Гордый Тилле, Тилле Кровавого Могильного Холма и Барабана Смерти. Тилле из Раталара, Убийца Людей!»

Потом другой: «Я Иорр из Вендилло, Мудрый Иорр, Истребитель Неверных!»

«А мы воины, — пел хор, — мы сталь, мы воины, мы красная кровь, что течет, красная кровь, что бежит, красная кровь, что дымится на солнце».

Леонард Сейл шатался, будто под тяжким грузом. «Убирайтесь! — кричал он. — Оставьте меня, ради бога, оставьте меня!»

«Ииииии», -визжал высокий звук, словно металл по металлу.

Молчание.

Он стоял, обливаясь потом. Его била такая сильная дрожь, что он с трудом держался на ногах. Сошел с ума, подумал он. Совершенно спятил. Буйное помешательство. Сумасшествие.

Он разорвал мешок с продовольствием и достал химический пакет.

Через мгновение был готов горячий кофе. Он захлебывался им, ручейки текли по небу. Его бил озноб.

Он хватал воздух большими глотками.

Будем рассуждать логично, сказал он себе, тяжело опустившись на землю; кофе обжег ему язык. Никаких признаков сумасшествия в его семье за последние двести лет не было. Все здоровы, вполне уравновешенны. И теперь никаких поводов для безумия. Шок? Глупости. Никакого шока. Меня спасут через шесть дней. Какой может быть шок, раз нет опасности? Обычный астероид. Место самое-самое обыкновенное. Никаких поводов для безумия нет. Я здоров.

«Ии?» — крикнул в нем тоненький металлический голосок. Эхо. Замирающее эхо, «Да! — закричал он, стукнув кулаком о кулак. — Я здоров!»

«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Где-то заухал смех. Он обернулся. «Заткнись, ты!» — взревел он. «Мы ничего не говорили», -сказали горы. «Мы ничего не говорили», -сказало небо. «Мы ничего не говорили», -сказали обломки.

«Ну, ну, хорошо, — сказал он неуверенно. — Понимаю, что не вы».

Все шло как положено.

Камешки постепенно накалялись. Небо было большое и синее. Он поглядел на свои пальцы и увидел, как солнце горит в каждом черном волоске. Он поглядел на свои башмаки, покрытые пылью, и внезапно почувствовал себя очень счастливым оттого, что принял решение. Я не буду спать, подумал он. Раз у меня кошмары, зачем спать? Вот и выход.

Он составил распорядок дня. С девяти утра (а сейчас было именно девять) до двенадцати он будет изучать и осматривать астероид, а потом желтым карандашом писать в блокноте обо всем, что увидит. После этого он откроет банку сардин и съест немного консервированного хлеба с толстым слоем масла. С половины первого до четырех прочтет девять глав из «Войны и мира». Он вытащил книгу из-под обломков и положил ее так, чтобы она была под рукой. У него есть еще книжка стихов Т.С.Элиота. Это чудесно.

Ужин — в полшестого, а потом от шести до десяти он будет слушать радиопередачи с Земли — комиков с их плоскими шутками, и безголосого певца, и выпуски последних новостей, а в полночь передача завершится гимном Объединенных Наций.

А потом?

Ему стало нехорошо.

До рассвета я буду играть в солитер, подумал он. Сяду и стану пить горячий черный кофе и играть в солитер без жульничества, до самого рассвета. «Хо-хо», -подумал он.

«Ты что-то сказал?» — спросил он себя.

«Я сказал: «Хо-хо», -ответил он. — Рано или поздно ты должен будешь уснуть».

«У меня сна — ни в одном глазу», -сказал он.

«Лжец», -парировал он, наслаждаясь разговором с самим собой.

«Я себя прекрасно чувствую», -сказал он.

«Лицемер», -возразил он себе.

«Я не боюсь ночи, сна и вообще ничего не боюсь», -сказал он.

«Очень забавно», -сказал он.

Он почувствовал себя плохо. Ему захотелось спать. И чем больше он боялся уснуть, тем больше хотел лечь, закрыть глаза и свернуться в клубочек.

«Со всеми удобствами?» — спросил его иронический собеседник.

«Вот сейчас я пойду погулять и осмотрю скалы и геологические обнажения и буду думать о том, как хорошо быть живым», -сказал он.

«О господи! — вскричал собеседник. — Тоже мне Уильям Сароян!»

Все так и будет, подумал он, может быть, один день, может быть, одну ночь, а как насчет следующей ночи и следующей? Сможешь ты бодрствовать все это время, все шесть ночей? Пока не придет спасательный корабль? Хватит у тебя порохи, хватит у тебя силы?

Ответа не было.

Чего ты боишься? Я не знаю. Этих голосов. Этих звуков. Но ведь они не могут повредить тебе, не так ли?

Могут. Когда-нибудь с ними придется столкнуться... А нужно ли? Возьми себя в руки, старина. Стисни зубы, и вся эта чертовщина сгинет.

Он сидел на жесткой земле и чувствовал себя так, словно плакал навзрыд. Он чувствовал себя так, как если бы жизнь была кончена и он вступал в новый и неизведанный мир. Это было как в теплый, солнечный, но обманчивый день, когда чувствуешь себя хорошо, — в такой день можно или ловить рыбу, или рвать цветы, или целовать женщину, или еще что-нибудь делать. Но что ждет тебя в разгар чудесного дня?

Смерть.

Ну, вряд ли это.

Смерть, настаивал он.

Он лег и закрыл глаза. Он устал от этой путаницы. Отлично подумал он, если ты смерть, приходи и забери меня. Я хочу понять, что означает эта дьявольская чепуха.

И смерть пришла.

«Ээээээ», -сказал голос.

«Да, я это понимаю, — сказал Леонард Сейл. — Ну, а что еще?»

«Ааааааах», -произнес голос.

«И это я понимаю», -раздраженно ответил Леонард Сейл. Он похолодел. Его рот искривила дикая гримаса.

«Я — Тилле из Раталара, Убийца Людей!»

«Я — Иорр из Вендилло, Истребитель Неверных!»

«Что это за планета?» — спросил Леонард Сейл, пытаясь побороть страх.

«Когда-то она была могучей», -ответил Тилле из Раталара.

«Когда-то место битв», -ответил Иорр из Вендилло.

«Теперь мертвая», -сказал Тилле.

«Теперь безмолвная», -сказал Иорр.

«Но вот пришел ты», -сказал Тилле.

«Чтобы снова дать нам жизнь», -сказал Иорр.

«Вы умерли, — сказал Леонард Сейл, весь корчащаяся плоть. — Вы ничто, вы просто ветер».

«Мы будем жить с твоей помощью».

«И сражаться благодаря тебе».

«Так вот в чем дело, — подумал Леонард Сейл. — Я должен стать полем боя, так?... А вы — друзья?»

«Враги!» — закричал Иорр.

«Лютые враги.!» — закричал Тилле.

Леонард страдальчески улыбнулся. Ему было очень плохо. «Сколько же вы ждали?» — спросил он.

«А сколько длится время?»

«Десять тысяч лет?»

«Может быть».

«Десять миллионов лет?»

«Возможно».

«Кто вы? — спросил он. — Мысли, духи, призраки?»

«Все это и даже больше».

«Разумы?»

«Вот именно».

«Как вам удалось выжить?»

«Эээээээ», -пел хор далеко-далеко.

«Ааааааах», -пела другая армия в ожидании битвы.

«Когда-то это была плодородная страна, богатая планета. На ней жили два народа, две сильные нации, а во главе их стояли два сильных человека. Я, Иорр, и он, тот, что зовет себя Тилле. И планета пришла в упадок, и наступило небытие. Народы и армии все слабели и слабели в ходе великой войны, длившейся пять тысяч лет. Мы долго жили и долго любили, пили много, спали много и много сражались. И когда планета умерла, наши тела ссохлись, и только со временем наука помогла нам выжить».

«Выжить, — удивился Леонард Сейл. — Но от вас ничего не осталось».

«Наш разум, глупец, наш разум! Чего стоит тело без разума?»

«А разум без тела? — рассмеялся Леонард Сейл. — Я нашел вас здесь. Признайтесь, это я нашел вас!»

«Точно, — сказал резкий голос. — Одно бесполезно без другого. Но выжить — это и значит выжить, пусть даже бессознательно. С помощью науки, с помощью чуда разум наших народов выжил».

«Только разум — без чувства, без глаз, без ушей, без осязания, обоняния и прочих ощущений?»

«Да, без всего этого. Мы были просто нереальностью, паром. Долгое время. До сегодняшнего дня».

«А теперь появился я», -подумал Леонард Сейл.

«Ты пришел, — сказал голос, — чтобы дать нашему уму физическую оболочку. Дать нам наше желанное тело».

«Ведь я только один», -подумал Сейл.

«И тем не менее ты нам нужен».

«Но я — личность. Я возмущен вашим вторжением».

«Он возмущен нашим вторжением. Ты слышал его, Иорр? Он возмущен!»

«Как будто он имеет право возмущаться!»

«Осторожнее, — предупредил Сейл. — Я моргну глазом, и вы пропадете, призраки! Я пробужусь и сотру вас в порошок!»

«Но когда-нибудь тебе придется снова уснуть! — закричал Иорр. — И когда это произойдет, мы будем здесь, ждать, ждать, ждать. Тебя».

«Чего вы хотите?»

«Плотности. Массы. Снова ощущений».

«Но ведь моего тела не хватает на вас обоих».

«Мы будем сражаться друг с другом».

Раскаленный обруч сдавил его голову. Будто в мозг между двумя полушариями вгоняли гвоздь.

Теперь все стало до ужаса ясным. Страшно, блистательно ясным. Он был их вселенной. Мир его мыслей, его мозг, его череп поделен на два лагеря, один — Иорра, другой — Тилле. Они используют его!

Взвились знамена под рдеющим небом его мозга. В бронзовых щитах блеснуло солнце. Двинулись серые звери и понеслись в сверкающих волнах плюмажей, труб и мечей.

«Ээээээ!» Стремительный натиск.

«Ааааааах!» Рев.

«Наууууу!» Вихрь.

«Ммммммммммммммммммммм...»

Десять тысяч человек столкнулись на маленькой невидимой площадке. Десять тысяч человек понеслись по блестящей внутренней поверхности глазного яблока. Десять тысяч копий засвистели между костями его черепа. Выпалили десять тысяч изукрашенных орудий. Десять тысяч голосов запели в его ушах. Теперь его тело было расколото и растянато, оно тряслось и вертелось, оно визжало и корчилось, черепные кости вот-вот разлетятся на куски. Бормотание, вопли, как будто через равнины разума и континент костного мозга, через лощины вен, по холмам артерий, через реки меланхолии идет армия за армией, одна армия, две армии, мечи сверкают на солнце, скрещаясь друг с другом, пятьдесят тысяч умов, нуждающихся в нем, использующих его, хватают, скребут, режут. Через миг — страшное столкновение, одна армия на другую, бросок, кровь, грохот, неистовство, смерть, безумство!

Как цимбалы звенят столкнувшиеся армии!

Охваченный бредом, он вскочил на ноги и понесся в пустыню. Он бежал и бежал и не мог остановиться.

Он сел и зарыдал. Он рыдал до тех пор, пока не заболели легкие. Он рыдал безутешно и долго. Слезы сбежали по его щекам и капали на растопыренные дрожащие пальцы. «Боже, боже, помоги мне, о боже, помоги мне», -повторял он.

Все снова было в порядке.

Было четыре часа пополудни. Солнце палило скалы. Через некоторое время он приготовил и съел бисквиты с клубничным джемом. Потом, как в забытьи, стараясь не думать, вытер запачканные руки о рубашку.

По крайней мере, я знаю, с кем имею дело, подумал он. О господи, что за мир! Каким простодушным он кажется на первый взгляд, и какой он чудовищный на самом деле! Хорошо, что никто до сих пор его не посещал. А может, кто-то здесь был? Он покачал головой, полной боли. Им можно только посочувствовать, тем, кто разбился здесь раньше, если только они действительно были. Теплое солнце, крепкие скалы, и никаких признаков враждебности. Прекрасный мир.

До тех пор, пока не закроешь глаза и не забудешься. А потом ночь, и голоса, и безумие, и смерть на неслышных ногах.

«Однако я уже вполне в норме, — сказал он гордо. — Вот посмотри», - и вытянул руку. Подчиненная величайшему усилию воли, она больше не дрожала. «Я тебе покажу, кто здесь правитель, черт возьми! - пригрозил он безвинному небу. — Это я». — И постучал себя в грудь.

Подумать только, что мысль может прожить так долго! Наверно, миллион лет все эти мысли о смерти, смутах, завоеваниях таились в безвредной на первый взгляд, но ядовитой атмосфере планеты и ждали живого человека, чтобы он стал сосудом для проявления их бессмысленной злобы.

Теперь, когда он почувствовал себя лучше, все это казалось глупостью. Все, что мне нужно, думал он, это продержаться шесть суток без сна. Тогда они не смогут так мучить меня. Когда я бодрствую, я хозяин положения. Я сильнее, чем эти сумасшедшие военачальники с их идиотскими ордами трубачей и носителей мечей и щитов.

«Но выдержу ли я? — усомнился он. — Целых шесть ночей? Не спать? Нет, я не буду спать. У меня есть кофе, и таблетки, и книги, и карты. Но я уже сейчас устал, так устал, — думал он. — Продержусь ли я?»

Ну а если нет... Тогда пистолет всегда под рукой.

Интересно, куда денутся эти дурацкие монархи, если пустить пулю на помост, где они выступают? На помост, который — весь их мир. Нет. Ты, Леонард Сейл, слишком маленький помост. А они слишком мелкие актеры. А что если пустить пулю из-за кулис, разрушив декорации занавес, зрительный зал? Уничтожить помост, всех, кто неосторожно попадет на пути!

Прежде всего снова радировать в Марсопорт. Если найдут возможность прислать спасательный корабль поскорее, может быть, удастся продержаться. Во всяком случае, надо предупредить их, что это за планета; такое невинное с виду место в действительности не что иное, как обиталище кошмаров и дикого бреда.

Минуту он стучал ключом, стиснув зубы. Радио безмолвствовало.

Оно послало призыв о помощи, приняло ответ и потом умолкло навсегда.

«Какая насмешка, — подумал он. — Остается одно — составить план».

Так он и сделал. Он достал свой желтый карандаш и набросал шестидневный план спасения.

«Этой ночью, — писал он, — прочесть еще шесть глав «Войны и мира». В четыре утра выпить горячего черного кофе. В четверть пятого вынуть колоду карт и сыграть десять партий в солитер. Это займет время до половины седьмого, затем еще кофе. В семь послушать первые утренние передачи с Земли, если приемник вообще работает. Работает ли?»

Он проверил работу приемника. Тот молчал.

«Хорошо, — написал он, — от семи до восьми петь все песни, какие знаешь, развлекать самого себя. От восьми до девяти думать об Элен Кинг. Вспомнить Элен. Нет, думать об Элен прямо сейчас».

Он подчеркнул это карандашом.

Остальные дни были расписаны по минутам. Он проверил медицинскую сумку. Там лежало несколько пакетиков с таблетками, — которые помогут не спать. Каждый час по одной таблетке все эти шесть суток. Он почувствовал себя вполне уверенным. «Ваше здоровье, Иорр, Тилле!» Он проглотил одну из возбуждающих таблеток и запил ее глотком обжигающего черного кофе.

Итак, одно следовало за другим, был Толстой, был Бальзак, ромовый джин, кофе, таблетки, прогулки, снова Толстой, снова Бальзак, опять ромовый джин, снова солитер. Первый день прошел так же, как второй, а за ним третий.

На четвертый день он тихо лежал в тени скалы, считая до тысячи пятерками, потом десятками, только чтобы загрузить чем-нибудь ум и заставить его бодрствовать. Глаза его так устали, что он вынужден был часто промывать их холодной водой. Читать он не мог, голова разламывалась от боли. Он был так изнурен, что уже не мог и двигаться. Лекарства привели его в состояние оцепенения. Он напоминал бодрствующую восковую фигуру. Глаза его остекленели, язык стал похож на заржавленное острие пики, а пальцы словно обросли мехом и ошетинились иглами.

Он следил за стрелкой часов. Еще секундой меньше, думал он. Две секунды, три секунды, четыре, пять, десять, тридцать секунд. Целая минута. Теперь уже на целый час меньше осталось ждать. О корабль, поспеши же к назначенной цели!

Он тихо засмеялся.

А что случится, если он бросит все и уплывет в сон? Спать, спать, быть может, грезить. Весь мир — помост. Что, если он сдастся в неравной борьбе и падет?

«Иииииии», -высокий, пронзительный, грозный звук разящего металла.

Он содрогнулся. Язык шевельнулся в сухом, шершавом рту.

Иорр и Тилле снова начнут свои стародавние распри.

Леонард Сейл совсем сойдет с ума.

И победитель овладеет останками этого безумца — трясущимся, хохочущим диким телом — и пошлет его скитаться по лицу планеты на десять, двадцать лет, а сам надменно расположится в нем и будет творить суд, и отправлять на казнь величественным жестом, и навещать души невидимых танцовщиц. А самого Леонарда Сейла, то, что от него останется, отведут в какую-нибудь потаенную пещеру, где он пробудет двадцать безумных лет, кишаций червями и войнами, насилуемый древними диковинными мыслями.

Когда придет спасательный корабль, он не найдет ничего. Сейла спрячет ликующая армия, сидящая в его голове. Спрячет где-нибудь в расщелине, и Сейл станет гнездом, в котором какой-нибудь Иорр будет высиживать свои гнусные планы. Эта мысль едва не убила его.

Двадцать лет безумия. Двадцать лет пыток, двадцать лет, заполненных делами, которые ты не хочешь делать. Двадцать лет бушующих войн, двадцать лет тошноты и дрожи.

Голова его упала на колени. Веки со скрежетом разомкнулись и с легким шумом закрылись. Барабанная перепонка устало хлопнула.

«Спи, спи», -запели слабые голоса.

«У меня... у меня есть к вам предложение, — подумал Леонард Сейл. — Слушайте, ты, Иорр, и ты, Тилле! Иорр, ты, и ты тоже, Тилле! Иорр, ты можешь владеть мной по понедельникам, средам и пятницам. Тилле, ты будешь сменять его по воскресеньям, вторникам и субботам. В четверг я выходной. Согласны?»

«Эээээээ», -пели морские приливы, кипя в его мозгу.

«Ооооооооо», -мягко-мягко пели отдаленные голоса.

«Что вы скажете? Поладим на этом, Иорр, Тилле?»

«Нет!» — ответил один голос.

«Нет!» — сказал другой.

«Жадюги, оба вы жадюги! — жалобно вскричал Сейл. — Чума на оба ваших дома!»

Он спал.

Он был Иорром, и драгоценные кольца сверкали на его руках. Он появился у ракеты и выставил вперед руку, направляя слепые армии. Он был Иорром, древним предводителем воинов, украшенных драгоценными камнями.

И он был Тилле, любимцем женщин, убийцей собак!

Почти бессознательно его рука потянулась к кобуре у бедра. Спящая рука вытащила пистолет. Рука поднялась, пистолет прицелился. Армии Тилле и Иорра вступили в бой.

Пистолет выстрелил.

Пуля оцарапала лоб Сейла и разбудила его.

Выбравшись из осады, он не спал следующие шесть часов. Теперь он знал, что это безнадежно. Он промыл и перевязал рану. Он пожалел, что не прицелился точнее, тогда все было бы уже кончено. Он взглянул на небо. Еще два дня. Еще два. Торопись, корабль, торопись. Он оступел от бессонницы.

Бесполезно. К концу этого срока он уже вовсю бредил. Он поднял пистолет, и положил его, и поднял снова, приложил к голове, нажал было пальцем на спусковой крючок, передумал, снова посмотрел на небо.

Наступила ночь. Он попытался читать, но отбросил книгу прочь. Разорвал ее и сжег, просто чтобы чем-нибудь заняться.

Как он устал! Через час, решил он.

«Если ничего не случится, я убью себя. Теперь серьезно. На этот раз не струшу». Он приготовил пистолет и положил его на землю рядом с собой.

Теперь он был очень спокоен, хотя и ужасно измучен. С этим будет покончено.

В небе показалось пламя.

Это было так не правдоподобно, что он заплакал.

«Ракета», -сказал он, вставая. «Ракета!» — закричал он, протирая глаза, и побежал вперед.

Пламя становилось все ярче, росло, опускалось.

Он бешено размахивал руками, спеша вперед, бросив пистолет, и припасы, и все.

«Вы видите это, Иорр, Тилле! Дикари, чудовища, я вас одолел! Я победил! За мной пришли! Я победил, черт бы вас побрал».

Он злорадно усмехнулся, поглядев на скалы, небо, на собственные руки.

Ракета села. Леонард Сейл, качаясь, ждал, когда откроется дверь.

«Прощай, Иорр, прощай, Тилле!» — ухмыляясь, с горящими глазами, победно закричал он.

«Ээээээ», -затих вдалеке рев.

— Шок. Бедный малый. Какая жалость. — Они закрыли ему лицо. — Ты когда-нибудь видел подобное лицо?

— Абсолютно безумное.

— Одиночество. Шок.

— Да. Боже, что за выражение! Не хотел бы я когда-нибудь еще увидеть такое лицо.

— Какая беда, ждал нас, и мы прибыли, а он все равно умер.

Они огляделись вокруг.

— Что будем делать? Переночуем здесь?

— Да. И хорошо бы не в корабле.

— Сначала похороним его, конечно.

— Само собой, — И будем спать на свежем воздухе, ладно? Хорошо снова поспать на свежем воздухе.

После двух недель в этом проклятом корабле.

— Давай. Я подыщу для него место. А ты готовь ужин, идет?

— Идет.

— Хорошо поспим сегодня.

— Отлично, отлично.

Они выкопали могилу, прочитали молитву. Потом молча выпили по чашке вечернего кофе. Они вдыхали сладкий воздух планеты и смотрели на чудесное небо и яркие и прекрасные звезды.

— Какая ночь! — сказали они, укладываясь.

— Приятных сновидений, — сказал один, поворачиваясь.

И другой ответил:

— Приятных сновидений.

Они заснули.

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА ДАДЛИ СТОУНА

— Жив!

— Умер!

— Живет в Новой Англии, черт возьми!

— Умер двадцать лет назад!

— Пустите-ка шапку по кругу, и я сам доставлю вам его голову!

Вот такой разговор произошел однажды вечером. Завел его какой-то незнакомец, с важным видом он изрек, будто Дадли Стоун умер. «Жив!» воскликнули мы. Уж нам ли этого не знать! Не мы ли последние могикане, последние из тех, кто в двадцатые годы курил ему фимиам и читал его книги при свете пламенеющего, исполнившего обеты разума?

Тот самый Дадли Стоун. Блистательный стилист, самый величественный из всех литературных львов. Вы помните, конечно, как вас ошеломило, сбilo с ног, как затрубили трубы судьбы, когда он написал своим издателям вот эту записку:

Господа, сегодня, в возрасте тридцати лет, я покидаю свое поприще, расстаюсь с пером, сжигаю все, что создал, выбрасываю на свалку свою последнюю рукопись. На том привет и прости — прощай.

Искрение Ваш Дадли Стоун.

Гром среди ясного неба.

Шли годы, а мы при каждой встрече опять и опять спрашивали друг друга:

— Почему?

Совсем как в рекламной радиопередаче, мы обсуждали на все лады, что же заставило его махнуть рукой на писательские лавры — женщины? Или вино? А может его просто обскакали и вынудили прекрасного иноходца сойти с круга в самом рассвете сил?

Мы уверяли всех и каждого, что, продолжай Стоун писать, перед ним померкли бы и Фолкнер, и Хемингуэй, и Стейнбек. Тем печальнее, что на подступах к величайшему своему творению писатель вдруг отвернулся от него и поселился в городе, который мы назовем Безвестность, на берегу моря, самое верное название которому — Былое.

Почему?

Это так и осталось загадкой для всех нас, кто различал проблески гения в пестрых страницах, вышедших из под его пера.

И вот несколько недель назад, однажды вечером, поглядев друг на друга, мы задумались над безжалостной работой времени, над тем, что лица у всех у нас все больше обмякают и все заметнее редеют волосы, и вдруг нас взбесило, что нынешняя публика ровным счетом ничего не знает о Дадли Стоуне.

«Томас Вульф, — ворчали мы, — прежде чем ухнуть в пучину вечности по крайней мере всю наслаждался успехом. И по крайней мере критики толпой глядели ему в след, точно огненному метеору, прорезавшему тьму.

А кто нынче помнит Дадли Стоуна, кто помнит кружки, что собирались вокруг него в двадцатые годы, неистовство его последователей?»

— Шапку по кругу, — сказал я. — Я скатаю за триста миль, ухвачу Дадли Стоуна за шиворот и скажу ему: «Послушайте, мистер Стоун, что же это вы нас так подвели? Почему за двадцать пять лет не удосужились написать ни одной книги?»

В шапку накидали звонкой монеты, я отправил телеграмму и сел в поезд.

Сам не знаю, чего я ожидал. Быть может, что на станции меня встретит высохшая мумия, бледная тень, дряхлый старец на неверных ногах, с еле слышным, будто шелест осенних трав на ночном ветру, голосом. И когда поезд, пыхтя, подкатил к платформе, я внутренне сжался от тоскливого предчувствия. Сумасбродный простофиля, я сошел на безлюдной захолустной станции, в миле от моря, не понимая, чего ради меня сюда занесло.

Доска у железнодорожной кассы заросла толстым слоем всевозможных объявлений, их видно, из года в год наклеивали или набивали одно на другое. Сняв несколько геологических пластов печатного текста, я наконец нашел то, что мне было нужно. Дадли Стоун — кандидат в члены Совета округа, в шерифы, в мэры! Его фотографии, выцветшие от солнца и дождя бюллетени, на которых он был почти не узнаваем, сообщали о том, что он год от году добивался в этом приморском краю все более ответственных постов. Я стоял и читал.

— Привет! — донеслось до меня откуда-то сзади. — Это вы и есть мистер Дуглас?

Я круто обернулся. Прямо на меня по платформе мчался человек великолепного сложения, крупный, но ничуть не толстый, ноги у него работали как могучие рычаги, в лацкане пиджака — яркий цветок, на шее — яркий галстук. Он стиснул мою руку и поглядел на меня с высоты своего роста, точно микеланджеловский Создатель, своим властным прикосновением сотворивший Адама. Лицо его было точно лики южных и северных ветров на старинных мореходных картах, что грозят зноем и холодом. Такое пышущее жаром жизни лицо — символ солнца — встречаешь в египетской каменной резьбе.

«Надо же, — подумал я. — И этот человек за двадцать с лишним лет не написал ни строчки? Не может быть! Он такой живой, прямо до неприличия. Я, кажется, слышу, как мерно бьется его сердце».

Должно быть, я преглупо вытаращил глаза, ошарашенный этим зрелищем.

— Признайтесь, — со смехом сказал он, — вы ожидали встретить привидение?

— Я...

— Жена накормит нас тушеным мясом с овощами, и у нас в досталь эля и крепкого портера. Люблю звучание этих слов. Приятно слышать такие слова. От слов этих веет здоровьем, румянцем во всю щеку. Крепкий портер!

На животе у него подскакивали массивные золотые часы на сверкающей цепочке. Он сжал мой локоть и потащил меня за собой — чародей, влекущий в свое логово незадачливого простофилю.

— Рад познакомиться. Вы, наверное, приехали, чтобы задать мне все тот же вопрос, а? Что же, не вы первый. Ну, на этот раз я все выложу!

Сердце мое так и подпрыгнуло.

— Замечательно!

За безлюдной станцией ждал открытый «форд» выпуска 1927 года.

— Свежий воздух. Когда едешь вот так в сумерках, все поля, травы, цветы — все вливается в тебя вместе с ветром. Надеюсь, вы не из тех, кто только и делает, что закрывает окна! Наш дом — как вершина Столовой горы. Комнаты у нас подметает ветер. Залезайте.

Десять минут спустя мы свернули с большака на дорогу, которую уже многие годы не выравнивали и не утрамбовывали. Стоун вел машину прямо по выбоинам и ухабам, с лица его не сходила улыбка. Бац! Последние несколько ярдов нас трясло во всю, но вот наконец мы подкатили к запущенному, некрашеному деревянному дому. «Форд» тяжело вздохнул и затих.

— Хотите знать правду? — Стоун обернулся, крепко ухватил меня за плечо, заглянул в глаза. — Ровно двадцать пять лет назад один человек пристрелил меня из револьвера.

И он выскочил из машины. Я оторопело уставился на него. Он был как каменная глыба, отнюдь не привидение, и, однако, я понял: в словах, что он бросил мне, перед тем как пулей устремиться в дом, есть какая-то правда.

— Это моя жена, это наш дом, а вот и ужин! Взгляните, каков вид! Окна гостиной выходят на три стороны — на море, на берег и на луга. Мы их никогда не закрываем, только зимой. Среди лета к нам сюда доносится запах цветущей липы, вот честное слово, а в декабре веет Антарктикой — нашатырным спиртом и мороженым. Садитесь! Лена, ведь правда приятно, что он приехал?

— Надеюсь, вы любите тушеное мясо с овощами, — сказала Лена. Рослая, крепко сбитая, она ловко управлялась с добротной, массивной посудой, которую не разбил бы кулаком и великан, и озаряла стол ярче всякой лампы; лицо ее, точно ясное солнышко, так и светилось доброжелательством. Ножи в этом доме были под стать львиным зубам. Над столом поднялось облако аппетитнейшего пара и повлекло нас, ликующих чревоугодников, напрямиком в ад. Тарелка моя наполнялась трижды, и раз от разу я чувствовал, что сыт, сыт по горло и, наконец, по самые уши. Дадли Стоун налил мне пива, которое, по его словам, сам сварил из моливших о пощаде черных гроздьев дикого винограда. А потом он взял бутылку, в которой не осталось уже ни капли вина, и, дую в зеленое стеклянное горлышко, быстро извлек из нее нехитрую мелодийку.

— Ну ладно, довольно я вас томил, — сказал он, вглядываясь в меня из той дали, которая разъединяет людей еще больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им самой близостью. — Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кенделла?

— Второсортный писатель, который подвизался в двадцатые годы? — сказал я. — У него было несколько книг. Выдохся к тридцать первому году. Умер на прошлой неделе.

— Мир праху его. — На мгновение, как и подобает, мистер Стоун примолк и опечалился, но едва заговорил, печаль как рукой сняло.

— Да. Джон Оутис Кенделл. Выдохся к тысяча девятьсот тридцать первому году. Писатель, который многое обещал.

— Меньше, чем вы, — поспешно вставил я.

— Ну-ну, не торопитесь. Мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах, тень одного и того же дуба падала на мой дом утром, а на его вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет, обоим нам завиделся волшебный свет в белокурых волосах одной и той же девчушки, и нам еще не исполнилось двадцати, когда оба мы отправились искать счастья, брать судьбу за бока и набивать себе синяки и шишки. Поначалу у обоих получалось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было шесть, если на меня была одна плохая рецензия, на него десяток. Мы были точно два друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны. Джон Оутис оставался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслед:

«Спаси меня! Ты оставляешь меня в Тэнктауне, в Огайо, а ведь у нас один путь».

А кондуктор объяснял:

«Путь-то один, да поезда разные!»

И я кричал:

«Я верю в тебя, Джон! Не падай духом, я за тобой вернусь!»

И тормозной вагон все больше отставал, его было уже не разглядеть, только красный и зеленый фонари, точно вишневый и лимонный леденцы, еще светились во тьме, и мы всю душу вкладывали в прощальные крики: «Джон, старина!», «Дадли, дружище!» — и Джон Оутис очутился в полночь на неосвещенной боковой ветке, позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к рассвету.

Дадли Стоун замолчал и тут заметил полнейшее мое недоумение.

— Я не зря все это рассказываю, — сказал он. — Этот самый Джон Оутис в тысяча девятьсот тридцатом году продал кой-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату.

— Он замышлял вас убить?

— Черта с два замышлял. Он меня убил! Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше.

Миссис Стоун подала слоеный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на три огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня, словно кот на сметану.

— Вот тут, на вашем стуле, сидел Джон Оутис. Во дворе у нас в коптильне — семнадцать окороков, в винном погребе — пятьсот бутылок превосходнейшего вина, за окном простор, дивное море во всей красе, в небе луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, у окна напротив — Лена, гибкая ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу, и, не забудьте, обоим нам по тридцать всего-навсего, жизнь наша — чудесная карусель, все нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади, и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчет море или мы сами все, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер.

— Я засмеялась, думала, это такая зажигалка, — вставила миссис Стоун.

— И вдруг Джон Оутис говорит: «Сейчас я убью вас, мистер Стоун» — и я понял, что он не шутит.

— Что же вы сделали?

— Сделал? Я был оглушен, раздавлен Я услышал, как захлопнулась надо мной крышка гроба! Услышал, как с грохотом, точно уголь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой проносится вся жизнь, все твоё прошлое. Чепуха. Ты видишь будущее. Видишь, как лицо твоё превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами и наконец еле-еле выдавишь из себя: «Да что ты, Джон, что я тебе сделал?»

«Что ты мне сделал?» — заорал он.

И окинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на них книг — на каждом корешке, на черном сафьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое имя. «Что сделал?» — ужасным голосом выкрикнул он. И рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку.

«Осторожней, Джон, — сказал я. — Что тебе надо?»

«Только одно, — сказал он. — Убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава. Пускай знают, пока я жив и даже когда умру: я тот, кто убил Дадли Стоуна».

«Ты не сделаешь этого!»

«Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитей, чем теперь, когда ты меня затмил. О, как я люблю твои книги и как ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь. Поразительное раздвоение. Нет, больше я не могу. Писать как ты мне не под силу, так я найду другой путь к славе, полегче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной!»

«Это преувеличение».

«А я думаю, это чистая правда», -сказал он.

Я перевел взгляд на Лену — она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и смешать все карты.

«Спокойно, — сказал я. — Спокойствие. Повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту. Потом спустишь курок».

«Нет», -прошептала Лена.

«Спокойствие», -сказал я ей, себе, Джону Оутису.

Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребке, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого, точно мятой, веют прохладой летние небеса и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу, к рассвету. Подумал о том, что мне только тридцать и Лене тоже и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая, точно спелый плод, только и ждет, чтобы я ею насладился! Я никогда еще не взбирался на горы, не пересекал океана, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа, я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне так хотелось прочесть. Сколько еще предстояло сделать!

В эти молниеносные шестьдесят секунд я подумал наконец и о своей карьере. Обо всех уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать. О рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И, хотите верьте, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов — корабли, на которых не плавал, цветы, которых не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, и надо всем моя Лена — богиня всего этого изобилия. Посредине — опора весов, Джон Оутис Кенделл с его револьвером. А на второй, пустой чаше — мое перо, чернила, чистая бумага, десяток моих книг. Я подбавил туда и сюда еще кой какой мелочи. Шестьдесят секунд истекли. Вечерний ветерок залетел в растворенные окна. Коснулся завитка волос на шее у Лены, о как нежно коснулся, как нежно...

Револьвер был наставлен на меня в упор. Мне случалось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называют Большим угольным мешком, но, поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире.

«Джон, — сказал я наконец, — неужто ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?»

«Да, черт возьми!» — крикнул он.

Как нелепо, что он мне завидовал! Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки — и все переменится.

«Джон, — сказал я спокойно, — если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверно, хочешь. Чтобы я больше не написал ни строчки?»

«Еще как хочу! — крикнул он. — Приготовься!»

И прицелился мне в сердце!

— Ладно, — сказал я, — больше я писать не стану.

— Что?

— Мы с тобой старые друзья, мы никогда не лгали друг другу, верно? Так вот тебе мое слово: никогда больше мое перо не коснется бумаги.

— Ха, ха, — он презрительно и недоверчиво засмеялся.

— Вон там, — я кивнул в сторону письменного стола, — лежат единственные экземпляры двух моих рукописей, я работал над ними последние три года. Одну я сожгу прямо сейчас, на твоих глазах. А другую можешь сам бросить в море. Обыщи весь дом, возьми всю исписанную бумагу до последнего листочка, сожги мои опубликованные книги тоже. Пожалуйста.

Я поднялся. В эту минуту он мог бы меня пристрелить, но мои слова заморозили его. Я швырнул одну рукопись в камин и чикнул спичкой.

«Нет!» — вырвалось у Лены. Я обернулся.

«Я знаю, что делаю», — сказал я.

Она заплакала. Джон Оутис Кенделл смотрел на меня во все глаза, точно околдованный. Я принес ему вторую, еще не опубликованную рукопись.

«Пожалуйста», — сказал я и подsunул рукопись ему под ногу, как под пресс-папье. Потом отошел и сел на свое место. Дул ветерок, вечер был теплый, и сидящая напротив меня Лена была белее яблоневого цвета.

«Отныне я не напишу ни строчки», — сказал я.

К Джону Оутису наконец вернулся дар слова.

«Как же ты можешь?»

«Зато все будут счастливы, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, ведь в конце концов мы снова станем друзьями. И Лена будет счастлива — я ведь опять буду просто ее мужем, а не дрессированным моржом, который пляшет под дудочку своего литературного агента. И сам я тоже буду счастлив — ведь лучше быть живым человеком, чем мертвым писателем. Ну а теперь бери мою последнюю рукопись и ступай отсюда».

Мы сидели здесь втроем, вот как с вами сейчас. Пахло лимоном, липой, камелией. Внизу бился о камни и ревел океан. Чудесная музыка, пронизанная лунным светом. И наконец Джон Оутис подобрал рукопись и понес вон из комнаты, точно мое бездыханное тело. На пороге он остановился и сказал:

«Я тебе верю».

И вышел. Я слышал, как отъехала его машина. Тогда я уложил Лену в постель. Не часто мне случалось на ночь глядя ходить одному по берегу моря, но сейчас я пошел.

Я дышал полной грудью, ощупывая свои руки, ноги, лицо и плакал как малый ребенок; я вошел в воду и с наслаждением ощущал, как холодный соленый прибой пенится у моих ног и обдаёт меня миллионами брызг.

Дадли Стоун примолк. Время в комнате остановилось. Мы все трое точно по волшебству перенеслись в прошлое, в тот год, когда совершилось убийство.

— И он уничтожил ваш последний роман? — спросил я.

Дадли Стоун кивнул.

— Неделю спустя на берег вынесло одну страницу. Он, наверно, швырнул их со скалы, всю тысячу страниц, я так ясно представляю: точно стая белых чаек опустилась на воду, и в глухой предрассветный час ее унесло отливом. Лена бежала по берегу с той единственной страницей в руках и кричала: «Смотри, смотри!» И когда я увидел, что она мне дает, я швырнул листок назад, в океан.

— Неужто вы сдержали слово?

Дадли Стоун посмотрел на меня в упор.

— А как бы вы поступили на моем месте? В сущности, Джон Оутис оказал мне милость. Он не убил меня. Не застрелил. Выслушал. И поверил мне на слово. Оставил меня в живых. Дал мне возможность и дальше есть, спать, дышать. Он в один миг раздвинул мои горизонты. И я был так ему благодарен, что стоял в ту ночь чуть не по пояс в воде и плакал. Да, был благодарен. Понимаете ли вы, что это значит? Благодарен, что он оставил меня в живых, когда одним движением руки мог меня уничтожить.

Миссис Стоун поднялась, ужин был окончен. Она собрала посуду, мы закурили сигары, и Дадли Стоун провел меня в свой кабинет, к столу, на котором громоздились пакеты, кипы газет, бутылки чернил, пишущая машинка, всевозможные документы, гроссбухи, алфавитные указатели.

— Все это уже накипало во мне. Джон Оутис просто снял сверху пену, и я увидел само варево. Все стало ясно — ясней некуда. Писательство было для меня той же горчицей, я писал и черкал с тяжелым сердцем и растревлял себе душу. И уныло смотрел, как алчные критики разделявали меня, разбирали на части, нарезали ломтями, точно колбасу, и за полночь закусывали мной. Грязная работа, куда уж хуже. Я уже и сам был готов махнуть на все рукой. Совсем доспел. И тут — бац! — явился Джон Оутис. Взгляните.

Он порылся на столе и вытащил пачку рекламных листов и предвыборных плакатов.

— Прежде я только писал о жизни. А тут захотел жить. Захотел что-то делать сам, а не писать о том, что делают другие. Решил возглавить местный отдел народного образования — и возглавил. Решил стать членом окружного управления — и стал. Решил стать мэром. И стал. Был шерифом! Был городским библиотекарем! Заправлял городской канализацией. Я был в гуще жизни. Сколько рук пожал, сколько дел переделал. Мы испробовали все на свете и на вкус и на ощупь, чего только не нагладелись, не наслушались, к чему только не приложили рук! Лазили по горам, писали картины, вон кое-что висит на стене! Мы трижды объехали вокруг света. У нас даже вдруг родился сын. Он уже взрослый, женат, живет в Нью-Йорке. Мы жили, действовали. — Стоун помолчал, улыбнулся. — Пойдемте во двор. У нас там телескоп, хотите посмотреть на кольца Сатурна?

Мы стояли во дворе, и нас овеяло ветром, облетевшим всю ширь океана, и, пока мы смотрели в телескоп на звезды, миссис Стоун спустилась в кромешную тьму погреба за редкостным испанским вином.

На следующий день автомобиль промчался по неровной, тряской дороге, от побережья через луга, и в полдень доставил нас на безлюдную станцию. Мистер Дадли Стоун почти не уделял внимания своей машине, он что-то рассказывал, улыбался, смеялся, показывал мне то камень времен неолита, то какой-нибудь полевой цветок и умолк, лишь когда мы подъехали к станции и остановились в ожидании поезда, который должен был меня увести.

— Вы, наверное, считаете меня сумасшедшим, — сказал он, глядя в небо.

— Ничуть не бывало.

— Так вот, — сказал Дадли Стоун, — Джон Оутис Кенделл оказал мне еще одну милость.

— Какую же?

Стоун поудобнее расположился на кожаном, в заплатках сиденье.

— Он помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся. Где-то в глубине души я, должно быть, чувал, что моя литературная слава раздута и может лопнуть как воздушный шар. В подсознании мне ясно рисовалось будущее. Я знал то, чего не знал ни один критик, — что иду уже не к вершине, а под гору. Обе книги, которые уничтожил Джон Оутис, никуда не годились. Они убили бы меня наповал еще поверней, чем Оутис. Он невольно помог мне решиться на то, на что иначе у меня, пожалуй, не хватило бы мужества: изящно откланяться, пока котильон еще не кончился и китайские фонарики еще бросали лестный розовый свет на мой здоровый румянец. Я видел слишком много писателей, видел их взлеты и падения, видел, как они сходили с круга, уязвленные, жалкие, отчаявшиеся. Но, конечно, все это стечение обстоятельств, совпадение, подсознательная уверенность в своей правоте, облегчение и благодарность Джону Оутису Кенделлу за то, что я просто-напросто жив, — все это была по меньшей мере счастливая случайность.

Мы еще немного посидели под ласковым солнцем.

— А потом я объявил о своем уходе со сцены и имел удовольствие видеть, как меня ставят в один ряд с великими. За последнее время очень мало кто из писателей удостоился столь пышных проводов. Преотличные вышли похороны! Я был, что называется, совсем как живой. И это еще долго не смолкало. «Если бы он написал еще одну книгу! — вопили критики. — Вот это была бы книга! Шедевр!» Они задыхались от волнения, ждали. Ничегошеньки они не понимали. Еще и теперь, четверть века спустя, мои читатели, которые в ту пору были студентами, отправляются на допотопных паровичках, дышат нефтяной вонью и перемазываются в саже, лишь бы разгадать тайну — отчего я так долго заставляю ждать этого самого «шедевра». И — спасибо Джону Оутису Кенделлу у меня все еще есть кое-какое имя. Оно тускнеет медленно, безболезненно. На следующий год я сам бы убил себя собственным пером. Куда как лучше отцепить свой тормозной вагон самому, не дожидаясь, когда это сделают за тебя другие.

А Джон Оутис Кенделл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот наконец я хоть кому-то рассказал все как было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому вашему слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас, и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю выцветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи.

Мы стояли с ним на платформе.

— До свидания, спасибо, что приехали и выслушали меня, и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям! А вот и поезд! И мне надо бежать — мы с Леной сегодня после обеда едем по побережью с миссией Красного Креста. Прощайте!

Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний «форд» осевший под его тяжестью, и вот уже нажал могучей ножицей на стартер, мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой повернулся ко мне, помахал рукой — и покатил прочь, к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется Безвестность, на берегу ослепительного моря под названием Былое.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ

Отель напоминал высохшую кость в пустыне. Немилосердно жгло солнце и накаляло крышу. По ночам воспоминания о дневном зное наполняли комнаты, словно запах далекого лесного пожара. И после наступления темноты в отеле долго не зажигали огней, ибо свет означал зной. Обитатели отеля предпочитали в потемках ощупью пробираться по коридорам в тщетных поисках прохлады.

В этот вечер мистер Терль, хозяин отеля, и его единственные постояльцы, мистер Смит и мистер Фермли, — оба словно сухие листья табака, и даже пахли они сухим табаком, — засиделись на длинной веранде, опоясывающей дом. Раскачиваясь в скрипучих креслах-качалках, они ловили ртами раскаленный воздух и пытались движением качалок всколыхнуть застывший зной.

— Мистер Терль, вот было бы здорово, если бы вы вдруг... как-нибудь... взяли да и купили установку для охлаждения воздуха... Мистер Терль даже не открыл смеженных век. — Откуда мне взять деньги на это? — ответил он наконец после долгой паузы.

Оба постояльца слегка порозовели от стыда — вот уже двадцать лет, как они живут в отеле и ничего не платят мистеру Терлю. Снова воцарилось молчание. Мистер Фермли печально вздохнул. — А почему бы нам всем не махнуть отсюда в какой-нибудь приличный городишко, где нет такой адской жары?

— Найдется ли охотник купить мертвый отель в этом пропащем месте? — ответил мистер Терль. — Нет, останемся здесь и подождем двадцать девятого января.

Скрип качалок смолк.

29 января. Единственный день в году, когда здесь действительно идут дожди.

— В таком случае ждать осталось недолго, — сказал мистер Смит, взглянув на карманные часы, они блеснули на ладони, словно желтая луна. — Еще каких-нибудь два часа и девять минут, и наступит долгожданное двадцать девятое января. А на небе ни облачка.

— Сколько я себя помню, двадцать девятого всегда приходили дожди. — Мистер Терль умолк, сам удивившись, как громко прозвучал его голос. — Если они в этом году и запоздают на денек, я не стану роптать и гневить бога.

Мистер Фермли судорожно проглотил слюну и обвел взглядом пустой горизонт — с востока на запад, до самых дальних гор.

— Интересно, вернется сюда золотая лихорадка?... — Золота здесь больше нет, — ответил мистер Смит. — И что еще хуже, нет дождей. Их не будет ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра. Не будет весь год.

Три старых человека смотрели на яркую, как солнце, луну, которая прожгла дыру в черном пустом небосводе.

Снова медленно, нехотя заскрипели качалки.

* * *

Легкий утренний ветерок зашелестел закурдявившимися от зноя листьями отрывного календаря, который висел на облупившейся стене отеля.

Трое стариков, перекидывая через костлявые плечи подтяжки, босиком спустились вниз и, щурясь от солнца, посмотрели на пустой горизонт.

— Двадцать девятое января...

— Ни единой милосердной капли дождя...

— Все еще впереди, день только начинается.

— У кого впереди, а у кого и позади, — проворчал мистер Фермли и, повернувшись, исчез в доме.

Целых пять минут понадобилось ему, чтобы через путаницу лестниц и коридоров добраться до своей комнаты и раскаленной как печь постели.

В полдень в дверь осторожно просунулась голова мистера Терля.

— Мистер Фермли?...

— Проклятые старые кактусы! Это мы с вами... — произнес мистер Фермли, не поднимая головы с подушки; издали казалось, что его лицо вот-вот рассыплется в сухую пыль, которая осядет на шершавые доски пола. — Но даже кактусам, черт побери, нужна хотя бы капля влаги, чтобы выжить в этом пекле. Заявляю вам, что не встану до тех пор, пока не услышу шум дождя, а не эту дурацкую птичью возню на крыше.

— Молитесь богу и готовьте зонтик, мистер Фермли, — сказал мистер Терль и осторожно на цыпочках вышел.

Под вечер по крыше слабо застучали редкие капли.

Мистер Фермли, не поднимаясь, слабым голосом крикнул в окно:

— Нет, это не дождь, мистер Терль. Я знаю, вы поливаете крышу из садового шланга. Благодарю, но не тратьте понапрасну сил.

Шум на крыше прекратился. Со двора донесся печальный протяжный вздох...

Огибая угол дома, мистер Терль увидел, как оторвался и упал в серую пыль листок календаря.

— Проклятое двадцать девятое января! — услышал он голос сверху. — Еще целых двенадцать месяцев!

* * *

В дверях отеля появился мистер Смит, но спустя мгновение скрылся. Затем он появился снова с двумя помятыми чемоданами в руках. Он со стуком опустил их на пол веранды.

— Мистер Смит! — испуганно вскричал мистер Терль. — После двадцати лет? Вы не можете этого сделать!

— Говорят, в Ирландии весь год идут дожди, — сказал мистер Смит. — Найду там работу. То ли дело бегать весь день под дождем.

— Вы не должны уезжать, мистер Смит! — Мистер Терль лихорадочно искал веские доводы и наконец выпалил: — Вы задолжали мне девять тысяч долларов!

Мистер Смит вздрогнул как от удара, и в глазах его отразились неподдельная боль и обида.

— Простите меня, — растерянно пролепетал мистер Терль и отвернулся. — Я и сам не знаю, что говорю. Послушайтесь моего совета, мистер Смит, поезжайте-ка лучше в Сиэтл. Там каждую неделю выпадает не менее пяти миллиметров осадков. Но, прошу вас, подождите до полуночи. Спадет жара, станет легче. А за ночь вы доберетесь до города.

— Все равно за это время ничего не изменится.

— Не надо терять надежду. Когда все потеряно, остается надежда. Надо всегда во что-то верить. Побудьте со мной, мистер Смит. Можете даже не садиться, просто стойте вот так и думайте, что сейчас придут дожди. Сделайте это для меня, и больше я ни о чем вас не попрошу.

В пустыне внезапно завертелись крохотные пыльные вихри, но тут же исчезли. Мистер Смит обвел взглядом горизонт.

— Если не хотите думать о дождях, думайте о чем угодно. Только думайте.

Мистер Смит застыл рядом со своими выдавшими виды чемоданами. Прошло пять-шесть минут. В мертвой тишине слышалось лишь громкое дыхание двух мужчин.

Затем мистер Смит с решительным видом нагнулся и взялся за ручки чемоданов.

И тут мистер Терль вдруг прищурил глаза, подался вперед и приложил ладонь к уху.

Мистер Смит замер, не выпуская из рук чемоданов.

С гор донесся слабый гул, глухой еле слышный рокот.

— Идет гроза! — свистящим шепотом произнес мистер Терль.

Гул нарастал; у подножия горы появилось облачко.

Мистер Смит весь вытянулся и даже поднялся на носках.

Наверху, словно воскресший из мертвых, приподнялся и сел на постели мистер Фермли.

Глаза мистера Терля жадно вглядывались вдаль. Он держался за деревянную колонну веранды и был похож на капитана судна, которому почудилось, что легкий тропический бриз вдруг откуда-то донес аромат цитрусовых и прохладной белой сердцевины кокосового ореха. Еле заметное дыханье ветерка загудело в воспаленных ноздрях, как ветер в печной трубе.

— Смотрите! — воскликнул он. — Смотрите!

С ближайшего холма катилось вниз облако, отряхивая пыльные крылья, гремя и рокоча. С гор в долину с грохотом, скрежетом и стоном съезжал автомобиль — первый за весь этот месяц автомобиль!

Мистер Терль боялся оглянуться на мистера Смита.

А мистер Смит посмотрел на потолок и подумал в эту минуту о бедном мистере Фермли.

Мистер Фермли выглянул в окно только тогда, когда перед отелем с громким выхлопом остановилась старая разбитая машина. И в том, как в последний раз выстрелил, а затем заглох ее мотор, была какая-то печальная окончательность. Машина, должно быть, шла издали, по раскаленным желто-серым дорогам, через солончаки, ставшие пустыней еще десятки миллионов лет назад, когда отсюда ушел океан. И теперь этот старый, расплзающийся по швам автомобиль выпуска 1924 года, кое-как скрепленный обрывками проволоки, которая торчала отовсюду как щетина на небритой щеке великана, с откинутым брезентовым верхом, — он размяк от жары, как мятный леденец, и прилип к спинке заднего сиденья, словно морщинистое веко гигантского глаза, — этот старый разбитый автомобиль в последний раз вздрогнул и испустил дух.

Старая женщина за рулем терпеливо ждала, поглядывая то на мужчин, то на отель, и словно бы говорила: «Простите, но мой друг тяжело занемог. Мы знакомы с ним очень давно, и теперь я должна проститься с ним и проводить в последний путь». Она сидела неподвижно, словно ждала, когда уймется последняя легкая дрожь, пробежавшая еще по телу автомобиля, и наступит то полное расслабление членов, которое означает неумолимый конец. Потом еще с полминуты женщина оставалась неподвижной, прислушиваясь к умолкшей машине. От незнакомки веяло таким покоем, что мистер Терль и мистер Смит

невольно потянулись к ней. Наконец она взглянула на них с печальной улыбкой и приветственно помахала рукой.

И мистер Фермли, глядевший в окно, даже не заметил, что машет ей в ответ. А мистер Смит подумал: «Странно, ведь это не гроза, а я почему-то не очень огорчен. Почему же?»

А мистер Терль уже спешил к машине.

— Мы думали... мы думали... — Он растерянно умолк. — Меня зовут Терль, Джо Терль.

Женщина пожала протянутую руку и посмотрела на него такими чистыми светло-голубыми глазами, словно это были снежные озера, где вода очищена солнцем и ветрами.

— Мисс Бланш Хилгуд, — сказала она тихо. — Выпускница Гринельского колледжа, не замужем, преподаю музыку, тридцать лет руководила музыкальным студенческим клубом, была дирижером студенческого оркестра в Грин Сити, Айова, двадцать лет даю частные уроки игры на фортепьяно, арфе и уроки пения, месяц как ушла на пенсию. А теперь снялась с насиженных мест и еду в Калифорнию.

— Мисс Хилгуд, — отсюда не так-то просто будет выбраться.

— Я и сама теперь вижу. — Она с тревогой посмотрела на мужчин, круживших возле ее автомобиля, и в эту минуту чем-то напомнила им девочку, которой неловко и неудобно сидеть на коленях у больной ревматизмом бабушки.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросила она.

— Из спиц выйдет неплохая изгородь, из тормозных дисков — гонг, чтобы созывать постояльцев к обеду, а остальное, может, пригодится для японского садика.

— Все, кончилась. Говорю вам, машине конец. Я отсюда и то вижу. Не пора ли нам ужинать? — послышался сверху голос мистера Фермли.

Мистер Терль сделал широкий жест рукой.

— Мисс Хилгуд, милости просим в отель «Пустыня». Открыт двадцать шесть часов в сутки. Беглых каторжников и правонарушителей просим заносить свои имена в книгу постояльцев. Отдохните ночьку, платить не надо, а завтра утром вытащим из сарая наш старый «форд» и отвезем вас в город.

Мисс Хилгуд милостиво разрешила помочь ей выйти из автомобиля. Он в последний раз издал жалобный стон, словно молил не покидать его. Она осторожно прикрыла дверцу, хлопнувшуюся с мягким стуком.

— Один друг покинул меня, но второй все еще со мной. Мистер Терль, не внесете ли вы ее в дом?

-Ее, мадам?

— Простите, я всегда думаю о вещах так, словно это люди. Автомобиль был джентльменом, должно быть, потому, что возил меня повсюду. Ну а арфа все же, согласитесь, дама.

Она кивком головы указала на заднее сиденье. На фоне неба, накренившись вперед, словно нос корабля, разрезающего воздух, стоял узкий кожаный ящик.

— Мистер Смит, а ну-ка подсобите, — сказал мистер Терль.

Они отвязали высокий ящик и осторожно сняли его с машины.

— Эй, что там у вас? — крикнул сверху мистер Фермли.

Мистер Смит споткнулся, и мисс Хилгуд испуганно вскрикнула. Ящик раскачивался из стороны в сторону в руках неловких мужчин.

Раздался мелодичный звон струн.

Мистер Фермли услышал его в своей комнате и уже больше не спрашивал, а лишь, открыв от удивления рот, смотрел, как темная пасть веранды поглотила старую леди, таинственный ящик и двух мужчин.

— Осторожно! — воскликнул мистер Смит. — Какой-то болван оставил здесь свои чемоданы. — И вдруг умолк. — Болван? Да ведь это же мои чемоданы!

Мистер Смит и мистер Терль посмотрели друг на друга. Лица их уже не блестели от пота. Откуда-то налетевший ветерок легонько трепал ворота рубах, шелестел листками календаря.

— Да, это мои чемоданы, — сказал мистер Смит.

Они вошли в дом.

— Еще вина, мисс Хилгуд? Давненько у нас не подавали вино.

— Совсем капельку, если можно.

Они ужинали при свете единственной свечи, все равно делавшей комнату похожей на раскаленную печь, и слабые блики света играли на вилках, ножах и новых тарелках. Они ели, пили теплое вино и беседовали.

— Мисс Хилгуд, расскажите еще что-нибудь о себе.

— О себе? — переспросила она. — Право, я была все время так занята, играя то Бетховена, то Баха, то Брамса, что не заметила, как мне минуло двадцать девять, а потом сорок, а вчера вот исполнилось семьдесят один. О, конечно, в моей жизни были мужчины. Но в десять лет они переставали петь, а в двенадцать уже не могли летать. Мне всегда казалось, что человек создан, чтобы летать, поэтому я терпеть не могла мужчин с кровью, тяжелой как чугун, цепями приковывающей их к земле. Не помню, чтобы мне приходилось встречать мужчин, которые бы весили меньше ста килограммов. В своих черных костюмах они проплывали мимо словно катафалки.

— И вы улетели от них, да?

— Только мысленно, мистер Терль, только мысленно. Понадобилось целых шестьдесят лет, чтобы наконец по-настоящему решиться на это. Все это время я дружила с флейтами и скрипками, потому что они как ручейки в небесах, знаете, такие же, как ручьи и реки на земле. Я плавала в реках и заливах с чистой студеной водой, от озер Генделя до прозрачных заводей Штрауса. И, только напутешествовавшись вдоволь, я осела в этих краях.

— Как же вы все-таки решились сняться с места? — спросил мистер Смит.

— На прошлой неделе я вдруг оглянулась вокруг и сказала себе: «Эге, да ты летаешь совсем одна. Ни одну живую душу во всем Грин Сити не интересует, как высоко ты можешь залететь». Всегда одно и то же: «Спасибо, Бланш», «Спасибо за концерт в клубе, мисс Хилгуд». Но никто из них по-настоящему не умел слушать музыку. Когда же я, как-то еще давно, пыталась мечтать о Нью-Йорке или Чикаго, все только снисходительно похлопывали меня по плечу и со смехом твердили: «Лучше быть большой лягушкой в маленьком болоте, чем маленькой лягушкой в большом болоте». И я оставалась, а те, кто давал мне такие советы, уезжали, или же умирали, или с ними случалось и то и другое. А большинство были просто глухи. Неделю назад я взялась за ум и сказала себе: «Хватит! С каких это пор ты решила, что у лягушек могут вырасти крылья?»

— Значит, вы решили держать путь на запад? — спросил мистер Терль.

— Может быть. Устроюсь где-нибудь аккомпаниатором или буду играть в оркестре, в одном из тех,

что дают концерты прямо под открытым небом. Но я должна играть для тех, кто умеет слушать музыку, по-настоящему умеет...

Они слушали ее в душной темноте. Женщина умолкла, она сказала им все, а теперь пусть думают, что это глупо или смешно. Она осторожно откинулась на спинку стула.

Наверху кто-то кашлянул.

Мисс Хилгуд прислушалась и встала.

Мистеру Фермли стоило усилий разомкнуть веки, и тогда он увидел лицо женщины. Она наклонилась и поставила у кровати поднос.

— О чем вы только что говорили там внизу?

— Я потом приду и расскажу вам, — ответила она, — поешьте. Салат очень вкусный. — Она повернулась, чтобы уйти.

И тогда он торопливо спросил:

— Вы не уедете от нас?

Она остановилась на пороге, пытаясь разглядеть в темноте его мокрое от испарины лицо. Он тоже еле различал ее глаза и губы. Постояв еще немного, она спустилась вниз.

— Должно быть, не слышала моего вопроса, — произнес мистер Фермли.

И все же он был уверен, что она слышала.

Мисс Хилгуд пересекла гостиную и коснулась рукой кожаного ящика.

— Я должна заплатить за ужин.

— Нет, хозяин отеля бесплатно угощает вас, — запротестовал мистер Терль.

— Я должна, — ответила она и открыла ящик.

Тускло блеснула старая позолота.

Мужчины встrepенулись. Они вопросительно поглядывали на женщину возле таинственного предмета, который по форме напоминал сердце. Он возвышался над нею, у него было круглое, как шар, блестящее подножие, а на нем — высокая фигура женщины со спокойным лицом греческой богини и продолговатыми глазами, глядевшими на них так же дружелюбно, как глядела на них мисс Хилгуд.

Мужчины обменялись быстрыми взволнованными взглядами, словно догадались, что сейчас произойдет. Они вскочили со стульев и пересели на краешек плюшевого дивана, вытирая лица влажными от пота платками.

Мисс Хилгуд пододвинула к себе стул и, сев, осторожно накренила золотую арфу и опустила ее на плечо. Пальцы ее легли на струны.

Мистер Терль втянул в себя раскаленный воздух и приготовился.

Из пустыни налетел ветер, и кресла-качалки закачались на веранде, словно пустые лодки на пруду.

Сверху послышался капризный голос мистера Фермли:

— Что у вас там происходит?

И тогда руки мисс Хилгуд побежали по струнам.

Они начали свой путь где-то сверху, почти у самого ее плеча и побежали прямо к спокойному лицу греческой богини, но тут же снова вернулись обратно, затем на мгновение замерли, и звуки поплыли по

душной горячей гостиной, а из нее в каждую из пустых темных комнат отеля.

Если мистеру Фермли и вздумалось еще что-то кричать из своей комнаты, его уже никто не слышал. Мистер Терль и мистер Смит не могли больше сидеть и словно по команде вскочили с дивана. Они пока ничего не слышали, кроме бешеного стука собственных сердец и собственного свистящего дыхания. Выпучив глаза и изумленно раскрыв рот, они глядели на двух женщин — незрячую богиню и хрупкую старую женщину, которая сидела, прикрыв добрые усталые глаза и вытянув вперед маленькие тонкие руки.

«Она похожа на девочку, — подумали мистер Терль и мистер Смит, — девочку, протянувшую руки в окно, навстречу чему-то... Чему же? Ну, конечно же, навстречу дождю!..»

Шум ливня затихал на далеких пустых тротуарах и в водосточных трубах.

Наверху неохотно поднялся мистер Фермли, словно его кто-то силком тащил с постели.

А мисс Хилгуд продолжала играть. Никто из них не знал, что она играла, но им казалось, что эту мелодию они слышали не раз в своей долгой жизни, только не знали ни названия, ни слов. Она играла, и каждое движение ее рук сопровождалось щедрыми потоками дождя, стучащего по крыше. Прохладный дождь лил за открытым окном, омывал разошедшиеся доски крыльца, падал на раскаленную крышу, на жадно впитывавший его песок, на старый ржавый автомобиль, на пустую конюшню и на мертвые кактусы во дворе. Он вымыл окна, прибил пыль, наполнил до краев пересохшие дождевые бочки и повесил шелестящий бисерный занавес на открытые двери, и этот занавес, если бы вам захотелось выйти, можно было раздвинуть рукой. Но самым желанным мистеру Терлю и мистеру Смицу казалось его живительное прохладное прикосновение. Приятная тяжесть дождя заставила их снова сесть. Кожу лица слегка покалывали, пощипывали, щекотали падавшие капли, и первым побуждением было закрыть рот, закрыть глаза, закрыться руками, спрятаться. Но они с наслаждением откинули головы назад, подставили лицо дождю — пусть льет сколько хочет.

Но шквал продолжался недолго, всего какую-то минуту, потом стал затихать, по мере того как затихали звуки арфы, и вот руки в последний раз коснулись струн, извлекая последние громы, последние шумные всплески ливня.

Прощальный аккорд застыл в воздухе, как озаренные вспышкой молнии нити дождя.

Виденье погасло, последние капли в полной темноте беззвучно упали на землю.

Мисс Хилгуд, не открывая глаз, опустила руки.

Мистер Терль и мистер Смит очнулись, посмотрели на двух сказочных женщин в конце гостиной — сухих, невредимых, каким-то чудом не промокших под дождем.

Мистер Терль и мистер Смит, с трудом уняв дрожь, подались вперед, словно хотели что-то сказать. На их лицах была полная растерянность.

Звук, донесшийся сверху, вернул их к жизни.

Звук был слабый, похожий на усталое хлопанье крыльев одинокой старой птицы.

Мистер Терль и мистер Смит прислушались.

Да, это мистер Фермли аплодировал из комнаты.

Мистеру Терлю понадобилось всего мгновение, чтобы прийти в себя. Он толкнул в бок мистера Смита, и оба в экстазе захлопали. Эхо разнеслось по пустым комнатам отеля, ударяясь о стены, зеркала, окна, словно ища выхода наружу.

Теперь и мисс Хилгуд открыла глаза, и вид у нее был такой, словно этот шквал застал ее врасплох.

Мистер Терль и мистер Смит уже не помнили себя. Они хлопали так яростно и громко, словно в их руках с треском лопались связки карнавальных ракет. Мистер Фермли что-то кричал сверху, но никто его не слышал. Ладони разлетались, соединялись снова в оглушительных хлопках и так до тех пор, пока пальцы не распухли, и дыхание не стало тяжелым и учащенным, и вот наконец горящие, словно обожженные руки лежат на коленях.

И тогда очень медленно, словно еще раздумывая, мистер Смит встал, вышел на крыльцо и внес свои чемоданы. Он остановился у подножия лестницы, ведущей вверх, и посмотрел на мисс Хилгуд. Затем он перевел глаза на ее чемодан у ступенек веранды и снова посмотрел на мисс Хилгуд: брови его чуть-чуть поднялись в немом вопросе.

Мисс Хилгуд взглянула сначала на арфу, потом на свой единственный чемодан, затем на мистера Терля и наконец на мистера Смита и кивнула головой.

Мистер Смит, подхватив под мышку один из своих тощих чемоданов, взял чемодан мисс Хилгуд и стал медленно подниматься по ступенькам, уходящим в мягкий полумрак. Мисс Хилгуд притянула к себе арфу, и с этой минуты уже нельзя было разобрать, перебирает ли она струны в такт медленным шагам мистера Смита или это он подлаживает свой шаг под неторопливые аккорды.

На площадке мистер Смит столкнулся с мистером Фермли — накинув старый, выцветший халат, тот осторожно спускался вниз.

Оба постояли с секунду, глядя вниз на фигуру мужчины и на двух женщин в дальнем конце гостиной — всего лишь видение, мираж. И оба подумали об одном и том же.

Звуки арфы и звуки дождя — каждый вечер. Не надо больше поливать крышу из садового шланга. Можно сидеть на веранде, лежать ночью в своей постели и слушать, как стучит, стучит и стучит по крыше дождь...

Мистер Смит продолжил свой путь вверх; мистер Фермли спустился вниз.

Звуки арфы... Слушайте, слушайте же их!

Десятилетия засухи кончились.

Пришло время дождей.

ДО ВСТРЕЧИ НАД РЕКОЙ

Без минуты девять, и пора бы уж закатить деревянного индейца — символ табачной торговли — обратно в теплый ароматный полумрак и запереть лавку. Но он все медлил: столько людей потерянно брели мимо, непонятно куда, неизвестно зачем. Кое-кто из них забредал и сюда — скользнет глазами по опрятным желтым коробкам с сортовыми сигарами, потом осмотрится, поймет, куда его занесло, и скажет уклончиво:

— Вот и вечер, Чарли...

— Он самый, — отвечал Чарли Мур.

Одни выходили с пустыми руками, другие покупали дешевенькую сигару, подносили ко рту и забывали зажечь.

И только в половине десятого Чарли Мур решился наконец тронуть деревянного индейца за локоть — будто и не хотел бы нарушать покой друга, да вот приходится... Осторожно передвинул дикаря внутрь, где стоять тому всю ночь сторожем. Резное лицо уставилось из темноты через дверь тусклым слепым взглядом.

— Ну, вождь, что же ты там видишь?...

Немой взор указывал именно туда, на шоссе, рассекавшее самую сердцевину их жизни.

Саранчовыми стаями с ревом неслись из Лос-Анджелеса машины. Раздраженно снижали скорость до тридцати миль в час. Пробирались меж тремя десятками лавок, складов и бывших конюшен, переделанных под бензоколонки, к северной окраине городка. И вновь взывали, разгоняясь до восьмидесяти, и как мстители летели на Сан-Франциско — преподать там урок насилия.

Чарли тихо хмыкнул.

Мимо шел человек, заметил его наедине с бессловесным деревянным другом, промолвил:

— Последний вечер, а?...

И исчез.

Последний вечер.

Вот. Кто-то осмелился сказать это вслух.

Чарли круто повернулся, выключил весь свет, закрыл дверь на ключ и замер на тротуаре, опустив глаза.

Потом, словно во власти гипноза, ощутил, как глаза сами собой вновь поднялись на старое шоссе: оно проносилось тут же рядом, но шоссеветры пахли далеким прошлым, миллиардами лет. Огни фар взрывались в ночи и, разрезав ее, убегали прочь красными габаритными огоньками, как стайки маленьких ярких рыбешек, что мчатся вслед за стайей акул или за стадом скитальцев-китов. Красные огоньки растворялись и тонули в черноте гор.

Чарли оторвал от них взгляд и медленно зашагал через свой городок. Часы над клубом пробили три четверти и двинулись к десяти, а он все шел, удивляясь и не удивляясь тому, что магазины открыты в такой неурочный час и что у Каждой двери изваяниями стоят мужчины и женщины — вот и он недавно стоял подле своего индейского воина, ослепленный мыслью, что будущее, о котором столько говорили, которого так боялись, вдруг превратилось в настоящее, в сегодня и сейчас...

Фред Фергюсон, набивщик чучел, глава семейства пугливых сов и встревоженных косуль, навсегда поселившихся в его витрине, проронил в ночной мрак — Чарли как раз шел мимо:

— Не верится, правда?... — И продолжал, не дожидаясь ответа: — Все думаю — не может быть. А завтра шоссе умрет, и мы вместе с ним...

— Ну, до этого не дойдет, — сказал Чарли.

Фергюсон глянул на него с возмущением.

— Постой-ка. Не ты ли два года назад орал, что надо взорвать законодательное собрание, перестрелять дорожников, выкрасть бульдозеры и бетономешалки., едва они начнут работы на том шоссе, на новом, в трехстах ярдах к западу? Что значит «до этого не дойдет»? Дойдет, и ты это знаешь!..

— Знаю, — согласился Чарли Мур наконец.

Фергюсон все раздумывал над близкой судьбой.

— Каких-то три сотенки ярдов. Совсем ведь немного, а?... Городишко у нас в ширину ярдов сто, стало быть, еще двести. Двести ярдов от нового супершоссе. От тех, кому нужны гайки, болты или, допустим, краска. Двести ярдов от шутников, которым посчастливилось убить в горах оленя или, на худой конец, бродячего кота и которые нуждаются в услугах единственного первоклассного набивщика чучел на всем побережье. Двести ярдов от дамочек, которым приспичило купить аспирин... — Он показал глазами на аптеку. — Сделать укладку... — Посмотрел на полосатый столбик у дверей парикмахерской. — Освежиться фруктовым глянсе... — Кивнул в сторону лавочки мороженщика. — Да что перечислять...

Молча они dokonчили перечень, скользя взглядом по магазинчикам, лавкам, киоскам.

— Может, еще не поздно?

— Не поздно, Чарли? Да черт меня побери! Бетон уже уложен, схватился и затвердел. На рассвете снимут с обоих концов ограждение. Может, сам губернатор ленточку перережет. А потом... В первую неделю, пожалуй, кто-нибудь и вспомнит Оук Лейн. Во вторую уже не очень. А через месяц? Через месяц мы для них будем мазком старой краски оправа, если давишь железку на север, или слева, если на юг. Вон Оук Лейн, припоминаешь?... Город-призрак... Фюить! И нету...

Чарли выждал — сердце отмерило два-три удара — и опросил:

— Фред!.. А что ты собираешься делать дальше?

— Побуду здесь еще немножко. Набью десяток птичьих чучел для наших, местных. А потом заведу свою консервную банку, выведу ее на новое супершоссе и помчусь. Куда? Да никуда. Куда-нибудь. И прости-прощай, Чарли Мур...

— Спокойной ночи, Фред. Желаю тебе соснуть...

— Что-о? И пропустить Новый год в середине июля?...

Чарли пошел своей дорогой, и голос за ним затих. Он добрался до парикмахерской, где за зеркальной витриной возлежали на трех креслах три клиента и над ними склонились три усердных мастера. Машины, пробегающие по шоссе, бросали на все это яркие блики. Будто между парикмахерской и Чарли плыл поток гигантских светляков.

Чарли вошел в салон, и все к нему обернулись.

— Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?...

— Прогресс, Чарли, — сказал Фрэнк Мариано, продолжая орудовать гребенкой и ножницами, — это идея, которую не остановишь другой идеей. Давайте выдернем этот городишко со всеми потрохами,

перенесем и вроем у новой трассы...

— В прошлом году мы прикидывали, во что бы это обошлось. Четыре десятка лавок — в среднем по три тысячи долларов, чтобы перетащить их всего-то на триста ярдов...

— И накрылся наш гениальный план, — пробормотал кто-то сквозь горячий компресс, задавленный неотразимостью фактов.

— Один хорошенький ураган — и переедем бесплатно...

Все тихо рассмеялись.

— Надо бы нам сегодня отпраздновать, — заявил человек из-под компресса. Он сел прямо и оказался Хэнком Саммерсом, бакалейщиком. — Выпьем по маленькой и погадаем, куда-то нас занесет через год в это время...

— Мы плохо боролись, — сказал Чарли. — Когда все начиналось, нам бы навалиться всем миром...

— Какого дьявола! — Фрэнк состриг у клиента волос, торчавший из большого уха. — Если уж времена меняются, то дня не проходит, чтоб кого-то не зацепило. В этом месяце, в этом году пришел наш черед. Следующий раз нам самим что-нибудь понадобится, и плохо придется кому-то другому. И все во имя Великого Американского Принципа Давай-Давай... Слушай, Чарли, организуй отряд добровольцев. Поставьте на новом шоссе мины. Только поосторожнее. А то будешь пересекать проезжую часть, чтоб заложить взрывчатку, и запросто угодишь под какой-нибудь грузовик с навозом.

Опять рассмеялись, но быстро смолкли.

— Посмотрите, — сказал Хэнк Саммерс, и все посмотрели. Он говорил, обращаясь к засиженному мухами отражению в стареньком зеркале, как бы пытаясь всучить зазеркальному близнецу половинчатую свою логику. — Прожили мы тут тридцать лет, и вы, и я, и все мы. А ведь не помрем, если придется сняться. Корешков-то мы, помилуй бог, глубоких не пустили... И вот выпускной вечер. Школа трудностей выкидывает нас под зад коленом безо всяких там «извините, пожалуйста» и «что вы, что вы, не стоит». Ну что ж, я готов. А ты, Чарли?...

— Я хоть сейчас, — сообщил Фрэнк Мариано. — В понедельник в шесть утра загружаю свою парикмахерскую в прицеп — и вдогонку за клиентами со скоростью девяносто миль в час!..

Раздался смех, похожий на последний смех дня, и Чарли повернулся величественно и бездумно и вновь очутился на улице.

А магазины все еще торговали, и огни горели, и двери были раскрыты настежь, словно хозяевам до смерти не хотелось домой, по крайней мере пока течет мимо эта река людей, металла и света, пока они движутся, мелькают, шумят привычным потоком, и кажется невероятным, что на этой реке может тоже настать сухой сезон...

Чарли тянул время, переходил от лавки к лавке, в молочном баре выпил шоколадный коктейль, в аптеке, где мягко шуршащий деревянный вентилятор перешептывался сам с собою под потолком, купил совершенно ненужную пачку писчей бумаги. Он шлялся как бродяга — крал кусочки Оук Лейна на память. Задержался в проулке, где — по субботам торговали галстуками цыгане, а продавцы кухонной утвари выворачивали свои чемоданы в надежде привлечь покупателей. Наконец добрался до бензоколонки — Пит Бриц сидел в яме и ковырялся в немудреных грубых потрохах безответного «форда» модели 1947 года.

И только после десяти, будто по тайному сговору, в лавках стали гасить огни, и люди пошли по домам, Чарли Мур вместе со всеми.

Он догнал Хэнка Саммерса — лицо бакалейщика все еще розовато сияло от бессмысленного бритья.

Некоторое время они не спеша шли рядом и молчали, и казалось — обитатели всех домов, мимо которых они проходили, высыпали на улицу, курили, вязали, качались в креслах-качалках, обмахивались веерами, отгоняя несуществующую жару.

Хэнк рассмеялся вдруг каким-то своим мыслям. Через пару шагов он решился их обнародовать.

*Мы будем снова вместе над рекой
Река, река, небесная дорога.
Итак, до встречи, братья, над рекой,
Что пролегла у трона бога, —*

продекламировал он нараспев, и Чарли кивнул:

— Первая баптистская церковь. Мне было тогда двенадцать...

— Бог дал, комиссар шоссейных дорог взял, — сказал Хэнк без улыбки. — Странно. Никогда раньше не думал, что город — это люди. То есть ведь каждый чем-то занят. Там, когда я лежал с компрессом, подумалось: ну, что мне в этом местечке? Потом встал бритый — и вот ответ. Расе Ньюэлл у себя в гаражике «Ночная сова» возится с карбюраторами. Вот. Элли Мэй Симпсон...

Он смутился и проглотил конец фразы.

Элли Мэй Симпсон... Чарли мысленно продолжил список. Эли Мэй в эркере своего «Салона мод» накручивает старухам бигуди... Доктор Найт раскладывает пузырьки с лекарствами под стеклом аптечного прилавка... Магазин хозяйственных товаров — и посреди него Клинт Симпсон под палящим полуденным солнцем перебирает и сортирует миллионы искр, миллионы блесков, латунных, серебряных, золотых, все эти гвоздики, щеколды, ручки, ножовки, молотки, и змеящийся медный провод, и рулоны алюминиевой фольги, словно вывернули карманы тысяч мальчишек за тысячи лет... И наконец...

...И наконец, собственная его лавка, теплая, темная, желто-коричневая, уютная, пропахшая, как берлога курящего медведя... Влажные запахи целых семейств разнокалиберных сигар, импортных сигарет, нюхательных Табаков, только и поджидающих случая, чтобы взорваться клубами...

«Забери все это, — подумал Чарли, — и что останется? Ну, постройки. Так ведь кто угодно может сколотить ящик и намалевать вывеску, чтоб известить, что там внутри. Люди нужны, люди, вот тогда уж и правда берет за живое...»

И у Хэнка, как выяснилось, мысли были не веселее.

— Тоска меня гложет, сам теперь понимаю. Вернуть бы каждого обратно в его лавку да рассмотреть хорошенько, что же он там делал и как. И почему все эти годы я на многое не обращал внимания? Черт возьми!.. Что это на тебя накатило, Хэнк Саммерс? Вверх, а может, вниз по дороге есть еще такой же Оук Лейн, и люди там заняты делами точно как здесь. Куда бы меня теперь ни забросило, присмотрюсь к ним повнимательнее, клянусь богом. Прощай, Чарли...

— Пошел ты вон со своим прощанием!..

— Ну ладно, тогда спокойной ночи...

И Хэнк ушел, и вот Чарли дома, и Клара ждет его у дверей, обтянутых металлической сеткой, и предлагает стакан воды со льдом.

— Посидим немножко?

— Как все? Почему же не посидеть...

Они сидели на темном крыльце, на деревянных качелях с цепями, и смотрели, как шоссе вспыхивает

и гаснет, вспыхивает и гаснет: приближаются фары, удаляются злые красные огоньки, словно угли рассыпаны по полям из огромной жаровни...

Чарли неторопливо пил воду и, пока пил, думал: а ведь в прежние времена никому не дано было видеть, как умирает дорога. Ну, можно было еще заметить, как она постепенно угасает, или ночью в постели вдруг уловить какой-то намек, толчок, смятенное предчувствие — дорога сходит на нет. Но проходили годы и годы, прежде чем дорога отдавала богу свою пыльную душу и взамен начинала оживать новая. Так было: новое появлялось медленно, старое исчезало медленно. Так было всегда.

Было, да прошло. Теперь это дело немногих часов.

Он осекся.

Прислушался к себе и обнаружил что-то непривычное.

— А знаешь, я успокоился...

— Это хорошо, — сказала жена.

Они покачались на качелях, две половинки одного целого.

— О господи, сперва меня так крепко взяло...

— Я помню, — сказала она.

— А теперь я подумал, ну и... — Он говорил неспешно, обращаясь прежде всего к себе. — Миллион машин проезжает каждый год по этой дороге. Нравится нам или нет, дорога стала просто тесна, мы тут задерживаем весь мир со своей старой дорогой и отжившим городишком... А мир должен двигаться вперед. Теперь по той новой дороге проедут уже не миллион, а два миллиона, проедут от нас на расстоянии всего-то ружейного выстрела, проедут куда им надо, чтобы делать что им кажется важным, все равно, важно это или нет; людям кажется, что важно, вот и весь фокус. Да если бы мы по-настоящему поняли, что нас ждет, обдумали бы все со всех сторон, то взяли бы паровой молот, расширили свой городишко в лепешку и сказали: «Проезжайте!», а не заставляли бы других прокладывать ту проклятую дорогу через клеверное поле. Сейчас Оук Лейн умирает тяжело, как на веревке у мясника, а следовало бы разом сбросить все в пропасть. Но, правда... — Он закурил трубку и выпускал густые клубы дыма — только так он и мог искать и прошлые ошибки, и теперешние откровения. — Раз уж мы люди, то поступить иначе мы, наверное, не могли...

Они слышали, как часы над аптекой пробили одиннадцать, потом часы над клубом — половину двенадцатого, а в двенадцать они лежали в темной спальне, и потолок над ними пучился от раздумий.

— Выпускной вечер...

— Что, что?

— Фрэнк-парикмахер так сказал, и в самую точку. Вся эта неделя словно последние дни в школе когда-то давно. Я же помню, как это было, как я боялся, чуть не плакал и клялся себе, что прочувствую каждую минуточку, какая мне осталась до аттестата, — ведь один бог знает, что нас ждет завтра. Безработица. Кризис. Война. А потом пришло это завтра, час настал, а я все живой, слава богу, целехонек, и все начинается сызнова, игра продолжается — и, черт меня побери, получается, что все к лучшему. Так что сегодня и вправду еще один выпускной вечер. Фрэнк так сказал, и уж если кто сомневается, только не я...

— Слышишь? — спросила жена немалое время спустя. — Слышишь?...

Там, в ночи, через их городок текла река, река металла — она попритихла немного, но все равно набегала и убегала и несла с собой древние ароматы приливов и отливов и непроглядных морей нефти. И по потолку над кладбищенской их кроватью мелькали блестящие отсветы, будто кораблики плыли вверх-

вниз по течению, и глаза постепенно-постепенно закрылись, и дыхание слилось с размеренным ритмом этих приливов и отливов... и Чарли с женой заснули.

Когда в комнату проник первый свет утра, половина кровати оказалась пуста.

Клара села, едва ли не испуганно.

Не в привычках Чарли было уходить из дому в такую рань.

Потом ее испугало еще и что-то другое. Она сидела, вслушиваясь и не понимая, что же это вдруг бросило ее в дрожь, но, прежде чем она успела прийти к определенному выводу, раздались шаги.

Она расслышала шаги издали, и немало времени минуло, прежде чем они приблизились, поднялись по ступенькам и вошли в дом. Потом — тишина. Она догадалась, что Чарли просто стоит в гостиной, и окликнула:

— Чарли! Где ты был?

Он вошел в спальню, освещенную слабыми лучами зари, и сел рядом с ней на кровати, обдумывая ответ: где же он был и что там делал?

— Прошел примерно с милю вдоль берега и обратно. В общем, до самых бревен, где начало нового шоссе. Рассудил, что ничего другого мне не осталось и надо принять хоть какое-то участие...

— Новая дорога открыта?

— Открыта и работает. Разве не замечаешь?...

— Действительно... — Она снова тихо приподнялась в постели, склонив голову и прикрыв на мгновение глаза, чтобы лучше слышать. — Вот оно что! Вот отчего мне не по себе. Старая дорога! Она же действительно умерла...

Они прислушались к тишине за домом: старое шоссе опустело и высохло, как речное дно, когда наступает сезон, но только этому лету не будет конца, оно продлится вечно. За ночь река передвинулась в новые берега, переменила русло. Теперь было слышно лишь, как шумят на ветру деревья, да еще было слышно птиц, которые завели свои приветственные песни перед тем, как солнцу подняться из-за гор...

— Не шевелись!..

Они прислушались снова.

И точно — там вдали, в двухстах пятидесяти, а может в трехстах ярдах за лугом, ближе к морю, раздавался тот же знакомый издавна, но теперь приглушенный звук: река переменила русло, но не перестала течь, не перестала струиться и никогда не перестанет — через привольные земли на север и сквозь приумолкший рассвет на юг. А еще дальше, еще тише — голос настоящей воды, голос моря, которое будто притянуло их реку поближе к своему берегу...

Чарли Мур и его жена посидели еще минуту-другую не двигаясь, вслушиваясь в неясное бормотанье реки, несущейся и несущейся через поля.

— Фред Фергюсон пришел туда еще затемно, — сказал Чарли, и по тону его было понятно, что он уже напоминает Прошлого. — Толпа народу. Чиновники из шоссеисного управления и все такое. Как налегли! Фред, так тот сразу подскочил — и за бревно. А я за другой конец. Вместе подняли и потащили с дороги прочь. А потом отступили на обочину... Чтoб не мешать машинам.

СТРАННИК В ПУСТЫНЕ ЗВЕЗД

(Послесловие)



Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года в Уокегене, штат Иллинойс. Отец его вел свою родословную от английских первопоселенцев Америки, предки матери происходили из Швеции. В детстве мальчик увлекался, как и все его ровесники, приключениями в стране Оз, Тарзаном, читал Жюль Верна и Эдгара По. Образ благородного и сильного духом капитана Немо на всю жизнь запал в его сердце. Первый в мире журнал научной фантастики «Эмейзинг сториз», основанный в 1926 году американским инженером-популяризатором Хьюго Гернсбеком, он начал читать в восьмилетнем возрасте.

Судьба Рэя решилась в Лос-Анджелесе в 1937 году, когда ему было 17 лет. Один из знакомых, зная любовь юноши к научной фантастике, пригласил его на очередную встречу местного научно-фантастического клуба, объединяющего любителей и творцов фантастики и издающего свой Журнал «Воображение!».

В январе 1938 года в четвертом выпуске этого журнала был опубликован первый и сразу вполне зрелый рассказ Брэдбери «Дилемма Холлербохена», в котором наметились, в сущности, все главнейшие темы его творчества: и могущество человеческого разума, и победа над временем, и проблема смерти, и необходимость морального выбора.

В последующие месяцы в различных любительских журналах было напечатано много произведений юного автора — фантастических и реалистических, насыщенных юмором и эксцентрикой. Летом 1939 года Брэдбери приступил даже к изданию собственного журнала «Футурия Фантазия», который читали друзья и знакомые, и среди них такие мэтры и ценители научной фантастики, как Р.Хейнлайн, Э.Гамильтон, К.Каттнер, А.Банс и другие.

Вторая мировая война завершила формирование мировоззрения молодого писателя. Если в первом

выпуске своей «Футурии Фан-тази» Рэй Брэдбери объявил себя сторонником движения «Технократия Инкорпорейтед», возникшего в годы депрессии под руководством Говарда Скотта и призывавшего передать власть в руки ученых, то успехи военной техники, появление американской атомной бомбы и немецких ракет привели его к переоценке роли науки. Брэдбери окончательно понял, что в преступных руках наука способна уничтожить мир, а технократия сама не чужда замашек диктаторства и тирании.

Успех пришел к писателю в 1943–1944 годах. Американскому читателю особенно пришлись по душе рассказы, в центре которых ребенок, его «детское» отношение к миру. Однако знаменитым Рэй Брэдбери стал только после выхода в свет научно-фантастических книг — «Марсианские хроники» (1950), «Иллюстрированный человек» (1951), «450° по Фаренгейту» (1953).

На преимущественно последних произведениях Рэя Брэдбери, предлагаемых теперь вниманию читателей, имеет смысл остановиться подробнее, чтобы рассмотреть главные темы и сюжеты, в разных ракурсах волнующие писателя всю его творческую жизнь. Условный научно-фантастический мир позволяет раскрывать эти фундаментальные темы и проблемы остро и зримо, почти как в мифе и притче, и, когда в сконцентрированной научно-фантастической системе координат к разгадке тайн бытия приступает самобытный мыслитель и честный человек, его ответы поднимаются до убеждающего обобщения и назидания.

Например, как поведет себя современный человек, вернувшийся в утерянный рай, где любые заветные желания исполняются и иллюзия вечного блаженства достигается не наркотиками, не гипнозом, а вполне реальной техникой «материализации мечты»?

Рэй Брэдбери осознал всю глубину этого вопроса и в фантастической притче «Марсианский затерянный Город» ответил на него так, как умеет только он, — связав в один узел целую россыпь «вечных проблем», эмоционально и психологически убедительно, наконец просто увлекательно. Само название притчи полемично перекликается с названием известной поэмы Милтона «Потерянный рай».

Где-то на Марсе он посадил в «ковчег» девятерых людей, каждый из которых олицетворяет определенный человеческий тип, и отправил это «микрочеловечество» в хищный город, где воплощаются мечты. Он промоделировал ситуацию возвращения в «рай» лучше и нагляднее, чем многие буржуазные философы и социологи, написавшие сотни ученых книг с жуткими пророчествами о бессилии человека перед соблазнами мира изобилия и о неизбежном вырождении людей в обществе массового потребления.

Вопрос об искусственном рае встал перед человечеством на повестку дня в связи с достижениями научно-технической революции. Будущее обещает воистину нечто фантастическое — не просто изобилие «хлеба», но и принципиально новые виды «зрелищ», стоящие между человеком и действительностью и иногда кажущиеся более «реальными», чем сама действительность. Но человек, избавленный от необходимости в поте лица добывать «хлеб насущный», - построит ли он себе башню из этих материализовавшихся «зрелищ», «имаджей», «эйдосов», «образов», которая лишит его свободы и достоинства?

Рэй Брэдбери отвечает — да, такая опасность существует, но настоящий человек в отличие от слабых духом выберет тернистую истину, а не возвышающий обман.

Вот почему люди «с искрой» покидают рай, ибо он для них ад. Те же, кто в нем остается, это уже не люди или еще не люди.

Вырвавшись из города-ада, капитан Уайлдер возвращается к любимым ракетам, нацеленным в пустыни звезд.

«-Настоящие, — шептали они, — мы настоящие. Настоящий полет. И Пространство, и Время — все настоящее. Никаких подарков судьбы. Ничего задаром. Каждая малость — ценою труда, настоящего тяжелого труда...»

Такова философия жизни и человека у любимого героя Рэя Брэдбери, да, по-видимому, и у него самого.

Марсианский затерянный Город становится символом общества маленьких людей, не приемлемого для натур цельных, самобытных, достойных звания человека. Он создан для улавливания и изоляции мелких душ. Но Брэдбери отнюдь не считает человечество состоящим сплошь из маленьких людей. В этом его отличие от многих футурологов и социологов Запада, конструирующих общество будущего в меру своих слабостей, духовных недугов и классовых шор.

Нет, «микрочеловечество» так просто не сдалось изощренному дьявольскому искусству. Дело даже не в счете добровольно оставшихся в «раю» и добровольно бежавших из него — 3:3. Раз хоть один человек отверг идеальную модель потребительского общества, значит, перспективы человечества не столь уж унылы, как описываются в бесчисленных антиутопиях.

Город-Вселенная схлопывается на глазах, в последнюю щель из этой духовной «черной дыры» ускользает Уайлдер, ложь позади, но где же путь к Истине!

Брэдбери дает ответ всем строем своей истории, всей системой разыгранных образов, кульминационный из которых — закрывающийся Город, пожиратель людей. Образ Города — это своеобразный ответ Брэдбери на вопрос о смысле жизни, полной непредвиденных поворотов, требующей от человека подчас решений даже более высокой пробы, чем в потребительском лже-раю.

В своем замечательном цикле стихов «Шепот божественной смерти» Уолт Уитмен, один из любимейших и наиболее близких по духу поэтов Рэя Брэдбери, предвещал победу над физической смертью, когда писал о полете души сквозь Пространство и Время, где «и тьмы нет, и нет тяготения, нет чувства границ, нас ограничивающих».

В последнем стихотворении этого цикла поэт признается:

*В задумчивости и колеблясь,
Пишу я слово Мертвый,
Ведь Мертвые — Живые
(Единственно — живые, может быть,
Единственно — реальные,
а я Видение, я — призрак).*

Разумеется, ни Уитмен, ни Брэдбери не разделяют древние мистические концепции о «переселении душ», но они верят в могущество человека, в его разум. Уитмен, как и Брэдбери, воспекает «электрическое тело», то есть нечто техническое, насквозь посястороннее. «Человек победит физическую смерть» — вот пафос творчества обоих.

Сдавшийся человек уже не может быть по-настоящему счастливым. Он мертв, хотя и живет. Воскрешение ему не нужно, оно ему ничего не даст. Ему нечего довершать, он сам погасил в себе искру. Рэй Брэдбери с пронзительным психологизмом чувствует трагедию «живого трупа» и неоднократно возвращается к этой теме.

Казалось бы, доволен жизнью бывший писатель, а ныне преуспевающий местный деятель Дадли Стоун, герой рассказа «Удивительная кончина Дадли Стоуна». Когда-то он считался новоявленным гением пера, но что с ним стало, почему сошел с дистанции?

Рэй Брэдбери ставят Дадли Стоуна перед выбором — или погибнуть от руки друга, превратившегося в завистливого Сальери, или отказаться от своего творческого предназначения, от писательства. Физической смерти Дадли Стоун предпочитает смерть творческую. Выиграл ли он?

Всячески он пытается оправдать свое решение, успокоить совесть. Мол, Джон Кенделл только «помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся». Брэдбери охотно дает слово бывшему восходящему светилу литературы, подробно высвечивает положительные последствия самоотказа, духовного самоубийства. Это и спокойная жизнь, и наслаждение простыми радостями, и прочный достаток, и семейное благополучие.

Но мы-то ощутим, что Дадли Стоун — никто, живой мертвец, мир о нем забыл, ибо он предал не только себя, но и его. Дадли Стоун и сам понимает, что он уже не человек, а его жизнь — не жизнь, а иллюзия, существование робота. Счастливым он себя не чувствует. «Он меня убил», -с горечью говорит несостоявшийся Моцарт.

Отношение к смерти и чувство собственного достоинства — две стороны одной медали. Смертельный шок может возвысить человека, как случилось с поэтом Харпуэллом в городе на Марсе, а может и обесплодит слабых людей вроде писателя Дадли Стоуна. Во всех случаях страх смерти оказывается на самом деле страхом перед жизнью, боязнью ее утраты. Поработиться этим страхом или бросить ему вызов — зависит от человека. Рэй Брэдбери художественно исследует обе возможности в научно-фантастических рассказах «Машина до Килиманджаро» и «О скитаниях вечных и о Земле», героями которых выступают реальные личности — классики современной американской литературы Эрнест Хемингуэй и Томас Вулф.

Рассказ «Машина до Килиманджаро» ведется от первого лица. Почитатели Хемингуэя построили машину времени, и автор отправился на ней в горы близ Кетчума и Солнечной долины, к могиле писателя. Зачем понадобилось это путешествие? Чтобы продлить жизнь, перенести любимого человека в будущее? Нет, такой замысел противоречил бы мироощущению Хемингуэя, его личности, его творчеству.

В сущности, Брэдбери средствами научной фантастики подступает к труднейшим проблемам литературы и предлагает свою убедительную концепцию жизни и творчества Хемингуэя. Концепция получается экономная и зримо-наглядная. Когда-то несколько похожим приемом пользовался, например, Данте в «Божественной комедии», перенося себя в мир умерших и беседуя с духами великих людей. А Брэдбери благодаря фантастической машине времени получает возможность беседовать с Хемингуэем в реальной обстановке его жизни.

И когда на всякий случай автор спрашивает Хемингуэя: «А вы не хотите вперед?», тот ответил после недолгого раздумья: «Не знаю, не уверен». Но отправиться на десять лет назад, чтобы умереть у вершины Килиманджаро, он соглашается с восторгом. Нельзя без волнения читать диалог автора и Хемингуэя, настолько трагическими намеками и недосказанностями — а без них в такой серьезной теме, как смерть, не обойтись — он пронизан.

Пожалуй, ни в воспоминаниях современников, як в исследованиях специалистов образ Томаса Вулфа не воссоздан с таким реализмом, как в рассказе Брэдбери «О скитаниях вечных и о Земле». Почитатели Томаса Вулфа из будущего XXIII столетия тоже строят машину времени, но на этот раз именно для того, чтобы продлить — увы, всего на какой-то месяц — творческую жизнь писателя, безвременно погибшего от пневмонии в возрасте 38 лет. Вулф всегда был переполнен творческими планами, особенно перед смертью. Ему в отличие от Хемингуэя было что довершать сразу же после воскрешения из мертвых

Возможно, Брэдбери знал последнее письмо Томаса Вулфа, написанное 12 августа 1938 года в Сиэтлском госпитале за месяц до смерти (оно было опубликовано в 1956 году). В этом загадочном письме Томас Вулф, изо всех сил борющимся со смертельным недугом, сообщает: «Я совершил долгое-путешествие и побывал в удивительной стране, и я очень близко видел черного человека (имеется в виду «черный человек», который посетил также Моцарта перед смертью. — В.С.)... Я чувствую себя так, как если бы сквозь широкое окно взглянул на жизнь, которую не знал никогда прежде...»

И в письме есть строка: «Больше всего на свете я хочу жить!».

Рэй Брэдбери ставит Томаса Вулфа, как и Дадли Стоуна, перед выбором — или физически умереть с надеждой на воскрешение, или остаться в живых, но ценой предательства и творческого самоубийства. Месяц истек, Вулфу предстоит возвращаться в могилу. Что он выберет — XX век или XXIII? Вулф не посрамил наших современников. Он выбирает свою судьбу, слитную с судьбой космоса, он выбирает наш век и остается навеки в славе, сохранив свое достоинство, свое творческое лицо.

Тема человеческого достоинства перед лицом физической и духовной смерти постоянно волнует Рэя Брэдбери, и ответы на трагические «вечные вопросы» он дает совсем не тривиальные. В построенной им философской системе смерть физическая иллюзорна, она лишь рубеж жизненного выбора, а смерть духовная страшнее и реальнее. Путь же к реальному бессмертию открывает современная наука и техника.

Подобная философская модель человека не нова. В начале нашего века ее разработал скромный библиотекарь Румянцевского музея в Москве Николай Федорович Федоров, учитель К.Э.Циолковского. В своей книге «Философия общего дела» Н.Ф.Федоров писал о том, что развитие науки и техники обязательно приведет к возможности воскрешать умерших по оставленным ими в космосе следам. Поэтому каждый человек должен самосовершенствоваться, чтобы явиться на суд потомков с достойным творческим багажом и полным стремления к высшим духовным ценностям, к своему максимальному творческому предназначению.

Создается впечатление, что у Брэдбери такое же мироощущение, как и у Федорова. Отношение к физической и духовной смерти, к человеческому достоинству и к космической роли техники у них практически совпадает. Идеи Федорова недаром оказали сильнейшее влияние не только на К.Э.Циолковского, но и на такого выдающегося исследователя «микрокосмоса» (человека), как Лев Толстой.

Краеугольным камнем мировоззрения Брэдбери является, вне всякого сомнения, вера во всемогущество настоящего человека, в его право и долг быть выше космоса и даже собственной смерти. Именно этот гуманистический пафос, словно математическая аксиома, определяет для Брэдбери истинную ценность усложняющейся техники и проблему взаимоотношений между людьми.

Наиболее искренне человеческое достоинство проявляет себя, естественно, в одном из высших проявлений жизни — в любви. Космический феномен любви исследуется Рэем Брэдбери в повести «О теле электрическом я пою». Названа повесть по первой строчке знаменитого стихотворения Уолта Уитмена. Первое четверостишие этого стихотворения взято эпиграфом к одноименной последней книге прозы Рэя Брэдбери. Эпиграф гласит:

О теле электрическом я пою,
Легионы любимых меня обнимают, и я обнимаю их;
Они не отпустят меня, пока не уйду я с ними, им не отвечу,
Пока не очищу их, не заполню их полнотою души.

Эпиграф как нельзя лучше соответствует замыслу писателя. О полноте человеческого бытия и

путях его достижения ведет он речь, о смерти и о любви. И на эти глубинные темы человеческого существования он находит свой, «детский», угол зрения.

Трогательная сказка о добром и благородном деревянном человечке Буратино известна всем. Но современный папа Карло в облике изобретателя и предпринимателя Гвидо Фанточини решил превратить сказку в явь, он сконструировал искусственного человека по последнему слову техники, воплотив в прекрасной кукле лучшее, что есть в людях, и предложил эту куклу тем, кто нуждается в понимании и ласке, прежде всего детям, потерявшим мать.

Если мечта увлеченных погоней за скоростью людей воплотилась в автомобиль, который Брэдбери называет «самым страшным в истории человечества растлителем душ», то сознательная мечта современного папы Карло породила добрую бабушку, образец для подражания, облагораживающее существо. Знаменитые слова о человеке и его мечте гласят: «Человек всегда меньше собственной мечты. Следовательно, если машина воплощает мечту человека, она значительней и больше его самого».

Но способна ли машина подарить такую любовь, о которой мечтает каждый? Или машинная любовь — это такой же мираж, как и машинный разум, заурядная подделка, имитация?

Любовь, не осененная земными страданиями и радостями, теряет вкус и вообще не любовь — такова мысль Брэдбери, настойчиво возникающая во многих его художественных, научно-фантастических, драматических и поэтических произведениях. Любовь возможна только благодаря конечности времени. Как немыслимо бытие вне конечности времени, так невозможна любовь к чему-то бесконечному, безличному.

Идеальная любовь воспроизводит две фундаментальные тенденции всякой конкретной настоящей любви — ревность и измену. По отсутствию этих взаимопредполагающих тенденций можно отличить любовь искусственную, имитационную, машинную.

Когда суррогатная Бабушка, эта чудесная машина Гвидо Фанточини, искусно искушала сердце Агаты изменить любви к умершей матери, то ревнивое сердце девочки отвергло искушение после испытания смертью. Машина оказалась «бессмертной» — страшный удар ненавистного для Брэдбери автомобиля не причинил ей ни малейшего вреда.

Поучительно сравнить повесть Брэдбери «О теле электрическом я пою» с научно-фантастическим фильмом испанского режиссера Луиса Гарсиа Берланга «В натуральную величину».

Герой фильма Мишель влюбляется в куклу, тоже изготовленную конвейерным способом в натуральную величину, влюбляется в электрическую Галатею всерьез, в отличие от героев американского писателя, которые чувствовали к своей Бабушке только привязанность.

У Брэдбери кукла наделена способностью «изменять», то есть подлаживаться под каждую живую душу, идти навстречу желанию каждого. Однако подобная «измена» не вызывала у героев Брэдбери никакой ревности, только Агата, до случая с автомобильной катастрофой, немного ревновала прекрасную игрушку.

Другое дело — с надломленным Мишелем. Он бросил Живую «современную» жену и воспылил к неодушевленной кукле настоящей любовью (как это случилось с теми, кто предпочел остаться в плену марсианского Города, в его лже-раю). Он полюбил собственный фантом.

И когда кукла «изменила» ему, он от ревности отчаялся и устроил самоубийственную автомобильную катастрофу — сам погиб, а прекрасная кукла, сидевшая рядом с ним, как ни в чем не бывало осталась «бессмертной», ожидая нового владельца. Кукла Берланга как бы хищный марсианский

Город в миниатюре, Приманка для слабых душ.

К счастью, мир состоит не только из надломленных, уставших от реальной жизни людей. Брэдбери всегда помнит об этом и поэтому настроен оптимистически, с верой в простые человеческие ценности, которые никогда не остаются у него в произведениях без носителей и защитников. Носителем простых человеческих ценностей является прежде всего дитя, ребенок, для которого мир предстает полным неожиданностей и тайн.

Несмотря на трудности жизни, также остаются детьми до старости четыре, милых человека из трогательного рассказа «Пришло время дождей». Звуки музыки, извлекаемые старенькой мисс Бланш Хилгуд из позолоченной арфы, создают иллюзию, проблеск надежды уставшим душам, укрепляют их «детскую» веру в достижимость на этой Земле простого счастья.

Вера в любовь к своему рожденному в другом измерении сыну дает родителям Пая из рассказа «А ребенок — завтра» надежду на простое семейное счастье, даже если придется отказаться от привычного уклада жизни.

«Детский» глаз Рэя Брэдбери видит не только трогательные человеческие чувства, сохранившиеся в современном мире, но и господствующую социальную несправедливость капиталистического общества. В рассказе «Отпрыск Макгиллахи» реальная жизнь описана без всякой сентиментальности, с ее слякотью и безработицей, похоронами и неравенством. Герой рассказа — дублинский нищий, до сорока лет сохранивший облик младенца. В этой жизни, «где все — и природа чистая, и люди нечистые — все против тебя», он не имел другого выхода, как «остаться маленьким», жаться к земле.

Отец его не смирялся с бедностью и несправедливостью, грозя небу кулаком, готовый разрушить старый мир до основания. «Он ничуть не боялся, что бог ему всыплет, чего там, пусть-де мне в лапы попадет, то-то перья полетят, всю бороду ему выдеру, и пусть звезды гаснут, и представлению конец, и творению крышка!» Но дало ли это что-нибудь?

Богоборческий революционный порыв, штурм неба — его законность Брэдбери признает, и без осознания этого мотива вообще невозможно понять мировоззрение писателя, его философию. Все же особых надежд на скорую и тем более немедленную гибель богов он не возлагает (действие рассказа происходит в наши дни). Отец Макгиллахи так и не выиграл, исчез.

Однако его сын решил не сдаваться и противопоставить социальной мерзости жизни свое несдавшаеся достоинство. Подобный ход мысли весьма характерен для Брэдбери. С его точки зрения, главное оружие человека и единственное средство спасения — соблюдение человеческого достоинства.

«Отпрыск Макгиллахи» — очень символический, глубокий и реалистический рассказ, тоже проникнутый верой в человека, даже несмотря на кажущуюся безвыходность его положения. Недаром, вспоминает отпрыск Макгиллахи, сам Хастон, оптимист и трезвый гуманист, «гордился, что я не сдаюсь, виду не показываю, что знаю, что он все знает». Таким примером человеческого мужества действительно стоит гордиться.

Человек не должен опускать рук и тогда, когда безличная машина научно-технического прогресса сбивает его с ног, разрушает привычный образ жизни, обрекает да лишения. К такому оптимистическому, выводу приходят, в частности, и герои рассказа «До встречи над рекой». Пусть новая дорога из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско оставляет поселок Оук Лейн в стороне и тем самым приносит его жителям разорение. Человек должен бороться и побеждать, потому что жизнь беззаботной никогда не будет.

Да, не страшиться перемен, а приветствовать их, не уходить в глухую оборону от мира, а

активно включиться в деятельность по его преобразению, — вот к чему призывает Рэй Брэдбери современного человека.

Разные люди живут в мире, порожденном фантазией Брэдбери, — сильные и слабые, злые и добрые. Мир его един и тесен, особенно сейчас, когда даже небольшое событие, случившееся на нашей маленькой планете, вдруг самым неожиданным эхом откликается во всех закоулках Земли. И любой пожар на Земле способен опалить огнем и жаром каждого из нас.

Убедительный образ такого мира создал Брэдбери в рассказе «Луг». Бутафорный Киногород — это как бы модель планеты, заселенной кинофантамами, одухотворенными воспоминаниями. На лугу разместились столицы и местечки, улицы и памятники. Киносъемка превращает иллюзию в иллюзию в квадрате, которая приобретает самостоятельное бытие. Киносуррогат воистину становится сокращенным изданием реального современного человечества.

«Пуля поражает человека в Нью-Йорке, он качается, делает шаг-другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим, иначе все полетит к чертям! Один пожар способен уничтожить всех нас, кто бы и почему бы его ни устроил».

И глубоко символично, что уничтожить этот «микромир», этот устоявшийся мировой порядок, вознамерился именно его «творец» голливудский босс мистер Дуглас. Тщетно старик сторож уговаривает миллионера оставить мир оживших воспоминаний в покое. Мистер Дуглас поначалу тоже было расчувствовался, но ненадолго. Интересы прибыли превыше всего, бутафорный Киногород неумолимо должен погибнуть.

Как видим, вольно или невольно Брэдбери указывает на реальную угрозу современному миру со стороны капитала, противопоставляя силам разрушения опять-таки простого человека. Возможно, здесь проявляются слабость и ограниченность писателя — со злом у него как правило, борются одиночки. Но ведь каждый человек должен сначала сам для себя решить — с кем си и против кого. Брэдбери, самое главное, ставит своих героев перед таким выбором и славит тех, кто говорит «нет» лжи и несправедливости, кто предпочитает солнце, а не тень жизни.

Этой нравственной позицией Рэй Брэдбери близок нашему читателю, воспитанному отечественной русской и советской классикой. Близок он нам и своим отношением к «вечным вопросам», своей оптимистической философией человека и техники.

Конечно, капитализм обманул надежды трудовой Америки. Сейчас на наших глазах идет стремительная эрозия традиционных американских ценностей, рушится «американская мечта», вознамерившаяся стать больше, чем буржуазный отчужденный человек. Американское общество ныне переживает глубокий кризис. Поэтому оптимизм мироощущения Рэя Брэдбери, возможно, уже не является типичным для состояния умов, выглядит несколько анахронизмом, напоминанием о «добрых старых временах».

Но нам, строящим молодой новый мир свободы, равенства и братства, понятна вера Брэдбери в человека и в его непреходящее достоинство.

Каковы же творческие планы Рэя Брэдбери, какие проблемы волнуют его сейчас?

Американская научная фантастика в настоящее время, по распространенному мнению, переживает закономерный «кризис жанра», встав вровень с парадоксальными проблемами века, совершив открытия и достигнув литературной «респектабельности», она во многом исчерпала свои возможности. Открытый лет сорок назад единый «фантастический космос» ныне художественно исследован почти до последних «белых пятен». Неудивительно, что Рэй Брэдбери осваивает, по-

видимому, более традиционные, но тем не менее еще достаточно просторные области литературы.

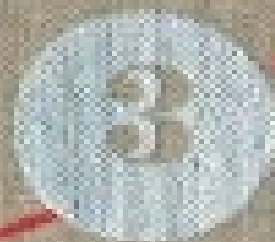
Недавно Рэй Брэдбери в письме к одному из своих московских друзей сообщил, что работает над тремя киносценариями, одной книгой прозы и двумя сборниками стихов. Судя по всему, писатель ныне находится в расцвете творческих сил. Поэтому можно надеяться, что он подарит поклонникам своего таланта еще не одну фантастическую и вместе с тем удивительно правдивую историю.

Примечания

1

Harwell — примерно: сладкозвучный родник (англ.).

Рэй Бредбери



Фантастика Рэя Брэдбери

В нашей стране самые разные читатели знают и любят творчество американского писателя Рэя Брэдбери — и те, кому дорого его волнение, волнение современника великой эпохи перемен, и те, кто видит в нем лишь рассказчика удивительных фантастических историй.

Творчество Брэдбери неповторимо своеобразно. Он — автор нескольких повестей: “Марсианские хроники”, “451° по Фаренгейту”, “Вино из одуванчиков”, “Надвигается беда” — и сборников рассказов. Но что бы он ни писал — рассказ, повесть или сценарий, — он всегда остается самим собой, узнаваемым с первых строк — удивительным поэтом мира превращений, мира тревог и надежд. Трагические конфликты окружающей действительности, исторические сдвиги, судьбы людей — все это Брэдбери воспринимает лирически, эмоционально. В его пересказе фантастическая история покорения Марса — это не хроника событий, а пестрая вереница человеческих жизней, встреч и разлук, смертей и надежд, любви и боли. Внешне “Марсианские хроники” — это сборник новелл, не связанных между собой ничем, кроме названия, да и то очень условного, ибо Марс у Брэдбери разный от рассказа к рассказу. Но внутренне все новеллы скреплены единым чувством, настроением, одной всепобеждающей мыслью о горечи человеческих утрат, тяжести человеческого пути и радости торжествующей, человечности. “Марсианские хроники” — это поэма о человеке и его борьбе за подлинно человеческий мир больших чувств, против всего злобного, равнодушного, жестокого.

Таков Брэдбери во всем. Он пишет о будущей истории, но не как историк, последовательно и методично, а взволнованно и потрясение, как очевидец людских страданий и радостей, ибо, по существу, он пишет о своем времени. Ему бесконечно важнее всех дат и открытий передать чудо человеческой улыбки или жеста, рассказать о простой и вечной радости жизни или о такой же простой и бездонной глубине человеческого горя. Из этих атомов существования для Брэдбери складывается история. Подлинным героем фантастики Брэдбери являются не наука и техника, изменяющие мир, а человек, живущий в этом исподволь меняющемся мире. Он пишет о том, что чувствует человек, когда чудо — радостное или грозное — входит в его жизнь. Удивительно пишет Брэдбери о человеке и о том, что его окружает, — будь то Земля, или космос, или холмы Марса, — с такой бережной чистотой, с такой пронзительной нежностью или печалью, что рассказы его кажутся плывущими в памяти строчками стихов или идущей неизвестно откуда музыкой. Да они и в самом деле напоминают поэзию, музыку: так же сливаются, отражаются друг в друге, переплетаются их настроения, темы, повторы, образуя настоячивые глубинные мотивы чувств и мыслей.

Фантастика Брэдбери всегда немного печальна. Это чувство рождено сознанием неизбежности утрат на том трудном пути, которым идут люди. Это чувство рождено и грустью расставания с “остановленным мгновением”, в которое вместились человеческие надежды, радость, боль, тоска. Всего лишь несколько минут из жизни человека, по имени Холлис, показал нам Брэдбери в рассказе “Калейдоскоп”, но в них вместились и вся его бессмысленно одинокая жизнь, и мечты, и разочарования, и последний полет — к смерти, и закономерный итог мучительных размышлений: “если бы, если бы

сделать что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, если б сделать что-то хорошее и знать про себя: я это сделал”. “Когда я врежусь в воздух, я вспыхну как метеор. Хотел бы я знать, увидит меня кто-нибудь?” — вот последняя мысль Холлиса, за которой следует удивительный по светлой печали конец: “Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падучая звезда!

Ослепительная яркая звезда прочертила небо иканула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание, — сказала мать. — Загадай скорее желание!”

В рассказах Брэдбери время — почти всегда остановленное время, из которого выхвачены ослепительным лучом воображения мгновения жизни. В этой мгновенной вспышке все кажется остановившимся, застывшим — жаркое солнце и неподвижный летний зной над просторами полей, прохлада в комнатах старинных пустых домов, стеклянный звон воды в марсианских каналах; звуки тоже застыли, они длятся, нарастают, заполняют мир; и люди чаще всего застыли в задумчивости, прислушиваясь к звону воды, шуму ветра, шагам на лестнице или внутреннему голосу. Все в мире Брэдбери словно прислушивается к чему-то приближающемуся, готовому совершиться. Этот мир пронизан настроением тревожного ожидания чуда, и герои Брэдбери тоже ждут чуда или беды со всей силой надежд и отчаяния, на которую способны только люди. Так земные люди прислушиваются к непонятным, рождающимся в них словам давно исчезнувшего марсианского языка, к тому, как неотвратно входит в их тела что-то большое и прекрасное. И чудо совершается — в этих заброшенных марсианских городах они превращаются в смуглых золотоглазых марсиан (рассказ “Смуглые и золотоглавые”).

“Чудо преображения” или “чудо беды” совершаются в мире Брэдбери с величайшей произвольностью, естественностью. Необычное таится в обычном — в природе, в людях. Оно пронизывает окружающее, дремлет в нем, готовое пробудиться. Это “двойное бытие” природы и человека, это дремлющее существование перемен придает рассказам Брэдбери их трепетное, неуловимое очарование. Так дремлет беда в мрачной тишине ночи “Дракона”, прерываемой лишь тревожными, отрывистыми словами рыцарей. Так тревожит воображение чудовищный рубец пустынной автострады, пересекающий необъятные, застывшие поля в “Большой дороге”.

Но в сказочном мире Брэдбери нет самого характерного для сказки — нет тех потусторонних сил, которые порождают чудо или беду. Судьба героев Брэдбери — это не слепой рок. Перемены, превращения, чудеса вызваны к жизни мечтой или страхом, любовью, добротой или равнодушием, отчужденностью людей, то есть человеческими чувствами, поступками.

В рассказе “Калейдоскоп” история гибели выброшенных из взорвавшейся ракеты космонавтов звучит как проклятие одиночеству, отчужденности людей, порожденным обществом, где правит погоня за местом, за личным благополучием. О в то же время это рассказ о преодолении отчужденности, о горькой, слишком поздно пришедшей радости взаимопонимания, любви к людям. Сытый и бездушный мир машинной цивилизации Брэдбери сравнивает с бетономешалкой (рассказ “Бетономешалка”). Она перемалывает в своих челюстях человеческую индивидуальность, уродует и опошляет все прекрасное. Герой рассказа бесконечно одинок, и это одиночество чувствующей и мыслящей личности неизбежно в мире земных и марсианских мещан. Фарс мещанского общества оборачивается трагедией личности и в конечном счете трагедией истории. Полицейская машина увозит последнего на земле прохожего в психиатрическую больницу: он осмелился уйти от телевизионных стен, от одури радио, от кондиционированного воздуха, от оболванивающего стандартного расписания мещанского капиталистического рая, ушёл просто гулять, просто дышать ночью и прохладой (рассказ “Прохожий”). Точно так же гонится полиция за героями рассказа “Кошки-

мышки”: они пытались бежать из кошмарного атомного и бактериологического человеконенавистнического общества. Так из рассказа в рассказ все сильнее звучит мотив трагической неустроенности мира, его внутреннего разлада.

В повести “451° по Фаренгейту” Брэдбери, как бы спроецировав в будущее современные США, показал мир, лишенный творчества, созидания, его технику, приспособленную только для того, чтобы набивать желудки и оболванивать умы, чтобы наживаться на голоде миллионов и угрожать атомной смертью миллиардам. Это мир, в котором пожарники сжигают книги, ибо самое опасное для существования этого мира -свободное чувство и свободная мысль. Это мир, отгороженный телевизионными стенами от природы — источника прекрасного и возвышенного. Это мир, в котором самые близкие люди бесконечно далеки друг от друга, разделены стеной непонимания, обречены на одиночество и покорность.

Так постепенно уходят из жизни чувства, знания, красота, культура, уступая место отчужденности, жестокости, равнодушию. И тогда неминуемо приходит расплата. Над городом Гая Монтэга беззвучно и стремительно проносятся атомные бомбардировщики, и город так же беззвучно тает в огне. А в рассказе “Завтра конец света” не менее трагичный конец Брэдбери поясняет словами: “Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться”.

Брэдбери никогда не объясняет, каковы первоисточники катастроф: жуткая убедительность его рассказов сильнее всяких объяснений: окружающий его мир настолько бесчеловечен, что он не может не погибнуть. Вот почему в его рассказах порой слышится мотив неизбежного конца, огня, в котором гибнет и все злое и все дорогое сердцу.

В рассказе “Вельд” львы, порожденные воображением детей, пожирают людей. В рассказе “Урочный час” дети ведут страшных пришельцев к месту, где прячутся родители. Дети — беспощадные разрушители, — этот образ словно преследует Брэдбери. Он видит этих детей, искалеченных, изуродованных капиталистической действительностью. Для него это символ растоптанности самых естественных человеческих чувств, их извращения в самом зародыше и в то же время — символ погибающего мира, в котором его будущее — дети — обращается против него самого.

Единственный выход, который может подсказать Брэдбери, это бегство. Герои Брэдбери бегут из механизированного, равнодушного мира к природе, красоте, к людям. Уходят негры из “линчующих штатов Америки” на Марс. Измученный и затравленный, бежит из города восставший Гай Монтэг — бежит в леса, к людям, хранящим в памяти книги и в сердце — чувство творчества и красоты. В камере для сумасшедших прячется от механизированного безумия окружающей действительности герой рассказа “Убийца”. Бегство и погоня — таков круг, в котором видит Брэдбери мечущегося, затравленного человека, пытающегося в мире отчужденности, насилия и равнодушия сохранить свое человеческое достоинство.

Философия Брэдбери вопреки трагическим мотивам внутренне оптимистична. Не случайно с такой любовью рисует Брэдбери простого человека, воспевает силу и естественность его переживаний. Не случайно с таким уважением и вниманием всматривается он в простейшие “атомы жизни”, открывая в них прозрачную глубину сильных и мужественных чувств. Он не только любит человека — он верит в него. Верит наперекор отчаянию, верит в победу доброго, светлого, прекрасного над злым, уродливым, темным. Верит в то, что восстановится связь времен, и человеческая история устремится в бесконечность. Космонавт, герой рассказа “Икар Монгольфье Райт”, ощущает себя сразу всеми этими героическими, дерзкими своими предшественниками. Брэдбери углубляет реальность, сообщая ей новую историческую перспективу: воочию видишь, как смыкаются эпохи, чтобы на своих

крыльях понести человечество к Луне. Только в этих объединенных усилиях вечной человеческой мечты о счастье, о свободном полете видит Брэдли путь к будущему. “Сегодня конец начала, — размышляет перед стартом первой ракеты старик в рассказе “Конец начальной поры”. — Сегодня начинается время, когда большие слова — вечность, бессмертие — приобретают смысл”.

Брэдли жаждет этого времени. Поэтому он жаждет перемен. Он ощущает их разлитыми в воздухе своей эпохи, не знает, какими они будут, но зовет их. Именно поэтому в его фантастике так двойствен лик бытия, в котором сквозь настоящее проступает фантастическое будущее. В бесконечных повторах, возвращениях он страстно ищет все новые и новые обличья перемен, их контуры, пытается угадать лицо будущего, донести до нас его свет, его радость. И в то же время скорбно видит, что перемены и обновления приходят через трагическую гибель старого. И картины этой гибели тоже преследуют его в бесконечных кошмарных вариациях, в ужасном калейдоскопе деталей. Брэдли — это поэт возрождения, идущего путем отрицания старого, злого, человеконенавистнического, обреченного общества. Сознание неизбежности этой трагедии делает его оптимизм героическим.

Но в противоречивом, сложном потоке времени одно остается для Брэдли постоянным и главным — человек. Человек — мера ценностей. В бесчеловечном мире американской действительности простые люди низведены до уровня придатков к машинам и потребителей машинной культуры. Они ощущают себя игрушками в руках непонятных, кажущихся им иррациональными жестоких “сил”. Так теряется вера в значение своей личности для других, для мира, для истории, так начинается разобщенность, а за ней — духовное оскудение, мещанство, обывательщина. Брэдли заново дарит людям огромный мир чистых и светлых чувств, восстанавливает величайшую ценность неповторимой человеческой жизни, веру в торжество доброты, мечты и справедливости ценой разрушения механизированного “рая”, ценой возвращения к первоосновам жизни — труду, природе, культуре, человеческой солидарности. В своем отрицании чуждого человеку мира “отчужденных людей” Брэдли близок великим традициям американской литературы Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека. Он не идет так глубоко, как они, в социальном, психологическом анализе духовного обнищания масс — этой американской общественной трагедии. Но он идет дальше, доходя в своем отрицании до логического конца, до пророчества полной гибели этого мира.

Он пытается заглянуть за перевалы этих катастроф и видит там солнечный край человечности. И дарит его улыбку боящимся поверить в это людям. Дарит им трудную, полную борьбы и испытаний веру в себя, в расцвет их задавленных бесчеловечным строем чувств.

Конечно, он не знает путей в эту страну, не знает путей созидания и лиц созидателей — недаром всего этого нет в его фантастике. Тем она и противоречива, что отрицание жестокой реальности и утверждение светлого фантастического идеала разорваны в ней зияющей пропастью смутных, неясных надежд. В этом — слабость фантастики Брэдли. Ее сила — в страстности отрицания главного зла современности — механизированного, буржуазно-мещанского “рая” и его порождения — войны; в удивительной поэтичности человеческих чувств, мечты, мысли; в остром, пронзительном ощущении идущих перемен и их неповторимом фантастическом выражении; в утверждении величия человека-труженика, творца.

Вот в чем суть этой удивительной фантастики.

Р.НУДЕЛЬМАН

Рэй Бредбери

451° градус по Фаренгейту

*451° по Фаренгейту — температура, при которой
воспламеняется и горит бумага.*

ДОНУ КОНГДОНУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек.

Хуан Рамон Хименес

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОЧАГ И “САЛАМАНДРА”

Жечь было наслаждением.

Испытываешь какое-то особое наслаждение при виде того, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках: громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина; кровь стучит в висках; а руки, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории, кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб; глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом; они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь.

Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, но хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чем, во всяком случае, ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещенный звездами тротуар вел к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты

пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог взглядеться или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание? Или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое, матовой белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье; оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как замороженная, смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она, наконец, оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарник? —
Голос ее замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Не отмоешь, — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он все равно что духи.

— Неужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Не знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были дома. — Можно, я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно —

ведь на дворе осень.

Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них.

— Ну вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца.

Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивленно спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы в конце концов такой же человек...

В со глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение, темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше.

Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые жжете?

Он рассмеялся.

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то, давно, пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Нет. Дома всегда были несгораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожности. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая ее. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости, — продолжала она. — Покажите им зеленое пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехать по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Нет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я еще кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но вспомнить так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

Но ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча; она — задумавшись, он — досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды.

Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, все равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали? Да, за то, что он шел пешком. О, мы очень странные люди.

— Но о чем же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то

вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством взгляделась в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

Но девушки перед ним уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза.

Какая странная ночь, и какая странная встреча! Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце.

— В чем дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного “я”, у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку. Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка! Он чувствовал, что, если у него зачесется глаз, она моргнет, если чуть напрягутся мускулы челюстей, она зевнет еще раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: “Да ведь, право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...”

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп. Непроницаемый мрак. Ни намек на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом

розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе, Он признал это. Он носил свое счастье, как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску обратно.

Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, не укрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные “Ракушки”, крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывается океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносит ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу.

Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька; два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни.

— Милдред!

Ее лицо было, как остров, покрытый снегом: если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя; если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом, заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль черного холста. Монтэга словно расколело надвое; словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики —

первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Он почувствовал, как его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шепот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рева черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто она шарилась там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур глубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это еще не все, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдастся, просто перестает работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили; дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке.

— Но ведь вы не врачи! Почему не прислали врача

— Врача-а! — сигарета подпрыгнула на губах санитаря. — У нас бывает по девять-десять таких

вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти, — они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. в десяти кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело опустился на стул и взгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты; протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

“Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видал”.

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как все изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бескрасочный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, ее отец и мать и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: “Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите”.

Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, ооченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не

знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета фуфайках выйдут на поле?

Монтэг побрел назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдред. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна, другая, третья, четвертая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвертая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И все кружится, несется, бурной, клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку.. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся к ней на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками “Ракушка” Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас, как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он.

Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Несколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Нет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как

будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело; мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел в вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизионной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было во флаконе.

— Ну да? — удивленно воскликнула она. — Не может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки а лотом забыла и приняла еще две, и опять забыла и приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — все, что было в флаконе.

— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Не знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел, — она этого даже не скрывала.

— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.

— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он

Она ответила, не поднимая головы

— Пьеса. Начнется через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: “Что ты скажешь на это, Элен?” — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — она стала водить пальцем строчкам рукописи. — Ага, вот: “По-моему, это просто великолепно!” Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: “Ты согласна с этим, Элен?” Тогда я отвечаю: “Ну конечно, согласна”. Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на нее.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чем говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень-очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет четвертая телевизионная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизионную?

Это стоит всего две тысячи долларов.

— Третью моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвертую стену, эта комната была бы уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятные люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, ее поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нем задумчивый взгляд. — Ну, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я еще не дочитала до конца.

Он подошел, заглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Еще что-то придумали?

— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождем.

— Мне бы не понравилось, — ответил он.

— А может, и понравилось бы, если б попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то попробовать, — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на что-то, зажатое в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след — значит, я влюблена. Ну как?

Что было делать? Он взглянул на ее подбородок.

— Ну? — спросила она.

— Желтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас. — У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Ну как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Нет, влюблен.

— Но этого не видно.

— Я влюблен, очень влюблен. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблен, — упрямо повторил он.

— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — она легонько тронула его за локоть...

— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну, я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать меня слой за слоем.

— Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Неправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Нет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная: на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лед, одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой как камень. И каждая половина его раздвоившегося “я” старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо под дождь, на мгновение открыл рот...

Механический пес спал и в то же время бодрствовал; жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто, Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пес напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно, — а это бывало каждую ночь, — пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и нескольких метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит ее лицо все в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, — к

скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пес заворчал.

Монтэг отпрянул.

Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности.

— Но-но, старик, — прошептал Монтэг; сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлен на Монтэга.

Монтэг попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест... Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть; его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.

Монтэг не сразу отошел от люка; он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шапке брандмейстера, украшенной изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался, наконец, и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пес? — Брандмейстер разглядывал карты у себя в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто “функционирует”. Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и все, что в нем есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.

— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Ну, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из пас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить “память” механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его “память” ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Насколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра все проверим. Бросьте об этом думать.

Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и “рассказал” псу?..

Брандмейстер подошел к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.

— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чем думает пес по ночам в своей конуре? Что он, в самом деле оживает, когда бросается на человека? Это даже страшна.

— Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не умеем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул.

— Экой вздор! Наш пес — это прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда; вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел ее сидящей на лужайке — она вязала синий свитер; три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и теплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром.

— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, — будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А еще потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочери, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Не знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать... — он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена... Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь правда подумала, что вы смеетесь надо мной. Я просто дурочка.

— Нет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что вы спросили. Меня уже так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела... Очень хорошо, что вы спросили.

— Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот понюхайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу. Она подняла на него свои лучистые темные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал... Не хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?

— Посмотрел. — И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь.

— Да?

— Да. Более непринужденно.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце,

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того чтобы учиться?

— Ну, в школе по мне не скучают, — ответила девушка. — Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому что на самом деле я очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми — значит болтать вот как мы с вами. — Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду. — Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории — что-то переписываем, или урок рисования — что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами — трах, трах, трах, — а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют виду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя

говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно, тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была маленькой, мне вовремя задали хорошую трепку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом.

— Но больше всего, — сказала она, — я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, все в порядке и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чем не говорят.

— Ну как это может быть!

— Да-да. Ни о чем. Сыплют названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют: “Как шикарно!” Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые остроты или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь все это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людей.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

— Конечно, замечательный. Ну, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо, как птичка, взлетаете по этому шесту.

Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода. Опять вас пес беспокоит?

— Нет-нет. Четвертый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сиэттле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Ничего себе — способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе; подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что, если пройдет еще раз, Кларисса нагонит его и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд метро положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции: "...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвертого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут..." Шлепанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно закрытые веки — хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг: начищенную медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. "...Час сорок пять минут..." Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза.

Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетные бомбардировщиков со свистом прорезала черное предзвездное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Монтэгу, вскрыет его вину, причину его мучений. Вину? Но в чем же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров; их профессия окрасила неестественным румянцем их щеки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные, как сажа, брови, синеватые щеки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щек? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Неужели в пожарные команды людей подбирали не только по их склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти; их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встает брандмейстер Битти. Берет новую пачку табаку, открывает ее — целлофановая обертка рвется с треском, напоминающим треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— Я... я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашенный.

— Но он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— Но если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещенных книг. Названия этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, политые струей керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Нет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— Когда-то, давным-давно!.. — воскликнул Битти. — Это еще что за слова?

“Глупец, что я говорю, — подумал Монтэг. — Я выдаю себя”. На последнем пожаре в руки ему попала книжка детских сказок, он прочел первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он. — Когда дома еще не были негосгораемыми... — и вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он; он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклеллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил, в них давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были скрыты именно на этой хорошо знакомой Монтэгу странице:

“Основаны в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

Правило1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.

2. Быстро разжигай огонь.

3. Сжигай все дотла.

4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.

5. Будь готов к новым сигналам тревоги”.

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения заколотился, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон.

Монтэг встал со стула и, словно во сне, спустился вниз по шесту.

Механический пес встrepенулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелеными огнями.

— Монтэг, вы забыли свой шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Ночной ветер разносил во все стороны рев сирены и могучий грохот металла.

Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверно, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор еще раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в своих толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг побежал за ними.

Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Наконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли:

— “Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда”.

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефонограмму:

“Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-Стрит”. Внизу вместо подписи стояли инициалы “Э.Б.”.

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Ну хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натываясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Все равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже пуст. Никому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку! Керосин сюда! У кого спички?

Но сегодня кто-то допустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от

возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Непорядок! Неправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало, ко всему остальному! Эта женщина! Ее не должно было быть здесь!

Книги сыпались на плечи и руки Монтэга, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом: "И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем". Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Над его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смиренно, как маленькая девочка.

Нет, он, Монтэг, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижала ее к нотному телу и вынырнула уже пустая... Ловкость, как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожалуйста! Ничего!

Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальновзоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздрагнув, он обернулся.

— Что вы там стали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, оскальзывались, падали, вспыхивали золотые глаза тисненых заглавий, падали, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451 — у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг, спотыкаясь, шел сзади.

— Выходите! — крикнули они женщине. — Скорее!

Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами залитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтэга.

— Не получить вам моих книг, — наконец выговорила она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Настоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Ну, идем!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас весь дом загорится, — сказал Битти.

Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который все еще стоял

возле женщины.

— Нельзя же бросить ее здесь! — возмущенно крикнул Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Надо ее заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Нам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубийством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдемте со мной.

— Нет, — сказала она. — Но вам — спасибо!

— Я буду считать до десяти, — сказал Битти. — Раз, два...

— Пожалуйста, — промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите, — ответила она.

— Три. Четыре...

— Ну, прошу вас, — Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь. — тихо ответила она.

— Пять. Шесть... — считал Битти.

— Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у нее была крохотная тоненькая палочка.

Обыкновенная спичка.

Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

“Господи, — подумал Монтэг, — а ведь правда! Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днем. Почему? Неужели только потому, что ночью пожар красивее, эффектнее как зрелище?”

На красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце.

— Уходите, — сказала женщина.

Монтэг почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на лужайку, где, как след гигантского червя, пролегла темная полоска керосина. Женщина шла за ними. На крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их.

Битти щелкнул зажигалкой.

Но он опоздал. Монтэг замер от ужаса.

Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила.

Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они

даже не курили трубок, только молча глядели вперед, на дорогу. Мощная “Саламандра” круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше.

— Ридли, — наконец произнес Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала “Ридли”. Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: “Будьте мужественны, Ридли”. И еще что-то... Что-то еще...

— “Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда”, — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг изумленно взглянули на брандмейстера.

Битти задумчиво потер подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Николас Ридли, когда их сжигали живо на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины.

— Я начинен цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Не зевайте, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Черт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку.

После небольшой паузы жена, наконец, сказала:

— Зажги свет.

— Мне не нужен свет.

— Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели; жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот значит как это вышло! Во всем виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой; скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передавалась уже и его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично на что, глядеть на вес...

— Что ты там делаешь? — спросила жена.

Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах.

Через минуту жена снова сказала:

— Ну! Долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты?

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена.

Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную как лед подушку и тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. Но ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме приятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки...

Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Наклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у нее была влажной.

Позже, ночью, он поглядел на Милдред, Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у нее опять были “Ракушки”, и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Не купить ли и ему, Монтэгу, портативный передатчик системы “Ракушка”, чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашепывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? Но что нашепывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он по ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушел на работу, и ни он, ни женщина так ни о чем и не догадались...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Не пугайся! Я только хотел спросить...

— Ну?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу.

Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Ну, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было... — она запнулась. — Я не знаю.

Ему стало холодно:

— Неужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. — Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. — Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретила со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения. — Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да, пожалуй что и не имеет, — сказал он.

Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах, и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: “Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько еще проглотишь и сама не заметишь?” Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую... А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и еще много ночей — теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь, — неподвижное тело жены, распростертое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещенными на груди руками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что, если она умрет, он не сможет плакать по ней. Ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете... И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, опустошенный человек и рядом глупая, опустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше опустошила эта голодная змея с электронным глазом...

“Откуда эта опустошенность? — спросил он себя. — Почему все, что было в тебе, ушло и осталась од: а пустота? Да еще этот цветок, этот одуванчик!” Он подвел итог: “Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены”. Почему же он не влюблен?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их “родственниками”: “Как поживает дядюшка Льюис?” — “Кто?” — “А тетушка Мод?”

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них еще пробивалась то тут, то там), проще сказать, Милдред в своей “говорящей” гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред:

“Надо что-то сделать!”

“Да, да, это необходимо!”

“Так чего же мы стоим и ничего не делаем?”

“Ну давайте делать!”

“Я так зла, что готова плевать!”

О чем они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят

делать? “Подожди и сам увидишь”, — говорила Милдред.

Он садился и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза плясали у него в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя, как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены... Вниз... Вниз... И ничего кругом... Пусто...

Гром стихал. Музыка умолкала.

— Ну как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. Но у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков.

Весь в поту, на грани обморока Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле, и вдогонку Монтэгу снова неслись голоса “родственников”:

“Теперь все будет хорошо”, — говорила тетушка.

“Ну, это еще как сказать”, — отвечал двоюродный братец.

“Пожалуйста, не злись”.

“Кто злится?”

“Ты”.

“Я?”

“Да. Прямо бесишься”.

“Почему ты так решила?”

“Потому”.

— Ну хорошо! — кричал Монтэг. — Но из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Что они, муж с женой? Жених с невестой? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя маять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Ну, в общем они поссорились. Они часто ссорятся. Ты бы только послушал!.. Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая, тогда это был жук — открытая машина, которую Милдред вела со скоростью ста миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. “Сбавь до минимума!” — кричал он. “Что?” — кричала она в ответ. “До минимума! До пятидесяти пяти! Убавь скорость!” — “Что?” — вопила она, не расслышав. “Скорость!” — орал он. И она вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были воткнуты “Ракушки”.

Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели.

Протянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред:

— Милдред! Милдред!

— Да, — еле слышно ответил ее голос из темноты.

Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?

— Какую девушку? — спросила она сонно.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса.

— А, да, — ответила жена.

— Я уже несколько дней ее нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты ее не видела?

— Нет.

— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.

— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.

— Я так и думал, что ты ее знаешь.

— Она... — прозвучал голос Милдред в темноте.

— Что она? — спросил Монтэг.

— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...

— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?

— Ее, кажется, уже нет.

— Как так — нет?

— Вся семья уехала куда-то. Но ее совсем нет. Кажется, она умерла.

— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.

— Нет. О ней. Маклеллан. Ее звали Маклеллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется, умерла.

— Ты уверена?..

— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.

— Почему ты раньше мне не сказала?

— Забыла.

— Четыре дня назад!

— Я совсем забыла.

— Четыре дня, — еще раз тихо повторил он.

Не двигаясь, они лежали в темноте.

— Спокойной ночи, — сказала, наконец, жена.

Он услышал легкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.

Он прислушался — его жена тихонько напевала.

За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил еще какой-то странный звук: словно кто-то дохнул на окно. Словно что-то, похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.

“Механический пес, — подумал Монтэг. — Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно...”

Но он не открыл окна.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл веками воспаленные глаза.

— Да, болен.

— Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен. — Он слышал, как в гостиной вопили “родственники”.

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю — сожженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас “родственники”!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

— Так лучше?

— Благодарю.

— Это моя любимая программа, — сказала она.

— Где же аспирин?

— Ты раньше никогда не болел. — Она опять вышла.

— Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Позвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный. — Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый ему стакан с водой.

— Ах! — Она снова ушла в ванную. — Что-нибудь вчера случилось?

— Пожар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер, — донесся со голос из ванной.

— Что же ты делала?

— Смотрела передачу.

— Что передавали?

— Программу.

— Какую?

— Очень хорошую.

— Кто играл?

— Да, ну там вообще — вся труппа.

— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг бог весть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивленно воскликнула она.

Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковер можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поет.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рева.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я

позвонила брандмейстеру Бнтти? А почему не ты гам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

“Потому что боюсь, — подумал он. — Притворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить потому, что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: “Да, брандмейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе”.

— Ты вовсе не болен, — сказала Милдред.

Монтэг откинулся на постели. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь все бросить? После стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты ее видела, Милли...

— Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книг! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, — ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал Монтэг. — Есть, ДО. ЛЖНО быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдет на смерть так, ни с того ни с сего.

— Просто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может бшь, даже нормальной нас с тобой. И мы ее сожгли.

— Это все пройдет и забудется.

— Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошел.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать! — воскликнул он. — Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене, — сказала Милдред. — Тебе полагалось уйти еще два часа тому назад. Я только сейчас сообразила.

— Дело не только в гибели этой женщины, — продолжал Монтэг. — Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы

записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и — пух! — за две минуты все обращено в пепел.

— Оставь меня в покое, — сказала Милдред. — Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе, — два лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и еще как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Посмотри, кто подъехал к дому.

— Мне все равно.

— Машина марки “Феникс” и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен, — промолвил он.

— Сам скажи. — Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза, — рупор сигнала у входной двери тихо забормотал: “Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли”. Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Придя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти.

— Выключите-ка “родственников”, — сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, выпустил в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, проведать больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие, белые как сахар зубы.

— Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночку попроситесь в отпуск.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните.

Он вертел в руках неразлучную свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: “Гарантирован один миллион вспышек”. Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку — зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.

— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли. А теперь нет. И очень жаль. — Пфф... — Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела. — Снова пфф!.. — Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заерзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту — не меньше — сидел молча, в раздумье.

— Как все это началось, спросите вы, — я говорю о нашей работе, — где, когда и почему? Началось, по-моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале двадцатого века, — кино, радио, телевидение. И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел на постели.

— А раз все стало массовым, то и упростилось, — продолжал Битти. — Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да, — ответил Монтэг,

Битти разглядывал узоры табачного дыма, пилившие в воздухе.

— Постарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия — собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Пересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Потом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять–двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с “Гамлетом” — вы, Монтэг, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтэг, это, наверно, так только, смутно знакомый звук, — так вот немало было людей, чье знакомство с “Гамлетом” ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: “Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей”. Понимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт,

господствовавший последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на нее внимания, Битти продолжал: — А теперь быстрее крутите пленку, Монтэг! Быстрее! Клик! Пик! Флик!^[1] Сюда, туда, живей, быстрее, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлеп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Политика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!..

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормозит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьет как следует подушку и снова положит ему за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: “Что это?” — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и, наконец, эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо ответил Монтэг.

— Застежка-молния заменила пуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и потому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Все визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дергая подушку.

— Да оставь же меня, наконец, в покое! — страстно воскликнул Монтэг.

Битти удивленно поднял брови.

Рука Милдред застыла за подушкой. Пальцы ее ощупывали переплет книги, и по мере того, как она начала понимать, что это такое, выражение ее лица менялось — сперва любопытство, потом изумление... Губы ее раскрылись... Сейчас спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издали, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на ее руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. — Не видишь, что ли, что

мы разговариваем?

Битти продолжал как ни в чем не бывало.

— А кегли любите?

— Да.

— А гольф?

— Гольф — прекрасная игра.

— Баскетбол?

— Великолепная.

— Бильярд, футбол?

— Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта, сверхорганизуйте сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива; и вот сегодня он ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной “тетушки” захохотали над “дядюшками”.

— Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитарийцев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, которые смотрят себе в пуп. — не дай бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги — в подслащенные помои. Так по крайней мере утверждали критики, эти заносчивые снобы. Не удивительно, говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала господу, привело к нынешнему положению. Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торгово-рекламные издания.

— Но при чем тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А, — Битти наклонился вперед, окруженный легким облаком табачного дыма. — Ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковыряться в моторах, летчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, слово “интеллектуальный” стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был,

наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы, и ненавидели его от всего сердца? И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны *стать* одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружье в доме у соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почему знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот, когда дома во всем мире стали строить из негорючих материалов и отпала необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные (раньше они тушили пожары, в этом, Монтэг, вы вчера были правы), тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров, Это — вы, Монтэг, и это — я.

Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтэга. Позади нее на стенах гостиной шипели и хлопали зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов тамтама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле заключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнения и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность.

— Да.

По движению губ Милдред Монтэг догадывался, о чем она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет.

— Цветным не нравится книга “Маленький черный Самбо”. Сжечь ее. Белым неприятна “Хижина дяди Тома”. Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Прочь все, что рождает тревогу. В печку! Похороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на пути в “большую трубу”. Крематории обслуживаются вертолетами. Через десять минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастливое совпадение! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевел дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся.

— Время от времени, случается — то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Ее семья нам известна.

Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудаков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятшек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, еще когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее подсознание, в этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами — это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начинайте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — ничего, зато им будет казаться, что они очень обрисованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо “факты”, которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут делать выводы и обобщения. Ибо это ведет к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к черту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте мне по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня потрянуло как следует.

Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам все разъяснил. Главное, Монтэг, запомните — мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнется. Милдред уже не было в дверях.

— Еще одно напоследок, — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать: да что же такое

написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так еще хуже: один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Почитаешь — голова кругом пойдет.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесет с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный пустой глаз..

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Позволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него.

— Да. Понятно. — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и все, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю, — ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось легкое удивление.

Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Попозже.

— Жаль, если сегодня не придете, — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман.

“Я никогда больше не приду”, — подумал Монтэг.

— Ну поправляйтесь, — сказал Битти. — Выздоровливайте. — И, повернувшись, вышел через открытую дверь.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своей сверкающем огненно-желтом с черными, как уголь, шинами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да: “Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чем-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит... дядя...” Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену; она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. “Миссис Монтэг”, — говорил диктор, — и еще какие-то слова. — “Миссис Монтэг” — и еще что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора, Диктор был

другом дома, близким и хорошим знакомым...

“Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда”.

Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушала.

Монтэг сказал:

— Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем.

— Но ты ведь пойдешь сегодня? — воскликнула Милдред.

— Я еще не решил. Пока у меня только одно желание — это ужасное чувство! — хочется все ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Поезжай, проветришься.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, только побыстрей. Доведешь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колеса кролик попадет, а то и собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо, Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. О черт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю. Как будто я слишком многое запер в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Но ведь тебя посадят в тюрьму. — Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена.

Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате.

— Ну и пусть. Может, так и надо, посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорил? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива, — рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — сказал Монтэг. — Не знаю что. Но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху, — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору.

Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился. — Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И, чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнес его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на стул. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну решетку и достал книгу. Не глядя, бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня, — сказал он. — Я сделал это не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба впутались в эту историю.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал ее прерывистое дыхание, видел ее побледневшее лицо, застывшие, широко открытые глаза. Она повторяла его имя — еще и еще раз, — затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил ее. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Перестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же!.. — он ударил ее по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы ее снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он — Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь! Нельзя их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав, мы вместе сожжем их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжем! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответ на вопрос, что ему делать.

— Хочешь не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны, наконец, разобраться, почему все так получилось — ты и эти пилюли, и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, черт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать все это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как нужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпи день, два. Вот все, о чем я тебя прошу, — и на том все кончится! Я обещаю, я клянусь тебе! И, если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупика разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она откатнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела ее лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю! Почему они боятся 'Клариссы и таких, как Кларисса? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарниками на станции и вдруг понял, что ненавижу их, ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупор у входной двери тихо забормотал: "Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли".

Тишина.

Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть. Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рупора: "...к вам пришли".

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова запрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться еще раз с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво прозвучал голос рупора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнем? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. — Думаю, надо начать с начала...

— Он войдет, — сказала Милдред, — и сожжет нас вместе с книгами.

Рупор у двери, наконец, умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чье-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись. По дорожке. Потом через лужайку...

— Посмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг.

Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десяток страниц, перескакивая с одной на другую, пока, наконец, не остановился на следующих строках:

“Установлено, что за все это время не меньше одиннадцати тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца”.

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди, — ответил Монтэг. — Начнем опять. Начнем с самого начала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СИТО И ПЕСОК

Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях, из золотой мишуры, и мужчины в черных бархатных костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по несколько раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу.

“Трудно сказать, в канон именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна, последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край; так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце”.

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять ее.

— Она же умерла. Ради бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену. Монтэг, весь дрожа, как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу:

— “Наша излюбленная тема: о Себе”. — Прищурившись, он поглядел на стену. — “Наша излюбленная тема: о Себе”.

— Вот это мне понятно, — сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много, много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в паза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с полу обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождем, что-то тихо заскреблось в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Почему молчит рупор?

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, легкое шипение электрического пара. Милдред рассмеялась.

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать ее?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах

голубых электрических разрядов.

— Продолжим, — спокойно сказал Монтэг.

Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мертвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот “родственники” — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице ее отразилось удивление, потом страх. — Он может прийти сюда, сжечь дом, “родственников”, все! О, какой ужас! Подумай, сколько денег мы вложили во все это? Почему я должна читать книги? Зачем?

— Почему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Прошлой ночью я видел змею. Отвратительней ее нет ничего па свете! Она была как будто мертвец и вместе с тем живой. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на нее? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда, прочитаешь их запись? Не знаю только, под какой рубрикой ее искать: “Гай Монтэг”, или “Страх”, или “Война”? А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклеллан? Где ее теперь искать? В морге? Вот слушай!

Над домом пронеслись бомбардировщики один за другим, пронеслись с ревом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они воют у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Почему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так, веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всем мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому Л!1 нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения все тех же ужасных ошибок! Я что-то не слыхал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, ну как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый клоун! Сегодня в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

“Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?” — Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

“Бедная Милли, — думал он. — Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?”

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрел год тому назад. В последнее время он все чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло вес, что произошло в тот день: зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме; при виде Монтэга он быстро спрятал что-то в карман пальто.

...Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Подождите!

— Я ни в чем не виноват! — воскликнул старик дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чем-нибудь виноваты, — ответил Монтэг.

Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых отсветах листвы. Потом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка; он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и, когда, наконец, его страх перед Монтэгом прошел, он стал словоохотлив: он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на него, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Потом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи. Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку — и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки ого, странно бессильные и ненужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о *самих вещах*, сэр. — говорил Фабер. — Я говорю об их *значении*. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумаги. До этой минуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки, — сказал старик, — на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас, — удивленно ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стенной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью “Предстоящие расследования (?)”. Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и, наконец, в трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного!

Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, веселым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять все сначала!..

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же ее вернуть! Ведь брандмейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Или Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задержались губы.

— Ну подумай, что ты делаешь? Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слушал ее. Он слышал голос Битти.

“Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берем страничку. Осторожно. Как лепесток цветка. Поджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключенные в словах, все лживые обещания, поддержанные мысли, отжившую философию.

Перед ним сидел Битти с влажным от пота лбом, и вокруг него пол был усеян трупами черных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на нее внимания.

— Остается одно, — сказал он. — До того как наступит вечер и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию.

— Ты будешь дома, когда начнется программа Белого клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Милдред.

Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои “родственники” любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаешь такие глупые вопросы? Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слез.

— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка, — сказала Милдред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог.

Дождь перестал; на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было; улица и лужайка были пусты. Вздох облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

“Я весь словно застыл, — думал он. — Когда же это началось? Когда застыло мое лицо, мое тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я натолкнулся ногой на флакон с таблетками, словно на спрятанную мину?”

Это пройдет. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я все сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернет мне мое прежнее лицо, мои руки, они опять станут такими, как были. Сейчас даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без нее я как потерянный”.

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота, изразцы и чернота, цифры и снова чернота, — все несло мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: “Если наполнишь сито песком, получить десять центов”. Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь дырочки. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный, июльский день, и слезы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слива просыпалась насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. “Я, Монтэг, должен это сделать, я заставлю себя это сделать!”

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры:

— Зубная паста Денгэм!..

“Замолчи, — думал Монтэг. — “Посмотрите на лилии, как они растут...”

— Зубная паста Денгэм!

“Они не трудятся...”

— Зубная паста...

“Посмотрите на лилии...” Замолчи, да замолчи же!..”

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— Денгэм. По буквам: Д-е-н...

“Не трудятся, не прядут...”

Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито.

— Денгэм освежает!..

“Посмотрите на лилии, лилии, лилии...”

— Зубной эликсир Денгэм!

— Замолчите, замолчите, замолчите!.. — эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Пассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу; все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денгэм, Денгэм, зубная паста, Денгэм, Денгэм, зубной эликсир — раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три; все, кто только *что* машинально бормотал себе под нос: “Паста, паста, зубная паста, паста, паста, зубная паста...”

И, как бы в отместку, рупоры обрушили на Монтэга топну музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились; оглушенные до состояния полной покорности, они не убегали, ибо бежать было некуда: огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей.

— Лилии полевые...

— Денгэм!

— Лилии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него:

— Позовите кондуктора.

— Человек сошел с ума...

— Станция Нолл Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл Вью! — громко.

— Денгэм, — шепотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтэг рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся Двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вдохе и выдохе и воздух обжигает горло. Вслед ему несся рев: “Денгэм, Денгэм, ДенгэмП”

Зашипев, словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Понимаете? Один.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно растворилась; выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы, и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под мышкой, и старик разом изменился; теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным. — Глаза Фабера были прикованы к книге. — Значит, это правда?

Монтэг вошел. Дверь захлопнулась.

— Присядьте, — Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню, и там — стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевел нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы?..

— Я украл ее.

Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу.

— Вы смелый человек.

— Нет, — сказал Монтэг. — Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге:

— Можно?..

— Ах да. Простите. — Монтэг подал ему книгу.

— Столько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор... — Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. — Все та же, та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню! А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из “родственников”. Я часто думаю, узнал бы господь бог своего сына? Мы так его раздели. Или, лучше сказать, — раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще какой-то пряностью из далеких заморских стран. Ребенком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я

был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать “виновных”. Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда, наконец, придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках, лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и теперь быть в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу все, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно, — в старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из мест, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас еще непонятно, о чем я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трех вещей. Первая. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более “художественна” книга. Вот мое определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам.

— Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже все его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но когда Геркулес оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да. Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите свое свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью ста миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Почему? Да потому, что эти изображения на стенах — это “реальность”. Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: “Да ведь это чистейший вздор!”

— Только “родственники” — живые люди.

— Простите, что вы сказал”?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой “реальностью”, как телевизор.

— И слава богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: “Подожди”. Вы ее властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже “среда” — такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— Денгэм, Денгэм, зубная паста... “Они не трудятся, не прядут”, — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Помогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу.

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть

печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хоть изложу свой план...

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: браво!

— Подбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне нужно знать наверняка, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам нужны знания. И, может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа: “Помни, Цезарь, что и ты смертен”. Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы: ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по дороге, так хоть будете знать, что плыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьезно — насчет пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего. не скажешь, — Фабер нервно покосился на дверь спальни. — Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! “Саламандра”, пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто еще?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших шпателей, историков, лингвистов?..

— Умерли ли уже очень стары.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут поло-зрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Пиранделло, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но все это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертисмент, и вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый клоун, или кричать громче, чем сам господин Главный Фокусник и все гостиные “родственники”? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг Друга?

Пока они говорили, над долом проносились эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается у них внутри.

— Потерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостиные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: “А я еще помню Софокла”? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже все равно?

— Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого.

— И вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи Спокойной ночи.

Руки Монтэга протянулись к библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.

— Хотели бы вы иметь эту книгу?

— Правую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас.

Старик взглянул на него.

— Вы этого не сделаете!

— Могу сделать, если захочу.

— Эта книга... не рвите ее!

Фабер опустил на стул. Лицо его побелело как полотно, губы дрожали.

— Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы научили меня.

— Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

— У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Почему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нейла, записался всего один студент. Понимаете? Впечатление было такое, как будто прекрасная статуя изо льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, повелителей огня. Так вот, Монтэг, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти “родственники”, обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот.

Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, черт! Стоит отвести глаза, и я уже все забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Битти! Он много читал, у него на все есть ответ, или так по крайней мере кажется. Голос у него, как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: черт возьми, до чего же весело!

Старик кивнул головой:

— Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание. С его губ слетело имя Монтэга.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:

— Пойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил дверь спальни. Следом за ним Монтэг вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Именно эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий пулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Полжизни просидел, трясясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, — вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Похоже на радиоприемник “Ракушку”.

— Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту пульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду, как пчелиная матка, сидящая в своем улье. А вы будете рабочей пчелой, моим путешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг!

Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Я слышу вас!

Старик засмеялся:

— Я вас тоже хорошо слышу, — Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтэга.

— Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмейстера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подскажу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в темноту, а сам остаюсь за линией фронта; мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает что может, — ответил Монтэг. Он вложил библию в руки старика. — Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...

— Да, завтра я повидаюсь с безработным печатником. Хоть это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только вам понадобится. И все же дай вам бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь растворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на темной улице и снова один на один с миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. По нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шел от станции метро; деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, — его обслуживали механические роботы). Он шел и, вставив “Ракушку” в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена... — Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов, — шептал голос Фабера в другом ухе. — Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня.

— На тех я тоже полагался.

— Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Перейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг.

Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер, на сон грядущий.

Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот слушайте. — Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. — Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шел по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с такой поспешностью, как человек, спасающийся от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтэг прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной.

Дожевывая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг, — предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался, — почти про себя сказал Монтэг. — Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтэг.

— Чудесное ревю, не правда ли? — воскликнула Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трех телевизиорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

“Как это она ухитряется?” — думал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновых лучах, как апельсиновый сок совершает путь по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета; потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Спустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетело несколько человеческих тел.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг просунул руку внутрь стены и повернул. центральный выключатель. Изображения на стенах

угасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнется война? — спросил Монтэг. — Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят, — сказала миссис Фелпс. — То приходят, то уходят, себе места не находят... Пита вчера призвали. Он вернется на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Пита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь, — сказала миссис Фелпс. — Пусть Пит беспокоится, — хихикнула она. — Пусть себе Пит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да, — подхватила Милли. — Пусть себе Пот тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Погибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на войне? Нет.

— На войне — нет, — согласилась миссис Фелпс. — Во всяком случае, мы с Питом всегда говорили: никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Пита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Пит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорей бы выходила замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред. — Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин; так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церквушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хотя он и пробовал обращаться к ним, как на молитве, и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться этой религией, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Все равно как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых — просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостиной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, пускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил, наконец, недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостиной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжелый сон без сновидений. Монтэгу чудилось — если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее становилась испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем острее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута — и они, громко зашипев,

взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка? Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена. Да, сэр. Мой врач говорил — кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены — и все. Как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут мне пинка. Слава богу, я еще могу ответить им тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но, видя, что Монтэг не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике.

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избравшихся в президенты.

— О да. А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький, немрачный, и выбрит кое-как, и причесан плохо.

— И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил. А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг — и ответ вам сразу станет ясен.

— Черт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете — ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем! Мы их обоих видели на стенах вот этой самой гостиной! Всего полгода назад. Один все время ковырял в носу. Ужас, что такое! Смотреть было противно.

— И, по вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс.

Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери!

Но Монтэг уже исчез; через минуту он вернулся с книгой в руках.

— Гай!

— К черту все! К черту! К черту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там к черту теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях! О собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал, и не верил своим ушам.

— Позвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов, — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо. — Вы все погубите. Сумасшедший! Замолчите!

Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг.

Они послушно сели.

— Я ухожу домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки, — миссис Фелпс кивнула головой. Будет очень интересно.

— Но это запрещено, — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу, — пронзительно звенела в ухо мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите да, Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете — ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу!

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— “Берег Дувра”.

Язык Монтэга прилипал к гортани.

— Ну читай же — погромче и не торопись.

В комнате словно веяло зноем. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней — три стула на середине и он, нетвердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвет руки от прически. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан

Когда-то полон был и, брег земли обвив,

Как пояс радужный, в спокойствии лежал.

Но нынче слышу я

Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив,

Гонимый сквозь туман

Порывом бурь, разбитый о края

Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать:

Дозволь нам, о любовь,

Друг другу верным быть. Ведь этот мир, что рос
Пред нами, как страна исполнившихся грез, —
Так многолик, прекрасен он и нов, —
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания,
И в нем мы бродим, как по полю брани,
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей.^[2]

Миссис Фелпс рыдала.

Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные таким бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясен и обескуражен.

— Тише, тише, Клара, — промолвила Милдред. — Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я... — рыдала миссис Фелпс. — Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот это-то я и хотела доказать! Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийства, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злей!

— Ну, а теперь... — шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошел к камину и сунул книгу сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова, — продолжала миссис Бауэлс. — Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете, так нужно еще мучить человека этакой чепухой

— Клара, успокойся¹ — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку. — Прошу тебя, перестань! Мы включим “родственников”, будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Ми сейчас устроим пирушку.

— Нет, — промолвила миссис Бауэлс. — Я ухожу. Если захотите навестить меня и моих “родственников”, милости просим, в любое время. Но в этом доме, у этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет.

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. — Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже размозжит себе голову! Идите домой и подумайте о то\ десятках аборт, что вы себе сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите! — уже кричал он. — Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул вас за дверь!

Дверь хлопнула, дом опустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег.

Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зеленую пульку и сунул ее в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!..

Монтэг обыскал весь дом и нашел, наконец, книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама уже начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал?

Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам.

— Милдред! — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил.

Пересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтэг чувствовал теперь, что в нем заключены два человека: во-первых, од сам, Монтэг, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал все время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи — и темные, и озаренные ярким светом луны — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его, наконец, переполнится и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создается новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним “я” и уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных.

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. А они ничего не видят — только этот нарядный, веселый блеск. Монтэг, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу: вы чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны. Помните, я

всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым¹. Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных глупых женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверно, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизнь такой, как она есть, закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, бы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире.

Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

— Мои ноги... — пробормотал Монтэг. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство. Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо. Меня били за это. И к сорока годам я отточил, наконец, оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идемте вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделенные глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке; я тоже буду слушать и все примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.

— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.

Механического пса в конуре не было. Она была пуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая “Саламандра” дремала, наполнив брюхо керосином; на ее боках, закрепленные крест-накрест, отдыхали огнеметы. Монтэг прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с опустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — вот идет любопытнейший экземпляр на всех языках мира именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзину и закурил сигарету.

— “Самый большой дурак тот, в ком есть немножко ума”. Добро пожаловать, Монтэг. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? В покер сыграем?

Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то те били что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу

казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни; они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтэга, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обгаренными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выхолил в Упорную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то, чтобы мы вам не доверяли, но, знаете ли, все-таки...

Все захохотали.

— Ладно уж, — сказал Битти. — Кризис миновал, и все опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в свое время заблуждаться. Правда всегда будет правдой, кричали мы. Не одиноки те кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя. “Мудрость, скрытая в живых созвучьях”, — как сказал сэр Филип Сидней. Но, с другой стороны: “Слова листве подобны, и где она густа, там вряд ли плод таится код сепию листа”, — сказал Александр Поп. Что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Осторожно, — шептал Фабер из другого далекого мира.

— Или вот еще: “Опасно мало знать; о том не забывая, кастаньскою струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум”. Поп, те же “Опыты”. Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтэг, а? Как вам кажется?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню, — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. — Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошел через это.

— Нет, я ничего, — ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. “Власть”, — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: “Знания сильнее власти” А я вам: тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: “Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность”. Держитесь пожарников, Монтэг. Все, остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его, — шептал Фабер. — Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком.

— Вы же мне ответили на это: “Правда, рано или поздно, выйдет на свет божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым”. А я воскликнул добродушно: “О господи, он все про своего коня!” А еще я сказал: “И черт умеет иной раз сослаться на священное писание”. А вы кричали мне в ответ: “Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье!” Тогда я тихонько шепнул вам: “Нужна ли истине столь ярая защита?” А вы снова кричали: “Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки

крови!” Я отвечал, похлопав вас по руке: “Ужель такую жадность пробудил я в вас?” А вы вопили: “Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!” Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: “Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам”, — как сказал однажды мистер Поль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: “Нет! Замолчите! Вы стараетесь все запутать. Довольно!”

Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Черт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труб и звона колоколов. Поговорим еще? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела ему на ухо мошка. — Он мутит воду!

— Ох, как вы напугались, — продолжал Битти. — Я и правда поступил жестоко — использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги — это такие предатели! Вы думаете, они вас поддержат, а они оборачиваются против вас же. Не только вы, другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на “Саламандре” и спросил: “Нам не по пути?” Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание; страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесенных ему ударов медленно затихали где-то в темных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели, наконец, вихри пыли, взметенные в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал все, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придется выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте — брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самих зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно подождать ровно сорок секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой кверху: вернемся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нем было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и ревом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе “Саламандры”, словно пища в животе великана. Пальцы Монтэга прыгали на сверкающих поручнях: то и дело срываясь в холодную пустоту; ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, все время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной, пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зернышки разума, и о своей нелепой идиотской затее читать им книгу. Все равно, что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Еще одна вспышка гнева, с которой он не умел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен, по-настоящему спокоен?

— Вперед, вперед!

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона; полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной грудью навстречу ветру.

— Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг?

Розовые, словно фосфоресцирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

“Саламандра” круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с нее люди. Монтэг стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

“Я не могу сделать этого, — думал он. — Как могу я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом”.

Битти — от него еще пахло ветром, сквозь которым они только что мчались, — вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Пожарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбежались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся.

Битти следил за его лицом.

— Что с вами, Монтэг?

— Что это? — медленно произнес Монтэг. — Мы же остановились у моего дома?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОГОНЬ ГОРИТ ЯРКО

В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя.

— Ну вот, — промолвил Битти, — вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумеваает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало; он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — темного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Все записано в ее карточке. Эге! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно поглядеть на ваше растерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп! Экая чушь! И что хорошего она всем этим сделала?

Монтэг присел на холодное крыло “Саламандры”. Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову: вправо-влево, вправо-влево...

— Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала...

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом: заставлять человека ни с того ни с сего чувствовать себя виноватым. Черт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась; по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в заостренней руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, — лицо белое от пудры, рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои “родственники”, бедняжки, бедняжки! Все погибло, все, все теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из граненого стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду.

— Монтэг, это я — Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите, какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но они есть, вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать! Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтэг?

— Монтэг, можете вы спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как зачарованные, потянулись к оранжевому язычку пламени.

— Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого и малого? — Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. — Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка! Ученые что-то лепечут о трений и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печь ее. Вот и вы, Монтэг, сейчас представляете собой такое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно. Гигиенично. Эстетично.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу — книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волновались, — просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты.

Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред.

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом.

— Монтэг, разве вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пес! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пес где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?

— Да. — Монтэг щелкнул предохранителем огнемета.

— Огонь!

Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтэг вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям; они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить, он сжег стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла

его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-“Ракушка”.

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает все!

— Монтэг, книги!

Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, их крылья пламенели красными и желтыми перьями.

Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища, с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — пустота откликнулась Монтэгу яростным пустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы пустота не проникла в его легкие. Как ножом, он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой, покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда кончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Было половина четвертого утра. Люди разошлись по домам: от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках; темные пятна пота расползались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники; их лица освещал слабый отблеск догорающих огней.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул.

— А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели, — вы по горло увязли в трясине; стоит мне только двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сровняли его дом с землей; там, под обломками, была погребена Милдред и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая; колени Монтэга сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну зачем, скажите пожалуйста, вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, покинув свое бездыханное, измазанное сажей тело на жертву этому безумствующему маньяку.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху.

Монтэг слышал далекий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман.

— Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах “Ракушка”, но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его чуть-чуть расширились. Монтэг прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки — что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство: сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Последние рокошующие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.

Лицо Битти расплзлось в чарующе-презрительную гримасу.

— Что ж, это недурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? “Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден”. Так, что ли? Эх вы, неудачливый литератор! Действуйте же, черт вас дери! Спускайте курок!

И Битти сделал шаг вперед.

— Мы всегда жгли не то, что следовало... — смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнемет, Гай, — промолвил Битти с застывшей улыбкой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту, что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемет.

— Повернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной; мот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по головам, сшиб с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса.

Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма.

Пес сделал прыжок — он взвился в воздухе фута на три выше головы Монтэга, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтэг встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком, — вокруг металлического тела зверя завилась желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнеметом футов на десять в сторону, к подножью дерева; Монтэг почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватая его за ногу, вонзает иглу, — и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло ее металлические кости из суставов, распорол ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета.

Монтэг лежа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливать по всему его телу...

Что же теперь делать?..

Улица пуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, еще дальше — двое пожарных и “Саламандра” ... Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить...

“Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать да ноги! Осторожно, осторожно... вот так!”

Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на нее, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ля их тревожила необычная тишина, Монтэг не знал. Хромая, припрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривает с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал он приказания, проклинал ос и молил — иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок.

“Битти, — думал он, — теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили: “Незачем решать проблему, лучше сжечь ее”. Ну вот я сделал и то и другое.

Прощайте, брандмейстер”.

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый... Посмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев — да, не сумел сдержать себя и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисса. И все же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы еще спасем то, что осталось, мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашел книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие “Саламандры”, рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

Битти, хотел умереть!

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтэга, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти, — пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: “Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!”

Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денгэм, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка — слишком много для двух–трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

“Вставай! — сказал он себе. — Вставай, черт тебя возьми!” — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и, наконец, после того как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках.

Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в неостывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбешка, в крохотной зеленой капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь куча костей, опутанных спекшимися сухожилиями.

Запомни: их надо жечь или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио — “Ракушку”, по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой.

— Внимание! Внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений

против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарник. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы; залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшего пустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее: слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декорации, и она предательски заманивала его на это пустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить.

“Ракушка” жужжала в ухе.

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг попятился обратно в тень. Прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба, сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука-автомобиля остановились возле нее, чтобы направиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжать свой путь... Путь куда?

Да, спросил он себя, куда же я бегу?

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его; даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Все равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдет дальше своим путем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские вертолеты. Их было много: казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: тут один, там другой — они Садлись на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с ревом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски.

Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора: “Война объявлена”. Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Пусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка кегельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на

ней безвестных жертв и безыменных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля.

Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В легких царапнуло, словно горячей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги, как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но все равно, пусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать-сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: он слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и, наконец, осветили Монтэга.

Иди-иди, не останавливайся!

Монтэг замылся на мгновение. Потом крепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Нот его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче — машина набирала скорость.

Полиция, конечно. Заметили меня. Все равно спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и все.

Машина мчалась, машина редела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и добежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперед, вперед, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту, а жук-автомобиль несся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рев, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал.

Я погиб! Все кончено!

Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтэга, бешеный жук вдруг круто

свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он глянул вдоль бульвара. Пусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диковинка в наши дни! — и решили: “А ну, сшибем его!” — даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот–шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернуться домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и заключалась для них прелесть таких прогулок.

“Они хотели убить меня”, — подумал Монтэг. Он стоял пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. “Да, они хотели убить меня просто так. ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают”.

Монтэг побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из руки в руку, словно игрок карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно повторил еще раз очень громко:

— Может быть, это они убили Клариссу!

И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку.

Слезы застилали ему глаза.

Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочила на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтэг не упал?..

Монтэг вдруг затаил дыхание.

В четырех кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая этим все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в темном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или минуту назад? Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез; взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы...

Дом был погружен в молчание.

Монтэг подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

“Мисс Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так

с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что жег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям”.

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги в кухне и вышел обратно в переулочек. Он оглянулся: погруженный в темноту п молчание, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились вертолеты. По пути Монтэг зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены и “Саламандры” с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять п смотреть, как пылает и рухнет крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Еще раз. Еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предраассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь.

— Я вел себя как дурак, с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу, одному богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, ни делали глупости из-за стоящего дела. — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемёта.

Фабер опустился на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как все это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом. Милли ушла; я считал, что она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книга в дом пожарника. О господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что это так. Хоть в это я верю, а больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно

должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что, наконец, делаю то, что нужно. Или, может быть, потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена волна?

— Да, слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Боинга кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана стодолларовую бумажку. — Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела.

Фабер кивнул головой.

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих углах, еще можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их называют. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анжелос, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большею частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события.

Фабер торопливо провел Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.

Он включил экран.

— Монтэг, — произнес телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пес.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится

тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника...

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это нам не мешает.

Они выпили.

— ...Обоняние Механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки.

Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу, словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе, словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там где он взял ее рукой, — их было множество, и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупинки его существа, он, Монтэг, был везде — и в доме, и снаружи, он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

— Сейчас Механический пес будет высажен с вертолета у места пожара!

На экранчике возникли сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающимся с неба вертолет, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война...

Как зачарованный, боясь пошевелиться, Монтэг следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. "А ведь это все обо мне, — думал он. — ах ты, господи, ведь это все обо мне!"

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным, широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объятому пламенем дому мистера и миссис Блэк и, наконец, сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитость, о которой все говорят, к которой прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазеваётся в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла — во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад пробужденных ото сна истошным воплем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать это редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он; Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! — Где ему найти такое слово, такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, чтобы пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С вертолета плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мертвое, ни живое, что-то излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемет и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, щелканье, легкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана:

— Пора. Я очень сожалею, что все так вышло.

— Сожалеете? О чем? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я все это заслужил. Идите, ради бога идите! Может быть, мне удастся задержать их.

— Постойте. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половик в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах, посыпьте все нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю ваши поливные установки в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку:

— Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или еще через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный почтамт, до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт, — это было бы очень хорошо и для вас и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Еще одна просьба. Скорей дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье — старый костюм, чем заношенной, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера, — промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий.

Взяв впеки, Монтэг обрызгал им поверхность чемодана:

— Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно, я возьму с собой остаток виски? Оно мне еще пригодится. Ох, господи, надеюсь, что наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки, и уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, пригнувшись к ночному ветру. Над ним кружились вертолеты с телекамерами. Пес вошел в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и

ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему послышалось, что старик что-то крикнул ему на прощанье — или, может быть, это ему только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колышется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом Механический пес не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, все время ощущал за собою гнет этой тишины. Потом гнет стал сильнее. Монтэг бросился бежать.

Он бежал к реке. Останавливаясь но временам, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неоновых пара, то появлялся, то исчезал Механический пес, мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера!

“Беги, — говорил себе Монтэг, — не останавливайся, не мешкай!”

Экран показывал уже дом Фабера; поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая.

Нет! (Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

У Монтэга стало тесно в груди, словно туда засунули сжатый кулак.

Механический пес повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К черту! К черту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, все сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймут его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо “Ракушку”:

— Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак,

приготовиться!

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, пробующий в данный момент способность своих ног двигаться, бежать!

— Выглянуть, по счету десять. Начинаем. Один! Два!

Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее!левой, правой!

— Четыре!

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

— Пять!

Их руки коснулись дверных ручек.

С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

— Шесть, семь, восемь!

На тысячах дверей повернулись дверные ручки.

— Девять!

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону, к темной движущейся массе воды.

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба; бледные, испуганные, они прячутся за занавесками; как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами; серые мысли сквозят в окоченелой плоти.

Но Монтэг был уже у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу, он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног; течение подхватило его и понесло в темноту.

Он уже успел проплыть ярдов триста по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры вертолетов. Потоки света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувствовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, вертолеты повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная река и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, уходя все

дальше от города и его огней, все дальше от погони, ото всего.

Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него.

Темные берега скользили мимо; река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг огней. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить его.

Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна; она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, она давала время обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю его жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтэга и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих минут, проведенных на этой реке, он понял, наконец, почему никогда больше он не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Все сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в грампластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта, подошвы ботинок закрипели о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела; зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтэга. Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами вертолетов.

Но по равнине пробежал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погоня переключалась обратно в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

“Милли, — подумал он. — Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй, стала бы кричать: “Замолчи! Замолчи!”

Милли, Милли". Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтэга давно забытую картину. Однажды еще совсем ребенком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью завесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтаются в полдень в теплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками.

Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в пустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Пролежать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, Знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху, в своей залитой лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерти, под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своем надежном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные, незнакомые ему звезды тихо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнул глаз и всю ночь на губах его играла улыбка; теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужат для него самым лучшим отдыхом.

А внизу, у лестницы, его будет ожидать еще одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой.

У подножья лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это все, что ему теперь нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать.

Стакан молока, яблоко, груша.

Он вышел из воды.

Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, ледящим мокрым телом ветром, — все это разом навалилось на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!); она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок солено-жгучей водой. Слишком много воды!

А тут было слишком много земли.

И внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним, — шорох, чья-то тень, два глаза. Словно сама ночь вдруг глянула на него. Словно лес глядел на него.

Механический пес!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь, наконец, на берег, вдруг перед тобой...

Механический пес!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека.

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был один в лесу.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника; в глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступали! назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей у него в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, были миллиарды; ноги Монтэга погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля; так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, -как будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтэг поднес пальцы к лицу: они пахли лакрицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился дом него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он брел, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Тут было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шепот леса.

Он двинулся вперед по шпалам.

И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по рельсам, остро ощущая, как темнота впитывается в

его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь.

Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился — оп мигал вдали, словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте; казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонек горел, и Монтэг начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти близко; он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое; странным показался Монтэгу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он *согревал*.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах от этого огня был совсем другой.

Бог весть, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, которого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и, если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплomu потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенных рельсов и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.

А затем он услышал голоса; люди говорили, но он не мог еще разобрать о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише, — перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его; они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтэг чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и ней-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладна, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос, — Милости просим к нам.

Монтэг медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить.

— Садитесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. — Хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как темная дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку; потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувствуя на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэг пил кофе.

— Благодарю, — сказал он. — Благодарю вас от всей души.

— Добро пожаловать, — Монтэг. Меня зовут Грэнджер. — Человек, назвавшийся Грэнджером,

протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. — Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится Механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить, как от козла, но это не важно, — сказал Грэнджер.

— Вы знаете мое имя? — удивленно спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и подумали, что вы спуститесь по реке на юг, и, когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно пьяный лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда вертолеты вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заматались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты сосредоточиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм Гроув парка!

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдет и пяти минут, как они поймут Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе вертолета, был теперь наведен на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер. — Сейчас появись вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера! Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудаков, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете, просто так, без всяких причин, или потому, что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперед.

На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался Механический пес. Вертолеты направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света.

Голос диктора торжествующе возвестил:

— Это Монтэг! Погоня закончена!

Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал скачок — ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину — недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, стремящуюся к пишешь

— Монтэг, не двигайтесь! — произнес голос с неба.

В тот же миг пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!..

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора:

— Поиски закончены. Монтэг мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано.

Темнота.

— Теперь мы переносим вас в “Зал под крышей” отеля Люкс. Получасовая передача “Перед рассветом”. В нашей программе...

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намек — воображение зрителя дополнит остальное. О черт, — прошептал он.

Монтэг молчал; повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана.

Грэнджер легонько коснулся его плеча.

— Приветствуем воскресшего из мертвых.

Монтэг кивнул.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Грэнджер. — Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кембриджском университете; это было в те годы, когда Кембридж еще не превратился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гассета^[3]; вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял всех своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием: “Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом”. И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас, — с трудом выговорил, наконец, Монтэг. — Вся жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из “Откровений Иоанна Богослова”, но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?

— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо, — будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— Но я все забыл!

— Нет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

— Я уже пытался вспомнить.

— Не пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть “Республику” Платона?

— О да; конечно!

— Ну вот, я — это “Республика” Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Симмонс — Марк Аврелий.

— Привет! — сказал мистер Симмонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры “Путешествие Гулливера”. А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швайцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок^[4], Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Нет, это так, — ответил, улыбаясь, Грэнджер. — Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся,

меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Но уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своем красочном уборе. О чем вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. Но наш путь борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Наша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целостности и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Некоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело: мы ждем, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Не мы управляем страной, мы лишь ничтожное меньшинство, глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. Много, конечно, будет потеряно. Но людей нельзя силой заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем, почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы — бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале все было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, — это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше. Некоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо “Уолден”^[5] живет в Грин Ривер, глава вторая — в Уиллоу Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего в двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы; в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрانا Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы, — столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать; созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придется опять все начинать сначала. Но у человека есть одно замечательное свойство: если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

— Ждать. — ответит Грэнджер. — И на всякий случай уйдем подальше, вниз по реке.

Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще

люди молча гасили огонь.

При свете звезд они стояли у реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошел. Но он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он.

Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией. — это им не опасно; они это знают, знаем и мы; все это знают. Пока весь народ — массы — не цитирует еще Хартию вольностей и конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Нет, нас горожане не трогают. А вас, Монтэг, они здорово потрепали.

Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном мраке. Но ничего этого он не видел на их лицах. Там, у костра, их озарял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проводших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное; и вот, наконец, уже стариками они собрались вместе, чтобы поглядеть, как опустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставят зарю будущего разгореться более чистым пламенем, они ли в чем не были уверены, кроме одного — они вплели книги, стоящие на полках, книги с еще не разрезанными страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально вглядывался в лица своих спутников.

— Не пытайтесь судить о книгах по обложкам, — сказал кто-то.

Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке.

Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолеты; они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город; сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо, — сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую по ней. Странно, но я как будто неспособен ничего чувствовать, — промолвил Монтэг. — Секунду назад я даже подумал: если она умрет, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу, — ответил Грэнджер, беря его под руку; он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника. — Когда я был еще мальчиком, умер мой дед: он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей, это он помог очистить наш город от трущоб. Нам, детям, он мастерил игрушки; за свою жизнь он, наверно, создал миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот, когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет; дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории — никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих,

и, когда он умер, все это выпало из нашей жизни: не осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий. Очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шел молча.

— Милли, Милли, — прошептал он, — Милли.

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о ее руках, но не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать.

Монтэг обернулся и взглянул назад.

Что дал ты городу, Монтэг?

Пепел.

Что давали люди друг другу?

Ничего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и смотрел в сторону города.

— Мой дед говорил: “Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив”. Мой дед говорил: “Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы во всем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником, — говорил мне дед. — Первый пройдет, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение”.

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах “Фау-2”, — продолжал он. — Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни — это все равно что булавочный укол. Мой дед раз десять провернул этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на земле им отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто, чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу.

— Дед мой умер много лет тому назад, но, если вы откроете мою черепную коробку и взглянете в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был

скульптором, я уже говорил вам. “Ненавижу римлянина по имени Статус Кво, — сказал он мне однажды. — Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К черту! — говорил он. — Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю!”

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг.

В это мгновенье началась и окончилась война.

Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели я видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, чуть уловимое движение... За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас с ужасающей быстротой, и вместе с тем так медленно, бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима пуля в бешеной быстроте своего полета; и не знакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит, но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был один-единственный мгновенный жест. Но Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом; он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляй камня на камне, погибни. Умри.

На какое-то мгновенье Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. “Бегите! — кричал он Фаберу. — Бегите! — кричал он Клариссе. — Беги, беги!” — зывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город; где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа путь из одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило; оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Не успеет автобус пройти еще пятидесяти ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора.

А Милдред?..

Беги, беги!

В какую-то долю секунды пока бомбы еще висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых не умолкая говорили с ней “родственники”. Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей — Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его призрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может, — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившись плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало; он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо, лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло ее вниз, на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго, много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки от домино, водяным смерчем прошлась по реке, взметнула черный столб пыли и, заставив в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их и в это мгновение увидел, что город поднялся на воздух. Казались, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение — новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал на один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесков разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы свергаться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Спустя несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил... Да, да, я вспомнил что-то! Что это, что? Экклезиаст! Да, это главы из Экклезиаста и “Откровений”. Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он! Прижавшись к земле, еще вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны, и теперь реклама зубной пасты Денгэм не мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него...

— Вот и все, — произнес кто-то.

Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от удара взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носа.

Монтэг лежа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли; вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдем вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть, мы пойдем этим путем? А может быть, мы пойдем по большим дорогам? И теперь у нас будет время все разглядеть и все запомнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнем наш путь; мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все! И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим “я”. Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнет от меня. Когда-нибудь он весь будет в моих руках; сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих. Еще какое-то время Монтэг и остальные лежали в полузабытьи, — на грани сна и пробуждения, еще не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей: разжигать костер, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное.

Монтэг приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. На темном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь. Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятья, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет, — промолвил он после долгого молчания. — Ничего не видно. Так, кучка муки. Город исчез. — Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько еще городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонек положили пучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот, наконец, костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнем. Лучи солнца коснулись их затылков. Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем, а потом повернем обратно и пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молча следили за этим ритуалом.

Грэнджер смотрел в огонь.

— Феникс, — сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой родней человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы

это знаем, и все это записано, и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остыть. Затем все молча, каждый думая о своем, принялись за еду.

— Теперь мы пойдем вверх по реке, — сказал Грэнджер. — И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. Но заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.

Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг пошел вперед. Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдет, уже один, по этим местам и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, что прошли здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий путь: они будут идти все утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чем думать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто выговорит то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверняка, что все это цело в его памяти. Монтэг чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. Но что еще? Есть еще что-то, еще что-то, что надо сказать...

“...И по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой; и листья древа — для исцеления народов”.

Да, думал Монтэг, вот что я скажу им в полдень. В поддень... Когда мы подойдем к городу.

Рэй Бредбери

Рассказы

Из сборника “ЧЕЛОВЕК В КАРТИНКАХ”

ПРОЛОГ: ЧЕЛОВЕК В КАРТИНКАХ

С Человеком в картинках я повстречался ранним томным вечером в начале сентября. Я шагал по асфальту шоссе, это был последний переход в моем двухнедельном странствии по штату Висконсин. Под вечер я сделал привал, подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать — п тут-то на вершину холма поднялся Человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченный на светлом небе.

Тогда я еще не знал, что он — в картинках. Разглядел только, что он высокий и прежде, видно, был поджарый и мускулистый, а теперь почему-то располнел. Помню, руки у него были длинные, кулачищи — как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское.

Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил, еще и не посмотрев на меня:

— Не скажете, где бы мне найти работу?

— Право, не знаю, — сказал я.

— Вот уже сорок лет не могу найти постоянной работы, — пожаловался он.

В такую жару на нем была наглухо застегнутая шерстяная рубашка. Рукава — и те застегнуты, манжеты туго сжимают толстые запястья. Пот градом катится по лицу, а он хоть бы ворот распахнул.

— Что ж, — сказал он, помолчав, — можно и тут переночевать, чем плохое место. Составлю вам компанию — вы не против?

— Милости просим, могу поделиться кое-какой едой, — сказал я.

Он тяжело, с кряхтеньем опустился наземь.

— Вы еще пожалеете, что предложили мне остаться, — сказал он. — Все жалеют. Потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября, День труда — самое распрекрасное время. В каждом городишке гулянье, народ развлекается, тут бы мне загребать деньги лопатой, а я вон сижу и ничего хорошего не жду.

Он стащил с ноги огромный башмак и, прищурясь, начал его разглядывать.

— На работе, если повезет, продержусь дней десять. А потом уж непременно так получается — катись на все четыре стороны! Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут, лучше и не соваться.

— Что ж так?

Вместо ответа он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мешкотно и неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу. Сунул руку за пазуху, осторожно ощупал себя.

— Чудно, — сказал он, все еще не открывая глаз. — На ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь — вдруг в один прекрасный день погляжу, а они пропали! В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весь изжаришься, думаешь — может, их потом смоет или кожа облупится и все сойдет, а вечером

глядишь — они тут как тут. — Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди. — Тут они?

Не сразу мне удалось перевести дух.

— Да, — сказал я, — они тут.

Картинки.

— И еще я почему застегиваю ворот — из-за ребятни, — сказал он, открывая глаза. — Детишки гоняются за мной по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован, а ведь всем неприятно.

Он снял рубашку и свернул ее в комок. Ой был весь в картинках, от синего кольца, вытатуированного вокруг шеи, и до самого пояса:

— И дальше то же самое, — сказал он, угадав мою мысль. — Я весь как есть в картинках. Вот поглядите.

Он разжал кулак. На ладони у него лежала роза — только что срезанная, с хрустальными каплями росы меж нежных розовых лепестков. Я протянул руку и коснулся ее, но это была только картинка.

Да что ладонь! Я сидел и пялил на него глаза — на нем живого места не было, всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки — целые толпы, да так все хитро сплетено и перепутано, так все ярко и живо, до самых малых мелочей, что казалось — даже слышны тихие, приглушенные голоса этих бесчисленных человечков. Стоило ему чуть шевельнуться, вздохнуть — и вздрагивали крохотные рты, подмигивали крохотные зеленые с золотыми искорками глаза, взмахивали крохотные розовые руки. На его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы, тут же словно протянулся Млечный Путь — звезды, солнца, планеты. А человечки теснились кучками в двадцати разных местах, если не больше, — на руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер подмышек, глаза их так и сверкали. Каждый хлопотал о чем-то своем, каждый был сам по себе, точно портрет в картинной галерее.

— Да какие красивые картинки! — вырвалось у меня.

Как мне их описать? Если бы Эль Греко в расцвете сил и таланта писал миниатюры величиной в ладонь, с мельчайшими подробностями, в обычных своих желто-зеленых тонах, со странно удлинненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомого. Краски пылали в трех измерениях. Они были точно окна, распахнутые в живой, зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей реальностью. Здесь, собранное да одной и той же стене, сверкало все великолепие вселенной; этот человек был живой галереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяница-татуировщик, все малюющий в три краски. Нет, это было создание истинного гения, трепетная, совершенная красота.

— Еще бы! — сказал Человек в картинках. — Я до того горжусь своими картинками, что рад бы выжечь их огнем. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом...

Солнце садилось. На востоке уже взошла луна.

— Понимаете ли, — сказал Человек в картинках, — они предсказывают будущее.

Я молчал.

— Днем, при свете, еще ничего, — продолжал он. — Я могу показываться в балагане. А вот ночью... все картинки двигаются. Они меняются.

Должно быть, я невольно улыбнулся.

— И давно вы так разрисованы?

— В тысяча девятисотом, когда мне было двадцать лет, я работал в бродячем цирке и сломал ногу. Ну п вышел из строя, а надо ж было что-то делать, я и решил — пускай меня татуируют.

— Кто же вас татуировал? Куда девался этот мастер?

— Она вернулась в будущее, — был ответ. — Я не шучу. Это была старуха, она жила в штате Висконсин, где-то тут неподалеку был ее домишко. Этакая колдунья, то дашь ей тысячу лет, а через минуту поглядишь — лет двадцать, не больше, но она мне сказала, что умеет путешествовать во времени. Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха.

— Как же вы с ней познакомились?

И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску: РОСПИСЬ НА КОЖЕ! Не татуировка, а роспись! Настоящее искусство! И всю ночь напролет он сидел и чувствовал, как ее волшебные иглы колют и жалят его, точно осы и осторожные пчелы. А наутро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пропустили через типографский пресс, печатающий рисунки в двадцать красок.

— Вот уже полвека я каждое лето ее ищу, — сказал он в потряс кулаком. — А как отыщу — убью.

Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под лунной травой и пшеница в полях. А картинки на странном человеке все еще горели в сумраке, точно раскаленные уголья, точно разбросанные пригоршни рубинов и изумрудов, и там были краски Руо, и краски Пикассо, и удлиненные плоские тела Эль Греко.

— Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. Им не по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти. Каждая картинка — повесть. Посмотрите несколько минут — и она вам что-то расскажет. А если три часа будете смотреть, увидите штук двадцать разных историй, они прямо на мне разыгрываются, вы и голоса услышите, и разные думы передумаете. Вот оно все тут, только и ждет, чтоб вы смотрели. А главное, есть на мне одно такое место, — он повернулся спиной. — Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то.

— Вижу.

— Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается и па нем появляется картинка. Если рядом женщина, через час у меня на спине появляется ее изображение и видна вся ее жизнь — как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в шестьдесят лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение: как он свалится с обрыва или поездом его переедет. И опять меня гонят в три шеи.

Так он говорил и все поглаживал ладонями свои картинки, будто поправлял рамки или пыль стирал, точь-в-точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Потом лег, откинувшись на спину, очень большой и грузный в лунном свете. Ночь настала теплая. Душно, ни ветерка. Мы оба лежали без рубашек.

— И вы так и не отыскали ту старуху?

— Нет.

— И, по-вашему, она явилась из будущего?

— А иначе откуда бы ей знать все эти истории, что она на мне разрисовала?

Он устало закрыл глаза. Заговорил тише:

— Бывает, по ночам я их чувствую, картинки. Вроде как муравьи по мне ползают. Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почт не сплю. И вы тоже лучше не смотрите, вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня.

Я лежал шагах в трех от него. Он был как будто не буйный и уж очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовни. Но эти картинки... Я все не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если б его так изукрасили.

Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль, в овражках, не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтоб видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли Человек в картинках, но вдруг я услышал его шепот:

— Шевелятся, а?

Я понаблюдал с минуту. Потом сказал:

— Да.

Картинки шевелились, каждая в свой черед, каждая — всего минуту–другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли, и, словно далекий прибой, тихо роптали голоса. Но сумею сказать, час ли, три ли часа все это длилось. Знаю только, что я лежал как зачарованный и не двигался, пока звезды свершали свой путь по небосводу...

Человек в картинках шевельнулся. Потом заворочался во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая картинка — на спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую еще не пала утренняя роса, ладонью вверх. Пальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился, и на груди его я увидел черную пустыню, глубокую, бездонную пропасть — там мерцали звезды, и среди звезд что-то шевелилось, что-то падало в черную бездну; я смотрел, а оно все падало...

КАЛЕЙДОСКОП

От первого же толчка ракета раскрылась сбоку, точно вспоротая гигантским консервным ножом. Людей выбросило в пустоту, и они рассыпались, извиваясь, точно десяток серебристых рыбешек. Они очутились к море тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного солнца.

— Баркли, где ты, Баркли?

Голоса перекликались, как дети, заблудившиеся в холодную зимнюю ночь.

— Вуд, Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я — Стоун!

— Стоун, это я — Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Они были словно камешки, брошенные в колодец. Их словно метнула гигантская праща. Они были уже не люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны.

Это была правда. Холлис, летя кувырком в пустоте, понял — это правда. Понял и как-то отупело смирился. Они расстанутся, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными колпаками, но никто не успел нацепить энергоприбора. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеоры, разрозненные песчинки, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и на смену пришло оцепенелое спокойствие. Пустота — огромный, мрачный ткацкий станок — принялась ткать свои нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся окончательный узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько еще времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотря с какой скоростью ты летишь в свою сторону, а я — в свою.

— Я думаю, еще с час.

— Да, пожалуй, — бесстрастно, отрешенно отозвался Холлис.

— А что, собственно, случилось? — спросил он минуту спустя.

— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— Ты в какую сторону летишь?

— Похоже, что врежусь в Луну.

— А я — в Землю. Возвращаюсь к матушке Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сгорю, как спичка. — Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Он словно отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в

незапамятные времена, зимой — на первые падающие снежинки.

Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали, и ничего не могли изменить в своей судьбе. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко, далеко, — раздался чей-то голос. — Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать....

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далекo, далекo, не хочу я так. Ох, господи не хочу я так!

— Стимсон, это я — Холлис. Стимсон, ты меня слышишь?

Молчание, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да? — наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Пускай меня найдут, пускай непременно найдут, — сказал Стимсон. — Неправда, не верю, но могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон, — вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Поди сюда и заткни мне глотку, — предложил тот же голос. Это был Эплгейт. Он засмеялся — легко, словно бы даже весело, как ни в чем не бывало. — Поди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил все свое бессилие. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эплгейта. Многие годы мечтал до него добраться, и вот — слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Падаешь, падаешь, падаешь...

И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре, Холлис увидел: один из них проплывает совсем рядом и вопит, вопит...

— Перестань!

До кричавшего, казалось, можно было дотянуться рукой, он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и у всех вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой

Холлис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие — и он коснулся кричавшего. Ухватил его за щиколотку, подтянулся, вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, как утопающий. Безумный вопль заполняет вселенную.

Так ли, эдак ли, думает Холлис. Все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты, так почему бы

не сейчас?

Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от трупа — и тот, кружась, улетает прочь и падает.

И Холлис падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом, нескончаемом безмолвном падении.

— Холлис, ты еще здесь?

Холлис не откликается, но лицо ему обдает жаром.

— Это опять я, Эплгейт.

— Слышу.

— Давай поговорим. Все равно делать нечего.

Его перебивает капитан:

— Довольно болтать. Надо подумать, как быть дальше.

— А может, вы заткнетесь, капитан? — спрашивает Эплгейт.

— Что-о?

— Вы отлично меня слышали, капитан. Не стражайте меня своим чином и званием, вы теперь от меня за десять тысяч миль, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать.

— Послушайте, Эплгейт!

— Отвяжись ты. Я поднимаю бунт. Мне терять нечего, черт возьми. Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в Луну и сломать себе шею.

— Приказываю вам замолчать!

— Валяй приказывай. — За десять тысяч миль Эплгейт усмехнулся. Капитан молчал. — О чем, бишь, мы толковали, Холлис? — продолжал Эплгейт. — А, да, вспомнил. Тебя я тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь.

Холлис беспомощно сжал кулаки.

— Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в Ракетной компании.

Рядом сверкнул метеорит. Холлис опустил глаза — кисть левой руки срезало, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно, он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Он перетянул рукав еще туже, так что получился турникет — и кровь, только что хлеставшая, как из шланга, остановилась.

За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе осталась жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Падал навстречу смерти и предавался воспоминаниям и о прошлых счастливых днях.

Так странно все это было. Пустота, тысячи миль пустоты, и в ней — голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаются взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, обреченный вечно падать в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. Так вот, это я внес тебя в черный список перед тем, как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно, — сказал Холлис.

Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране — все предрассудки, все страсти вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть — вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное, — как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном — ему еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так — умираешь, а кажется, будто и не жил? Неужто жизнь так коротка — вздохнуть не успел, а все уже кончено? Неужто всем она кажется такой невыносимо краткой — или только ему здесь, в пустоте, когда остались считанные часы на то, чтоб все продумать и осмыслить?

А Леспир знай болтал свое:

— Что ж, я пожил на славу: на Марсе жена, и на Венере жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и Все уж так за мной ухаживали. Пил я сколько хотел, а один раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов.

А сейчас ты влип, думал Холлис. Вот у меня ничего этого не было. Пока я был жив, я тебе завидовал, Леспир. Пока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и твоему веселому житью. Женщин я боялся, и я сбежал в космос, но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много, и денег много, и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы падаем, и я больше тебе не завидую, потому что и для тебя тоже сейчас все кончено, будто ничего и не было.

Холлис вытянул шею и закричал в микрофон:

— Все кончено, Леспир!

Молчание.

— Будто ничего и не было, Леспир!

— Кто это? — дрогнувшим голосом спросил Леспир.

— Это я, Холлис.

Он вел себя подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло — умирать. Эплгейт сделал ему больно, теперь он хотел сделать больно другому. Эплгейт и пустота — оба они больно ранили его.

— Ты влип, как все мы, Леспир. Все кончено. Как будто никакой жизни и не было, верно?

— Неправда.

— Когда все кончено, это все равно, как если б ничего и не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту — только это и важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?

— Да, лучше.

— Чем это?

— А вот тем! Мне есть, что вспомнить! — сердито крикнул издали Леспир, обеими руками цепляясь

за милые сердцу воспоминания.

И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял: Леспир прав. Воспоминания и мечты — совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспир добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала Холлиса неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту.

— Ну а сейчас, сейчас что тебе от этого за радость? — крикнул он Леспире. — Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне.

— Я помираю спокойно, — отозвался Леспир. — Был и на моей улице праздник. Я не стал перед смертью подлецом, как ты.

— Подлецом? — повторил Холлцс, будто пробуя это слово на вкус.

Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случалось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, копилось впрок для такого вот часа. “Подлец” — он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы навернулись на глаза, покатались по щекам. Должно быть, кто-то услышал, как у него захватило дух.

— Не расстраивайся, Холлис.

Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону; он казался себе самым настоящим храбрецом, а оказывается, это была не мужество, а равнодушие, так бывает от сильного потрясения, от шока: — цепенеешь, и все — все равно. Да и как в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.

— Я понимаю, каково тебе, Холлис, — слабо донесся голос Леспира, теперь их разделяло уже двадцать тысяч миль. — Я на тебя не в обиде.

Но разве мы с Леспиром не равны? — спрашивал себя Холлис. Здесь, сейчас — разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда — и что в нем хорошего? Так и так помирать. Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом — нет.

Вот и Леспир не такой, как он: Леспир жил полной жизнью — и сейчас он совсем другой, а он, Холлис, уже долгие годы все равно что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами — и если смерть не для всех одинакова, то, надо думать, его смерть и смерть Леспира будут совсем разные, как день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти?

А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлис быстро наклонился — хлестала кровь, метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная это штука — смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлис туго завернул клапан у колена, от боли кружилась голова, он силился не потерять сознание; наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух вновь наполнил скафандр, и он выпрямился и снова падает, падает, ему только это и остается — падать.

— Эй, Холлис!

Холлис сонно кивнул, он уже устал ждать смерти.

— Это опять я, Эплгейт, — сказал тот же голос.

— Ну?

— Я тут поразмыслил. Послушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы становимся скверные.

Скверно так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не проваливал. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверно, чтоб тебе досадить. Что-то в тебе есть такое, всегда хотелось тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверно, это я так наспех старею, вот и тороплюсь покаяться. Слушал я, как подло ты говорил с Леспиром — и стыдно мне, что ли, стало. В общем неважно, только ты знай — я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, — сплошное вранье. И иди к чертям.

Холлис почувствовал, что сердце его снова забилося. Кажется, добрых пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Первое потрясение миновало, а теперь проходил и шок от гнева, ужаса, одиночества. Он словно вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит благодарности. Не вешай носа, сукин ты сын!

— Эй! — голос Стоуна.

— Это ты?! — на всю вселенную заорал Холлис.

Стоун — один из всех — настоящий друг!

— Меня занесло в метеоритный рой, тут куча мелких астероидов.

— Что за метеориты?

— Думаю, это группа Мирмидонян; они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет. Я угодил в самую серединку. Это вроде большого калейдоскопа. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох, и красота же!

Молчание. Потом опять голос Стоуна:

— Лечу с ними. Они меня утащили. Ах, черт меня подери!

Он засмеялся.

Холлис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы, и сапфиры, и изумрудные туманы, и черный бархат пустоты, и среди хрустальных искр слышится голое бога. Как странно, поразительно представить себе: вот Стоун летит с метеоритным роем мимо Марса, летит годами, и каждые пять лет возвращается к Земле, мелькает на земном небосклоне и вновь исчезает, и так сотни и миллионы лет — без конца, во веки веков Стоун и рой Мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любишь в детстве, глядя на солнце и опять и опять встряхивая картонную трубку.

— До скорого, Холлис, — чуть слышно донесся голос Стоуна. — До скорого!

— Счастливо! — за тридцать тысяч миль крикнул Холлис.

— Не оstri, — сказал Стоун и исчез.

Звезды сомкнулись вокруг.

Теперь все голоса угасали, каждый уносился все дальше по своей кривой — одни к Марсу, другие за пределы солнечной системы. А он, Холлис... Он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращался на Землю.

— До скорого!

— Не расстраивайся!

— До скорого, Холлис, — голос Эплгейта.

Еще и еще прощанья. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в стенках одного черепа, распадается на части. Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка ракеты, которая пронизывала пространство, а теперь один за другим они умирают; разрушается смысл их общего бытия. И как живой организм погибает, едва выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля, и долгие дни, прожитые вместе, и все, что люди значили друг для друга. Эплгейт теперь все равно что оторванный от тела палец, уже незачем его презирать, сопротивляться ему. Мозг взорвался — и бессмысленные, бесполезные обломки его разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот пустота нема. Холлис один, он падает.

Каждый остался один. Голоса их сгнули, словно бог обронил несколько слов — и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан носится к Луне; вот Стоун среди роя метеоритов; а там Стимсон; а там Эплгейт уносится к Плутону; и Смит, Тернер, Андервуд, и все остальные — стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке.

А я? — думал Холлис. Что мне делать? Как, чем теперь искупить эту ужасную, пустую жизнь? Если б хоть одним добрым делом возместить свою подлость, она столько лет копилась во мне, а я и не подозревал! Но теперь никого рядом нет, я один, а что можно сделать хорошего, когда ты совсем один? Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу.

И сгорю, подумал он, и развеюсь пеплом над всеми материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки пепел есть пепел, и он соединится с землей.

Он падал стремительно, точно пуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совершенно спокойный, не ощущая ни печали, ни радости — ничего, только одного ему хотелось: если бы, если бы сделать что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, если б сделать хоть что-то хорошее и знать про себя — я это сделал...

Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор.

— Хотел бы я знать, — сказал он вслух, — увидит меня кто-нибудь?

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падучая звезда!

Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание, — сказала мать. — Загадай скорей желание.

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на косогоре, застучал по соломенной крыше хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок.

Эрнандо стоял я ждал, пока дождь перестанет и опять можно будет выйти с деревянным плугом в поле. Внизу река, бурля, катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река — покрытое асфальтом шоссе — застыла недвижно, и лежала пустынная, и влажно блестела. Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтоб какой-нибудь автомобиль не остановился у обочины и кто-нибудь не окликнул:

— Эй, ты, давай мы тебя сфотографируем!

В одной руке у такого ящичек, который щелкает, в другой — монета.

И если Эрнандо медленно шел к ним с непокрытой головой, оставив шляпу среди поля, они иногда кричали:

— Нет, нет, надень шляпу!

И махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки — и такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат, только поблескивают на солнце, словно паучьи глаза. Тогда он поворачивался и шел за шляпой.

— Что-нибудь неладно, Эрнандо?. — услышал он, голос жены.

— Si. Дорога. Что-то стряслось. Что-то худое, зря Дорога так не опустеет.

Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь, от дождя сразу промокли плетенные из соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, как досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину с маху ворвалось автомобильное колесо, куры так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно крутилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота, на мгновение повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо и ил оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне — длинная, низкая, очень богатая машина — и спит металлическим блеском. А потом поднимется ил, вода замутилась — и опять ничего не видно.

На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки.

Сейчас он вышел на шоссе, и стоял, и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт.

И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин, они мчались и мчались — всё мимо, мимо. Большие длинные черные машины с ревом бешено неслись на север, к Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах, и гудели и сигналили без умолку. Во всех машинах было полно народу, и на всех лицах — что-то такое, отчего у Эрнандо внутри все как-то замерло и затихло. Он отступил на окраину шоссе и смотрел, как машины мчатся мимо. Он считал их, пока не устал. Пятьсот, тысяча машин пронеслись мимо него, и во всех лицах было что-то странное. Но они мелькали слишком быстро, и не разобрать было, что же это такое.

Но вот опять стало тихо и пусто. Быстрые длинные низкие автомобили с откинутым верхом исчезли. Затихли вдали последний гудок.

Дорога вновь опустела.

Это было похоже на похороны. Но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили всё на север, на север, на какое-то неведомое мрачное торжество. Почему? Эрнандо покачал головой и в раздумье отер ладони о штаны.

И тут появился одинокий последний автомобиль. Почему-то сразу было видно, что он самый, самый последний. Это был старый-престарый “форд”, он спустился по горной дороге, под холодным редким дождем, весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех своих сил. Казалось, того и гляди развалится на куски. Завидев Эрнандо, дряхлая машина остановилась — она была ржавая, вся в грязи, радиатор сердито ворчал и шипел.

— Пожалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?

За рулем сидел молодой человек лет двадцати в желтом свитере, белой рубашке с открытым воротом и в серых штанах. Дождь заливал открытую машину, молодой водитель весь вымок, вымокли и пассажирки — их было пять, они сидели в “фордике” так тесно, что не могли пошевелинуться. Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но то была плохая защита, яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь. И мокрые волосы его прилипли ко лбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались, то им не нравился дождь, то жара, то было слишком поздно, или холодно, или далеко.

Эрнандо кивнул.

— Я принесу воды.

— Ох, пожалуйста, скорее! — воскликнула одна девушка.

Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось нетерпения, только просьба и страх. И Эрнандо побежал — это впервые он заторопился, когда его попросили проезжие, раньше он всегда только замедлял шаг.

Он вернулся, неся крышку от ступицы, полную воды. Эту крышку тоже подарила ему большая дорога. Однажды она залетела к нему на поле — круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе и не заметив, что потерял свой серебряный глаз. С тех пор Эрнандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и стряпни — отличный получился тазик.

Наливая воду в кипящий радиатор, Эрнандо поглядел на молодые растерянные лица.

— Спасибо вам, спасибо! — сказала одна из девушек. — Вы я не знаете, как вы нас выручили!

Эрнандо улыбнулся.

— Очень много машин проехало за этот час. И все в одну сторону. На север.

Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. А молодой человек пытался их успокоить — возьмет за плечи то одну, то другую и легонько встряхнет, а они прикрывают головы газетами, губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут — одни тихонько, другие навзрыд.

Эрнандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода.

— Я не хотел никого обидеть, сеньор, — промолвил он.

— Это ничего, — отозвался водитель. — А что такое стряслось, сеньор?

— Вы разве не слыхали? — молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался

вперед. — Это все-таки случилось.

Лучше бы он ничего не говорил. Все девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку, забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам, мешаясь со слезами.

Эрнандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор. Поглядел на небо — оно было черное, грозное. Поглядел на реку — она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал какой-то очень жесткий.

Эрнандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Эрнандо вернул монету.

— Нет, — сказал он. — Я не ради денег.

— Спасибо вам, вы такой добрый, — все еще всхлипывая, сказала одна из девушек. — Ох, мама, папа... я хочу домой, хочу домой... мама, папочка...

Подруги обхватили ее за плечи.

— Я ничего не слышал, сеньор, — тихо сказал Эрнандо.

— Война! — крикнул молодой человек во все горло, как будто кругом были глухие. — Вот она — атомная война, конец света!

— Сеньор, сеньор, — сказал Эрнандо.

— Спасибо вам. спасибо, что помогли, — сказал и молодой человек. — Прощайте.

— Прощайте, — сквозь стену дождя сказали девушки; они уже не видели Эрнандо.

Он стоял и смотрел вслед дряхлому “форду”, пока тот, дребезжа, спускался в долину. И вот все скрылось из виду — последняя машина, и девушки, и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами.

Еще долго Эрнандо стоял не шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по домотканым штанам. Он стоял затаив дыхание, весь напрягшись, и ждал.

Он все не сводил глаз с дороги, но она была пуста. “Теперь, пожалуй, она долго не оживет, очень долго”, — подумал он.

Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь десять минут, словно чье-то зловонное дыхание. Из чащи потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки, поглядел на небо — в вышине уже разгоралось жаркое солнце.

Жена, не переставая молоть кукурузу, окликнула:

— Что случилось, Эрнандо?

— Да так, ничего, — отозвался он.

Направил плуг по борозде и резко крикнул ослу:

— Вперед, бурро!

И, вспахивая тучную землю, они с ослом зашагали по полю; небо над головой все больше прояснялось, чуть поодаль струилась глубокая река.

— “Конец света”, — вспомнил вслух Эрнандо. — Как же так — конец?

ЗАВТРА КОНЕЦ СВЕТА

— Что бы ты делала, если б знала, что завтра настанет конец света?

— Что бы я делала? Ты не шутишь?

— Нет.

— Не знаю. Не думала.

Он налил себе кофе. В сторонке на ковре, при ярком зеленоватом свете ламп “молния”, обе девочки что-то строили из кубиков. В гостиной по-вечернему уютно пахло только что сваренным кофе.

— Что ж, пора об этом подумать, — сказал он.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— Война?

Он покачал головой.

— Атомная бомба? Или водородная?

— Нет.

— Бактериологическая война?

— Да нет, ничего такого, — сказал он, помешивая ложечкой кофе. — Просто, как бы это сказать, пришло время поставить точку.

— Что-то я не пойму.

— По правде говоря, я и сам не понимаю; просто такое у меня чувство. Минутами я пугаюсь, а в другие минуты мне ничуть не страшно и совсем спокойно на душе. — Он взглянул на девочек, их золотистые волосы блестели в свете лампы. — Я тебе сперва не говорил. Это случилось дня четыре назад.

— Что?

— Мне приснился сон. Что скоро все кончится, так сказал голос; какой-то совсем незнакомый, просто голос, и он сказал, что у нас на Земле всему придет конец. Наутро я про это почти забыл, пошел на службу, а потом вдруг вижу — Стэн Уиллис среди бела дня уставился в окно; я говорю: о чем это ты замечтался, Стэн? А он отвечает: мне сегодня снился сон, — и не успел он договорить, а я уже понял, что за сон. Я и сам мог ему рассказать, но Стэн стал рассказывать первым, а я слушал.

— Тот самый сон?

— Тот самый. Я сказал Стэну, что и мне тоже это снилось. Он вроде не удивился. Даже как-то успокоился. А потом мы обошли всю контору, и это было очень странно, черт возьми. Это получилось само собой. Мы не говорили: пойдём поглядим, как и *что*. Просто пошли и видим — кто разглядывает свой стол, кто — руки, кто в окно смотрит. Кое с кем я поговорил. И Стэн тоже.

— И всем приснился тот же сон?

— Всем до единого. В точности то же самое.

— И ты в него веришь?

— Верю. В жизни ни в чем не был так уверен.

— И когда же это будет? Когда все кончится?

— Для нас — сегодня ночью, в каком часу, не знаю, а потом и в других частях света, когда там настанет ночь, — земля-то вертится. За сутки все кончится.

Они посидели немного, ко притрагиваясь к кофе. Потом медленно выпили его, глядя друг на друга.

— Чем же мы это заслужили? — сказала она.

— Не в том дело, заслужили или нет; просто ничего не вышло. Я смотрю, ты и спорить не стала. Почему это?

— Наверно, есть причина.

— Та самая, что у всех наших в конторе? Она медленно кивнула.

— Я не хотела тебе говорить. Это случилось сегодня ночью. И весь день женщины в нашем квартале об этом толковали. Им снился этот сон. Я думала, это просто совпадение. — Она взяла со стола вечернюю газету. — Тут ничего не сказано.

— Все и так знают.

Он выпрямился, испытующе посмотрел на жену.

— Боишься?

— Нет. Я всегда думала, что мне будет страшно, а оказывается — не боюсь.

— А нам вечно твердят про чувство самосохранения — что же оно молчит?

— Не знаю. Когда понимаешь, что все правильно, не станешь выходить из себя. А тут все правильно. Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться.

— Разве мы были такие уж плохие?

— Нет, но и не очень-то хорошие. Наверно, в этом вся беда — в нас ничего особенного не было, просто мы оставались сами собой, а ведь очень многие в мире совсем озверели и творили невесть что.

В гостиной смеялись девочки.

— Мне всегда казалось: вот придет этот час, и все с воплями выбегут на улицу.

— А по-моему, нет. Что ж вопить, когда изменить ничего нельзя.

— Знаешь, мне только и жаль расставаться с тобой и с девочками. Я никогда не любил городскую жизнь и свою работу, вообще ничего не любил, только вас троих. И ни о чем я не пожалею, разве что неплохо бы увидеть еще хоть один погожий денек, да выпить глоток холодной воды в жару, да вздремнуть. Странно, как мы можем вот так сидеть и говорить об этом?

— Так ведь все равно ничего не поделаешь.

— Да, верно; если б можно было, мы что-нибудь бы делали. Я думаю, это первый случай в истории — сегодня каждый в точности знает, что с ним будет ночью.

— А интересно, что все станут делать сейчас, вечером, в ближайшие часы.

— Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат детишек спать и сами лягут — все, как всегда.

— Пожалуй, этим можно гордиться — что все, как всегда.

Минуту они сидели молча, потом он налил себе еще кофе.

— Как ты думаешь, почему именно сегодня?

— Потому.

— А почему не в другой какой-нибудь день, в прошлом веке, или пятьсот лет назад, или тысячу?

— Может быть, потому, что еще никогда не бывало такого дня — девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, а теперь он настал, вот и все; потому, что в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе, — вот потому и настал конец.

— Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся.

— Вот отчасти и поэтому.

— Что ж, — сказал он, вставая. — Чем будем заниматься? Вымоем посуду?

Они перемыли посуду и аккуратней обычного ее убрали. В половине девятого уложили девочек, поцеловали их на ночь, зажгли по ночнику у кроваток и вышли, оставив дверь спальни чуточку приоткрытой.

— Не знаю... — сказал муж, выходя, оглянулся и остановился с трубкой в руке.

— О чем ты?

— Закрывать дверь плотно или оставить щелку, чтоб было светлее...

— А может быть, дети знают?

— Нет, конечно, нет.

Они сидели и читали газеты, и разговаривали, и слушали музыку по радио, а потом просто сидели у камина, глядя на раскаленные уголья, и часы пробили половину одиннадцатого, потом одиннадцать, потом половину двенадцатого. И они думали обо всех людях на свете, о том, кто как проводит этот вечер — каждый по-своему.

— Что ж, — сказал он наконец. И поцеловал жену долгим поцелуем.

— Все-таки нам было хорошо друг с другом.

— Тебе хочется плакать? — спросил он.

— Пожалуй, нет.

Они прошли по всему дому и погасили свет. В спальне разделись не зажигая огня, в прохладной темноте, и откинули одеяла.

— Как приятно, простыни такие свежие.

— Я устала.

— Мы все устали.

Они легли.

— Одну минуту, — сказала она.

Он слышал, как она поднялась и вышла на кухню. Через минуту она вернулась.

— Забыла повернуть кран. — сказала она.

Что-то в этом было очень забавное, он невольно засмеялся.

Она тоже посмеялась — и в самом деле, забавно! Потом они перестали смеяться и лежали рядом в

прохладной постели, держась за руки, щекой к щеке.

— Спокойной ночи, — сказал он еще через минуту.

— Спокойной ночи.

КОШКИ-МЫШКИ

В первый же вечер любовались фейерверком — пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вещи не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище — огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались слепящими голубоватыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выведившего протяжную мелодию “Голубки”. Церковные двери были распахнуты настежь, и казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Над площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишечьи ноги — мальчишки подскакивали, приплясывали и без усталости раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследуя смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой, — с улыбкой сказал Уильям Трейвис. — Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо — хитроумное сооружение из бамбука, брызжущее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Никогда в жизни так не веселилась! — Сьюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Забавно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Нет, я про нате путешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по карману на груди.

— У меня столько аккредитивов, что хватит на всю жизнь. Знай развлекайся. Ни о чем не думай. Им нас не найти.

— Никогда?

— Никогда.

Теперь кто-то, забравшись на колокольню, пускал огромные шутихи, они шипели, и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле маисовыми лепешками так, что слюнки текли; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучей облепили мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям.

Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела *того человека* — он был белый, в белоснежном костюме, в голубой рубашке и голубом галстуке, с худощавым загорелым лицом. Волосы

прямые, светлые, глаза голубые. Он в упор смотрел на них с Уильямом.

Она бы его и не заметила, если б у его локтя не выстроилась целая батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще какие-то, и под рукой — десяток неполных рюмок; неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой и порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась тонкая гаванская сигара, и рядом на стуле лежало десятка два пачек турецких папирос, шесть ящиков сигар и несколько флаконов одеколона.

— Билл... — шепнула Сьюзен.

— Спокойно, — сказал муж. — Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядывайся. Давай осматривать этого быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не локти нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Неужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради бога, — сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись, — он улыбнулся: не следовало привлекать внимания. — Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит.

— Нет, не могу.

— Надо. Идем. Вот я и говорю Дэвиду — что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

“Мы здесь, — думала Сьюзен. — Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Начнем с самого начала, — говорила она себе, ступая по глинобитному иолу. — Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою два миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия”.

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз.

Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, — и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слыхала? Про Бюро путешествии во времени слыхала? Можно ехать, куда хочешь — в Рим за двести лет до рождества Христова, к Наполеону под Ватерлоо. В любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене.

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные. Но ты только подумай — увидеть своими глазами пожар Рима! И Моисея и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламку.

Она открыла пневматичку и вытащила рекламное объявление на тонком листе фольги:

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четыреста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Ужасно интересно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машиной времени?

— Ну, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от воинской повинности в Прошлое. На время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала — вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем думали и мечтали столько лет! Нам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему опостылело делать бомбы на заводе, мне — разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в этот мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио...

Они были в Мексике в 1938 году.

Сьюзен смотрела на размалеванную стену кафе.

Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска рассеяться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год, сняли комнату в Нью-Йорке, ходили по театрам, полюбовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри, папиросы, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем как удрать, они провели свой первый вечер в Нью-Йорке, наслаждаясь непривычными яствами, закупили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бегали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее, так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина.

Незнакомец так и сверлил их взглядом — как они одеты, как причесаны, какие на них драгоценности, их походка и движения — ничто, видно, не ускользало от него.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям. — Держись так, будто ты в этом платье и родилась.

— Напрасно мы все это затеяли.

— О господи, — сказал Уильям, — он идет сюда.

Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Незнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно щелкнули каблуки. Сьюзен окаменела. Ох уж это истинно солдатское щелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен, — сказал незнакомец, — вы не подтянули брюки, когда сиделись.

Уильям похолодел. Опустил глаза — руки его лежали на коленях, как ни в чем не бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались, — поспешно сказал Уильям. — Моя фамилия не Крислер.

— Кристен, — поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис, — сказал Уильям. — И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват, — незнакомец придвинул себе стул. — Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы НЕ подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях пузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер... Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочувствуем вам, мистер Симс, одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу... вашей супруге дурно?

— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу. Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крякнул вдогонку:

— Да, вот еще что...

Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо, отдельно произнес:

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха.

— Такая наглость! — сказал Уильям. — Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Надо было мне пристукнуть его на месте! — голос Уильяма дрожал и срывался. — У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Начальник Сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Ох, господи, и почему я их не подтянул, когда сидел. Для этой эпохи самый обычный жест, все делают это машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к военной форме или к полувоенной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Нет, нет, во всем виновата моя походка... эти высокие каблуки... И наши прически, стрижка... видно, что мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно, это бросается в глаза.

Уильям зажег свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен... не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедem в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью.

— С него станется. Время в его власти. Он может околачиваться здесь сколько душе угодно, а потом доставит нас в Будущее ровным счетом через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмехаться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как по-твоему?

— Не посмеют. Чтобы впихнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход, — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведем кучу друзей и знакомых, и в каждом городе, куда ни приедем, будем обращаться к властям и платить начальнику полиции, чтоб нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса — убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре слышались шаги.

Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдали. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит, вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдём завтра, посмотрим?

— Конечно, пойдём. Ложись-ка.

Они легли, в комнате было темно.

Через полчаса зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит.

Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели.

За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью...

Ночью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа, чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. На глазах у Сьюзен рука ее обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел в воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты...

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудили скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там

только что остановились несколько легковых и грузовых машин с какими-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— Que pasa[6]? — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По-моему, нам не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают картины. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Нам не худо бы немного отвлечься.

Отвлекись попробуй, подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетное множество сигарет и ждет. Глядя сверху на этих веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала: “Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!”

Но нет, не крикнешь. Фирмой путешествий во времени заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в путь, они устанавливают у него в мозгу психическую блокаду. Некому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть “что-либо о Будущем” Прошное нужно охранять от Будущего, Будущее — от Прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберечь от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто путешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не могла сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас.

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же: яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились американцы, приехавшие на кино съемки, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось — рядом с ними тепло и безопасно, она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой папиросой, сошел мистер Симс. Он издали кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу им, что это для забавы — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине, выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-сити. Там ему нас вовек не отыскать!

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух, как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, а это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексику. Все мы ее терпеть не можем. Но мы тут делаем первые наброски для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня зовут Джо Мелтон. Я — режиссер. Ну, не паршивая ли страна! На улицах всюду похороны, люди мрут, как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, развеселите нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Неужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен подседа к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс.

Сьюзен скорчила ему гримасу.

Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще издали, — мы, кажется, собирались позавтракать втроем.

— Прошу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса:

— Надеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрацам, — проворчал Симс. — Но кое-чем удастся себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Не понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс. — Бесплезно. Порочная тактика. И толпа вас тоже не спасет. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпенья у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Нет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну.

И Мелтон вновь что-то заорал своим спутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультраводородной бомбой.

— Надо же, за завтраком — об ученых материях! — заметил Мелтон, краем уха уловил последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симс. — Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Не понимаю, о чем вы!

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете, мы не можем позволить вам сбежать. Тогда найдутся и еще охотники улизнуть в Прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям. Билл!

— Ничего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно, — сказал Симс. — А то ведь какая потрясающая наивность — удрать от своего прямого долга!

— Какой это долг. Кромешный ужас.

— Вздор. Всего лишь война.

— Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада все ему рассказать. Но она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не допускала. Вот и Симс и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям. — Полмира вымирает об бомб, несущих проказу!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас в обиде, — возразил Симс. — Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят напрямик к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умиравшим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки. Так-то, сэр.

— Есть предложение, — сказал Уильям. — Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подалее от этой войны.

Симс поразмыслил.

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отведете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен схватила мужа за руку.

Он оглянулся.

— Не спорь. Решено. — И прибавил, обращаясь к Симсу: — Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы упустили случай?

— Допустим, я недурно проводил время, — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. — Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика — очень досадно со всем этим расставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. Еще как жалко! Итак, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен. — Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится?!

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс, складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощенной булыжником улицы из гаража выехал Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят. Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму — и тут он увидел машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар. Симса подбросило... вверх, вверх... потом вниз, вниз... и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбежался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери.

В полдень они рука об руку спустились по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios, senor, — сказал им вслед мэр города. — Adios, senora. [7]

Они остановились на площади, толпа все еще глазела на лужу крови.

— Тебя вызовут еще? — спросила Сьюзен.

— Нет, мы все выяснили во всех подробностях. Несчастный случай. Машина вдруг перестала слушаться руля. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержаться. Нелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

— Нет, собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедем? В Мехико-сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четырем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не будет погони? По-твоему. Симс был один?

— Не знаю. Думаю, что у нас есть немного форы. Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали актеры. Мелтон, хмуря брови, поспешил навстречу.

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! Но теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегавшую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид, и развалин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловой глины и повсюду пламенели цветы буганвилеи, смотрела и думала: Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях — на базаре, в гостинице, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запирались на двойные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести Сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди. В будущем, только того и ждут, чтоб поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: “Служи! Перекувырнись! Прыгай через обруч!” И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно слазь по ночам.

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен пылливо вглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Нет. Который час?

— Три. Машину, наверно, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти четыре. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул и гараж. Вышел он оттуда озабоченный:

— Машина будет готова в шесть.

— Но не позже?

— Нет, не волнуйся.

В вестибюле они огляделись по сторонам — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только-только от парикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят папиросу за папиросой, — но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик — согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Всей оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

Время, подумала Сьюзен. Если бы у нас было время! Как бы хорошо весь долгий летний день сидеть на площади с закрытыми глазами, и улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем...

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, это могли бы сниматься в кино — Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Нет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд? — воскликнула она.

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком взглянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя; и путешествовать в компании, восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись Мелтон и компания. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались.

— Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене — они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом, — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война — ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть, и вот — в этом вся соль — они удирают в Прошлое, а за ними по пятам следует человек, который кажется им воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежища в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах, какое вино! Да, так вот. наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой, а для этого нужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получиться увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл? — и он допил вино.

Сьюзен сидела, как каменная, глядя в одну точку.

— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд, кто-то из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу, Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь.

— Откройте!

— Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и скомандовал своим: — За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Сьюзен и Уильям переглянулись, посмотрели на дверь...

— Управляющий желает войти, — сказал Мелтон. — Быстрее!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил всю комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрее!

За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены, струилась, как река, булыжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого

напитка; в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виднелось море — синее, ласковое, — и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж ее исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий гостиницей и еще несколько человек.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь — никого! — закричал управляющий. — Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная.

И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер “crème de cacaо”, абсент, вермут, текилья, а кроме того — 106 пачек турецких папирос и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами, по пятьдесят центов штука...

БЕТОНОМЕШАЛКА

Под открытым окном, будто осеняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса:

— Этил — трус! Этил — изменник! Славные сыны Марса летят покорять Землю, а Этил отсиживается в кустах!

— Болтайте, болтайте, старые ведьмы! — крикнул он.

Голоса стали чуть слышны, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.

— Этил опозорил своего сына, каково мальчику знать, что отец — трус! — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. — О стыд, о бесчестье!

В дальнем углу комнаты плакала его жена, словно холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.

— Ох, Этил, как ты можешь?

Этил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро рассказывала ему вслух интереснейшую историю.

— Я ведь уже пытался объяснить, — сказал он. — Марсу не завоевать Землю, это глупейшая затея, она нас погубит.

В окно ворвался гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камню мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками.

— Я останусь на Марсе и буду читать книгу, — сказал Этил.

Громкий стук. Тилла отворила дверь. В комнату ворвался тесть Эттила.

— Что я слышу? Мой зять — предатель?!

— Да, отец.

— Ты не вступаешь в марсианскую армию?

— Нет, отец.

— О чтоб тебя! — Старик побагровел. — Опозоришься навеки. Тебя расстреляют.

— Так стреляйте — и покончим с этим.

— Слыханное ли дело, марсианину — да не вторгнуться на Землю! Где это слыхано?

— Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай.

— Неслыханно, — зашипели ведьмы под окном.

— Хоть бы ты его вразумил, отец! — сказала Тилла.

— Как же, вразумишь навозную кучу! — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Эттилу. — День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут... О стыд, о бесчестье!

— О стыд, о бесчестье! — всхлипнули голоса в кустах поодаль.

— Вон из моего дома! — вспылil Этил. — Надоела мне эта дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и барабанами!

Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась — на пороге стоял военный патруль.

— Этил Врай? — рявкнул чей-то голос.

— Да.

— Вы арестованы!

— Прощай, дорогая моя жена! Иду воевать с этими дураками! — закричал Этил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.

— Прощай, прощай, — скрываясь вдали, эхом отозвались ведьмы.

Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Эттилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили бесчисленные звезды; всякий раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались врассыпную.

— Дураки, — шептал Этил. — Ах, дураки!

Дверь камеры распахнулась. Вошел человек с чем-то вроде тележки, с краями, навалом груженной книгами. Позади маячила фигура Военного наставника.

— Этил Врай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги. Все эти “Удивительные истории”, “Научные рассказы”, “Фантастические повести”. Объясните.

И он стиснул руку Эттила повыше кисти. Этил вырвал руку.

— Если вы намерены меня расстрелять — стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с Землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено.

— Как так? — Наставник, нахмурясь, покосился на пожелтевшие от времени журналы.

— Возьмите книжку, — сказал Этил. — Любую, на выбор. С тысяча девятьсот двадцать девятого — тридцатого и до тысяча девятьсот пятидесятого года по земному календарю в девяти рассказах из десяти речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю...

— Ага!.. — Военный наставник улыбнулся и кивнул.

— ...а потом потерпели крах, — докончил Этил.

— Да это измена! Держать у себя такие книги!

— Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось крахом по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мин, Рик, Джик или Беннон; как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.

— И вы смеете в это верить!

— Что земляне и в самом деле на это способны — не верю. Но поймите, Наставник, у них за плечами традиция, поколение за поколением в детстве зачитывались подобными выдумками. Они просто напичканы книжками об отбитых нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было.

— Ну-у...

— Не было.

— Пожалуй, что так.

— Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой — и погибнем.

— Не понимаю вашей логики. При чем тут старые журналы?

— Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно ни было оно организовано. Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с ними равняться! Мы, марсиане, не так уж уверены в себе; мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы ни бьем в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб.

— Это измена! Я не желаю слушать! — закричал Военный наставник. — Через десять минут все эти книжонки сожгут, и тебя тоже. Можешь выбирать, Эттил Врай. Либо ты вступишь в Военный легион, либо соришь.

— Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть.

— Эй, люди!

Эттла вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в пять футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через минуту его, Эттила, толкнул в яму.

А в дальнем конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын, большие желтые глаза полны были горечи и страха. Мальчик не шевельнулся, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде.

Эттил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, его опалило дыхание смерти. И только тут Эттил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул:

— Стойте!

Лицо Наставника — в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве — придвинулось ближе.

— Чего тебе?

— Я пойду воевать, — сказал Эттил.

— Хорошо! Отпустите его!

Грубые руки разжались.

Эттил обернулся — сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета — и звезды померкли...

— А теперь мы пожелаем доблестным воинам счастливого пути, — сказал Наставник.

Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки. Среди пестрой толчеи Эттил увидел жену — она плакала от гордости, рядом, молчаливый и торжественный, стоял сын.

Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились, отдыхая, солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух.

— Вперед, к Земле и гибели, — прошептал Эттил.

— Что? — переспросил кто-то.

— Вперед, к славной победе, — скорчив подобающую мину, сказал Эттил.

Ракета рванулась в небо.

“Бездна, — думал Эттил. — Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим — наша прославленная ракета запылает в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну, а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?”

Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно и сердце, и легкие, и мозг, все самое сокровенное, самое важное в твоём существе, без чего нельзя жить и дышать, — все накрепко привязал к родному Марсу — и прыгнул прочь на миллионы миль. А сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. И мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса — гибкие, подвижные меха, что жаждут освобождения, и каждая часть тебя, одинокая, оторванная от других, терзается смертной мукой.

Ибо теперь ты — лишь автомат без винтов и гаек, ты — труп, те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили, и все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты — опустошенный, угасший, охладелый, у тебя остались только руки, чтоб нести смерть землянам. Руки — вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и равнодушно.

Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целы и невредимы, тело и душа у них — одно. А все, что еще живо в тебе, осталось позади и бродят под вечерним ветерком среди пустынных мерей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.

— Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!

— Готов! Готов! Готов!

— Подъем!

— Встать из сеток! Живо!

Эттил повиновался команде. Где-то отдельно, впереди него, двигались его онемевшие руки.

Как быстро все это получилось, думал он. Всего год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые — ведь они наделены потрясающим телепатическим даром — в точности ее скопировали; наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не побывал на Марсе, и однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли, постигли их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи...

— Орудия к бою!

— Есть!

— Прицел!

— Дистанция?

— Десять тысяч миль!

— Штурм!

Гудящая тишина. Словно в ракете скрыт гигантский улей. Гудят в жужжат крохотные катушки бесчисленных приборов и рычагах, мелькают, вертятся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися и словно выцветшими глазами.

— Внимание! Приготовиться!

Изо всех сил держится Эттил — только бы не потерять рассудок! — и ждет, ждет...

Тишина, тишина, тишина. Ожидание.

Ту-и-и-и!

— Что это?

— Радио с Земли!

— Дайте настройку!

— Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку!

И-и-и-и!

— Вот они! Слушайте!

— Вызываем марсианские военные ракеты!

Тишина затаила дыхание, гуденье улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый голос:

— Говорит Земля! Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения американских промышленников!

Этилл стиснул рукоятку своего аппарата, весь подался вперед, зажмурился от нетерпения.

— Добро пожаловать на Землю!

— Что? — закричали в ракете. — Что он сказал?

— Да, да: добро пожаловать на Землю.

— Это обман!

Этилл вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.

— Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас! — радушно сообщил голос. — Мы ждем вас с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена.

— Обман!

— Тс-с, слушайте!

— Много лет тому назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать, нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. И мы только просим о милосердии, наши добрые и милостивые завоеватели.

— Этого не может быть! — прошептал кто-то.

— Уж конечно, это обман!

— Итак, добро пожаловать! — закончил представитель Земли мистер Уильям Соммерс. — Опускайтесь, где вам угодно. Земля к вашим услугам, все мы — братья!

Этилл засмеялся. Все обернулись и в недоумении уставились на него.

— Он сошел с ума!

А Этилл все смеялся, пока его не стукнули.

Маленький толстенный человек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских.

Все взгляды были устремлены в небо.

— Вот они!

— А-ах! — прокатилось по толпе.

— Нет, это просто чайки!

Ропот разочарования.

— Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, — прошептал толстяк мэр. — Тогда можно было бы разойтись по домам.

— Ш-ш! — остановила его жена.

— Вот они! — загудела толпа.

Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.

— Все готовы? — мэр беспокойно огляделся.

— Да, сэр, — сказала мисс Калифорния 1965 года.

— Да, — сказала и мисс Америка 1940 года (она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966-го — та, как на грех, слегла).

— Ясно, готовы, сэр! — подхватил мистер Крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год.

— Оркестр готов?

Оркестранты вскинули свои трубы, точно ружья на изготовку.

— Так точно! Ракеты приземлились.

— Давайте!

Оркестр грянул марш “Я иду к тебе, Калифорния” — и сыграл его десять раз подряд.

С двенадцати до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным, недоверчивым ракетам.

В час пятнадцать герметические люки ракет открылись.

Оркестр трижды сыграл “О штат золотой!”.

Эти и еще полсотни марсиан с оружием на изготовку спрыгнули наземь.

Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от Земли.

Оркестр заиграл “Приходит в город Санта-Клаус”, и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как “приходят в город марсиане”.

Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали.

С часу тридцати до двух пятнадцати мэр повторял свою речь специально для марсиан.

В два тридцать мисс Америка 1940 года вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд.

В два часа тридцать минут и десять секунд оркестр заиграл “Здравствуйтесь, здравствуйтесь, как поживаете”, чтобы замазать неловкость, возникшую по вине мисс Америки.

В два тридцать пять мистер Крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов.

В два тридцать семь мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры “Элит” и “Маджестик”; при этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого.

Заиграл оркестр, и пятьдесят тысяч человек запели “Все они славные парни”.

В четыре часа торжество закончилось.

Этилл уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей.

— Так вот она, Земля!

— А я так скажу, всю эту дрянь надо перебить, — заявил один марсианин. — Не верю я этим землянам. Что-то они замышляют. Ну, с чего они так уж нам радуются? — Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. — Что это они мне сунули? Говорят, образчик. — Он прочел надпись на этикетке: — “БЛИКС. Новейшая Мыльная Стружка”.

Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане попеременно, точно на карнавале. Стоял немолчный говор, радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.

Этилл словно околел. Его пуще прежнего била дрожь.

— Неужели вы не чувствуете? — шепнул он. — Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они подстроили нам ловушку.

— А я говорю, их надо перебить — всех до единого!

— Как же убивать тех, кто называет тебя “другом” и “приятелем”? — спросил второй марсианин.

Этилл покачал головой.

— Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. — Он нацелил мозг на толпу, стараясь нащупать ее настроение. — Да, они и вправду к нам расположены, “на дружеской ноге” — так это у них называется. Это огромное сборище самых обыкновенных людей, они равно благосклонны что к кошкам и собакам, что к марсианам. И все же... все же...

Оркестр сыграл “Выкатим бочонок”. Компания “Пиво Хейгенбека” (город Фресно, штат Калифорния) угощала всех даровым пивом.

Марсиан начало тошнить.

Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно.

Давясь и отплевываясь, Этилл сидел в тени платана.

— Это заговор... гнусный заговор... — стонал он ч судорожно хватался за живот.

— Что вы такое съели? — над ним стоял Военный наставник.

— Что-то непонятное, — простонал Этилл. — У них это называется кукурузные хлопья.

— А еще?

— Еще какой-то ломоть мяса с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу, и штуку, которую они называют пирожное, — вздохнул Этилл, веки его вздрагивали.

Со всех сторон раздавались стоны завоевателей-марсиан.

— Перебить подлых предателей! — слабым голосом выкрикнул кто-то.

— Спокойнее, — остановил Наставник. — Это просто гостеприимство. Они переусердствовали.

Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземлятся в других городах. Пора приниматься за дело.

Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.

— Вперед шагом... марш!

Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось, — столбы, бетон, металл полотняные навесы, крыши, толь — все дышало жаром.

Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах.

— Осторожней! — вполголоса предупредил Наставник.

Они проходили мимо салона красоты.

Внутри кто-то украдкой хихикнул.

— Смотрите!

Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.

— Это заговор, — прошептал Эттил. — Говорю вам, это заговор!

В жарком воздухе тянуло духами, пряные запахи неслись от вентиляторов, что бешено крутились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дива, сидели женщины — волосы у них закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины; глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо и хитро; накрашенные рты алели ярко, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев, исподтишка окутывал изумленных марсиан.

Нервы Эттила не выдержали.

— Ради всего святого! — вдруг закричал он. — Скорее по ракетам — и домой! Эти ужасные твари до нас доберутся! Вы на них только посмотрите! Видите, видите? Вот они, злобные подводные чудища, вот они сидят в своих стылых пещерах в искусственной скале!

— Молчать!

Только посмотрите на них, думал Эттил. Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры.

Он снова закричал.

— Эй, кто-нибудь заткните ему глотку!

— Они накинута на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами, их жирно намазанные, ярко-красные рты оглушат нас визгом и криком! Они затопят нас потоками пошлости, все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат, и напевают, и бормочут! Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?

— А почему бы и нет? — раздался голоса.

— Да они изжарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете! Вас раздавят, сотрут в порошок, каждый из вас обратится в мужа — и только, в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтоб они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?

— Конечно, черт подери!

Издали долетел голос — высокий, пронзительный женский голос:

— Поглядите на того, посередке — правда, красавчик?

— А марсиане в общем-то ничего. Право слово, мужчины как мужчины, — томно протянул другой голос.

— Эй вы! Ау! Марсиане! Э-эй!

Этил с воплем кинулся бежать...

Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу — как далеко он от дома, как одинок и заброшен! Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел: марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, — там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользкими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам, а рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера теней — кинематограф.

— Привет!

Он в ужасе вскинул голову.

Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку.

— Не убегай, — сказала она. — Я не кусаюсь.

— Ох! — вырвалось у Эттила.

— Сходим в кино? — предложила женщина.

— Нет.

— Пойдем — сказала она. — Все пошли.

— Нет, — повторил Эттил. — Разве вы тут, на Земле, только этим и занимаетесь?

— А чего тебе еще? — она подозрительно посмотрела на него округлившимися голубыми глазами. — Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха! Выдумает тоже!

Этил смотрел на нее, раскрыв рот, потом спросил:

— А все-таки чем вы еще занимаетесь?

— Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой “Подлер—шесть” с откидным верхом. Шикарная машина! Уж будь уверен, у кого есть “Подлер—шесть”, тот любую девчонку подцепит! — и она подмигнула Эттилу. — У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, я уж знаю. Была бы охота, можешь завести себе “Подлер—шесть” — и кати, куда вздумается, я уж знаю.

— Куда, в кино?

— А чем плохо?

— Нет-нет, ничего...

— Знаете что, мистер? Вы рассуждаете, как коммунист! — сказала женщина. — Да, сэр, и такие разговорчики никто терпеть не станет, уж будьте уверены. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули — верно?

— Вот этого я никак не пойму, — сказал Эттил. — Почему вы нас так приняли?

— По доброте душевной, мистер, вот почему! Так и запомните, по доброте душевной! — и она пошла

искать себе другого кавалера.

Эттил собрался с духом — надо написать жене; разложив бумагу на коленях, он старательно вывел: “Дорогая Тилла!” Но тут его снова прервали. Над самым ухом кто-то застучал в бубен, пришлось поднять голову — перед ним стояла щедедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.

— Брат мой! — закричала она, глядя на Эттила горящими глазами. — Обрел ли ты спасение?

Эттил вскочил, уронил перо.

— Что? Опасность?

— Ужасная опасность! — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе. — Ты нуждаешься в спасения, брат мой, ты на краю гибели!

— Кажется, вы правы, — дрожа согласился Эттил.

— Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли? — она широко улыбнулась.

— Пожалуй, что так.

Она впиалась в Эттила пронзительным взглядом. Наклонилась к нему и таинственно зашептала:

— Брат мой, был ли ты окрещен?

— Не знаю, — ответил он тоже шепотом.

— Не знаешь?! — крикнула она и высоко вскинула бубен.

— Это вроде расстрела, да? — спросил Эттил.

— Брат мой, ты погряз во зле и грехе, — сказала старушонка. — Не тебя осуждаю, ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны — вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения.

— И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире? — спросил Эттил.

— Не требуй сразу многого, — возразила она. — Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда.

— Тот мир я знаю, — сказал Эттил.

— Там покой, — продолжала она.

— Да.

— И тишина.

— Да.

— Там реки текут молоком и медом.

— Да, пожалуй, — согласился Эттил.

— И все смеются и ликуют.

— Я это, как сейчас, вижу, — сказал Эттил.

— Тот мир лучше нашего, — сказала она.

— Куда лучше, — подтвердил он. — Да, Марс — великая планета.

Старушонка так и вскинулась и затрясла бубном у него под самым носом.

— Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?

— Да нет же! — Эттил смутился и растерялся. — Я думал, вы это про...

— Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс! Вот такие, как вы, и будут вечно кипеть в котле и покроются язвами, вам уготованы адские муки...

— Да, признаться, Земля — место мало приятное. Вы очень верно ее описываете.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер! — разъярилась старушонка.

— Нет-нет, прошу прощенья. Это я по невежеству.

— Ладно, — сказала она. — Ты язычник, а язычники все невоспитанные. Вот тебе бумага. Приходи завтра вечером по этому адресу и будешь окрещен и обретешь счастье. Мы громко распоеваем, без устали шагаем, и если хочешь услышать наши трубы и барабаны, ты придешь, непременно придешь — да?

— Постараюсь, — неуверенно сказал Эттил.

И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распоевая во все горло: “Счастье мое вечно со мной!”

Измученный Эттил снова взялся за письмо.

“Дорогая Тилла! Подумай только, я наивно воображал, будто земляне встретят нас пушками и бомбами. Ничего подобного! Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких таких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет.

Тут только и есть что белобрысые розовые роботы с телами из резины; они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобные, живые, и все-таки говорят и действуют как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные *derrières*^[8]. Глаза неподвижные, застывшие — ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей — ведь они непрестанно жуют резинку.

Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тилла, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в гигантскую бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль...”

Отчаянный вопль. Треск, грохот. И тишина.

Эттил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Эттил вернулся к письму.

“Милая, милая Тилла, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают сорок пять тысяч человек — они превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли — смешные и страшные мысли, которые торчат в застывшем желе. Автомобили сплющиваются в этикие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо.

Везде на дорогах — кровавое месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка — и лица обращаются в карнавальные маски. Есть у них такой праздник — карнавал в день всех святых. Мне кажется, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть.

Выглянешь из окна, а там, тесно обнявшись, лежат двое, еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдуньи и жевательная резинка заманят ее в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока еще не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс.

Тилла моя, где-то на Земле есть некий человек, которому довольно нажать на рычаг — и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью. А сам он играет в карты.

Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства, они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тилла моя. Пожелай мне удачи, ведь я могу погибнуть при попытке к бегству. Поцелуй за меня сына”.

Этил Врай сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой.

Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь на Марс? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался.

Ясно одно — если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода — и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что!

Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне — лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек!

— Эй, вы!

Взвыла сирена. У тротуара остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек.

— Марсианин?

— Да.

— Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживее, вам крупно повезло. Влезайте! Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом!

Ошеломленный Эттил покорно открыл дверцу и сел в машину.

Покатили.

— Что будете пить, Э Вэ? Коктейль? Официант, два манхеттена! Спокойно, Э Вэ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Э Вэ. Меня зовут Эр Эр Ван Пленк. Может, слышали про такого? Нет? Ну, все равно, руку, приятель.

Он зачем-то помял Эттилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темней пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.

— Итак, Э Вэ, вы мне нужны. У меня есть идея — благороднейшая, лучше не придумаешь! Даже не знаю, как это меня осенило. Сижу сегодня дома — и вдруг — бац! — вот это, думаю, будет фильм! ВТОРЖЕНИЕ МАРСИАН НА ЗЕМЛЮ. А что для этого нужно? Консультант. Ну, сел я в машину, отыскал вас — и вся недолга. Выпьем! За ваше здоровье и за наш успех. Хоп!

— Но... — возразил было Эттил.

— Знаю, знаю, ясно, не задаром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня, при себе такая книжечка, а в ней золотые листочки, могу ссудить.

— Мне не очень нравятся ваши земные растения и...

— Э, да вы шутник! Так вот, как я это мыслю. Сперва шикарная сцена: на Марсе разгораются страсти, огромное сборище, марсиане кричат и бьют в барабаны. В глубине — громадные серебряные города...

— Но у нас на Марсе города совсем не такие...

— Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эр Эру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.

— Мы не пляшем вокруг костров...

— В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, — объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал: — Затем нам понадобится марсианка, высокая златокудрая красавица.

— На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...

— Послушай, Э Вэ, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?

— Эттил.

— Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо. Я уж сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?

— Я думал...

— И еще нам нужна такая сцена, чтоб зрители рыдали — в марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.

Эттил перегнулся к нему через столик в крепко сжал его руку.

— Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.

— Валяй, Джо, не смущайся.

— Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы все, как один, встречаете нас, точно родных детей после долгой разлуки. Почему?

— Ну и чудачки же вы там, на Марсе! Сразу видно — святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?

И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.

— Мы люди простые, обыкновенные, верно? Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Наш век — век Простого Человека, Билл, и мы гордимся, что мы — мелкая сошка. У нас на Земле, друг Билли, все жители сплошь — Сарояны. Этакое огромное многочисленное семейство благодушных Сароянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, Джо, и мы понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе и завидно, что у нас такие города...

— Наша цивилизация гораздо старше вашей...

— Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин — и милости просим, добро пожаловать, ведь вы — наши братья, вы тоже самые обыкновенные люди.

А кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь: на этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал этот фильм — он нам даст миллиард чистой прибыли, это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет Штука. Это тоже, считай, миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по пять монет. Да мало ли что еще можно придумать.

— Вот оно что, — сказал Эттил и отодвинулся.

— Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте — и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и вакцину — прорву всего.

— Постойте. Еще один вопрос.

— Валяй.

— Как ваше имя? Что это означает — Эр Эр?

— Ричард Роберт.

Эттил поглядел в потолок.

— А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет вас ...м-м ...Рик?

— Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще.

Эттил перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться. Ткнул в собеседника пальцем.

— Так вы — Рик? Рик! Стало быть, вы и есть Рик!

— А что тут смешного, сынок? Объясни папочке!

— Вы не поймете... вспомнилась одна история... — Эттил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. — Так вы — Рик! Ох, забавно! Ну, совсем не похоже. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!

— Эй, полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но...

— Вашу руку, Рик! Давно мечтал познакомиться. Вы — тот самый человек, который завоеует Марс, ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром.

— Я только скромный предприниматель, — сказал Ван Пленк и потупил глазки. — Я делаю свое дело и получаю толику барыша. Но я уже говорил, Джек: я давно подумывал — надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уиггили и комиксы Дика Трейси — там все будет в новинку! Огромный рынок сбыта! Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так! Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Наши товары будут нарасхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш, верно говорю! Еще бы — духи, платья из Парижа, модные комбинезоны — чуешь? И первоклассная обувь.

— Мы ходим босиком.

— Что я слышу? — воззвал Ван Пленк к небесам. — На Марсе живот одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, уж это наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится!

— А-а...

Ван Пленк хлопнул Эттила по плечу.

— Стало быть, заметано? Ты — технический директор моего фильма, идет? Для начала получаешь

двести долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?

— Меня тошнит, — сказал Эттил. От выпитого коктейля он весь посинел.

— Э, прошу прощения. Я не знал, что тебя так заберет. Выйдем-ка на воздух.

На свежем воздухе Эттилу стало полегче.

— Так вот почему Земля нас так встретила? — спросил он и покачнулся.

— Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать, ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в одиннадцать, тогда потолкуем. Ровно в девять, смотри не опаздывай. У нас порядок строгий.

— А почему?

— Чудак ты, Галлахер! Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!

Автомобиль отъехал.

Эттил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потом потер лоб ладонью и медленно вошел по улице к стоянке марсиан.

— Как же теперь быть? — вслух спросил он себя.

Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали, из города доносился гул — там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи: с одним молодым марсианином случился тяжкий нервный припадок; судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику какая-то женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал:

— Дышать нечем... заманили, раздавили...

Понемногу всхлипывания затихли. Эттил вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке вповалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города смутно долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки: приглушенно урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обростут жирком, станут ленивыми и беспамятными; в пещерах кино вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон — от него так уже никогда и не очнешься, не отрезвеешь до конца дней.

Пройдет год — и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней а почках, от высокого кровяного давления? А сколько покончат с собой?

Эттил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

Перед ним выбор: остаться на Земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу: да, мол, конечно, бывала на Марсе жестокая резня; да, наши женщины — высокие и белокурые; да, у нас есть разные племена и у каждого свои пляски и жертвоприношения, да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс.

— А что будет через год? — сказал он вслух.

На Марсе откроют Ночной Клуб Голубого канала. И Казано Древнего города. Да, в самом сердце марсианского Древнего города устроят игорный притон! И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на дедовских могилах — да,

не миновать.

Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно — дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать — то недолгое время, что еще остается им, пока с неба не свалится неоновое безумие.

А потом, быть может, они с Тиллой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут Щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться — ах, какой дивный вид!

Он уже точно знал, что скажет Тилле:

— Война — ужасная вещь, но мир подчас может быть куда страшнее.

Он стоял посреди широкой пустынной дороги.

Обернулся — и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Эти мальчишки и девчонки лет по шестнадцати, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. И указывают на него пальцами и истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость — шестьдесят миль в час.

Эти кинулся бежать. Машина настигала.

Да, да, устало подумал он. Как странно, как печально... и рев и грохот... точь-в-точь бетономешалка.

УРОЧНЫЙ ЧАС

Ох, и весело будет! Вот это игра! Сто лет такого не было! Детишки с криком носятся взад и вперед по лужайкам, то схватятся за руки, то бегают кругами, влезают на деревья, хохочут во все горло. В небе пролетают ракеты, по улицам скользят проворные машины, но детвора поглощена игрой. Такая потеха, такой восторг, столько визга и суеты!

Мышка вбежала в дом, чумазая и вся в поту. Для семи лет она была горластая и крепкая и отличалась на редкость твердым характером. Миссис Моррис и оглянуться не успела, а дочь уже с грохотом выдвигала ящики и сыпала в большой мешок кастрюльки и разную утварь.

— О господи, Мышка, что это творится?

— Мы играем! Очень интересно! — запыхавшись, вся красная отозвалась Мышка.

— Посиди минутку, передохни, — посоветовала мать.

— Не, я не устала. Мам, можно, я все это возьму?

— Только не продырявь кастрюли, — сказала миссис Моррис.

— Спасибо, спасибо! — закричала Мышка и сорвалась с места, как ракета.

— А что у вас за игра? — окликнула мать, глядя ей вслед.

— Вторжение! — на бегу бросила Мышка.

Хлопнула дверь.

По всей улице дети тащили из дому ножи, вилки, консервные ножи, а то и кочергу или кусок старой печной трубы.

Любопытно, что волнение и суматоха охватили только младших. Старшие, начиная лет с десяти, смотрели на все это свысока и уходили гулять подальше или с достоинством играли в прятки и с мелюзгой не связывались.

Тем временем отцы и матери разъезжали взад и вперед в сверкающих хромированных машинах. В дома приходили мастера — починить вакуумный лифт, наладить подмигивающий телевизор или задуривший продуктопровод. Взрослые мимоходом поглядывали на озабоченное молодое поколение, завидовали неумной энергии разыгравшихся малышей, снисходительно улыбались их буйным забавам и сами, пожалуй, были бы не прочь позабавиться е детишками, да солидному человеку это не пристало...

— Эту, эту и еще эту, — командовала Мышка, и ребята выкладывали перед ней разнокалиберные ложка, штопоры и отвертки.. — Это давал сюда, а это туда. Не так! Вот сюда, неумеха! Так. Теперь не мешайся, я приделаю эту штуку, — она прикусила кончик языка я озабоченно наморщила лоб. — Вот так. Понятие?

— Ага-а! — завопили ребята.

Подбежал двенадцатилетний Джозеф Коннорс.

— Уходи! — без обиняков заявила Мышка.

— Я хочу с вами играть, — сказал Джозеф.

— Нельзя! — отрезала она.

— Почему это?

— Ты будешь насмехаться.

— Честное слово, не буду.

— Нет уж. Знаем мы тебя. Уходи, а то поколотим.

Подкатил на автоматических коньках еще один двенадцатилетний.

— Эй, Джо! Брось ты этих младенцев. Пошли!

Джозефу явно не хотелось уходить, он повторил не без грусти:

— А я хочу с вами.

— Ты старый, — решительно возразила Мышка.

— Не такой уж я старый, — резонно сказал Джо.

— Ты только будешь смеяться и испортишь все вторжение.

Мальчик на автоматических коньках громко, презрительно фыркнул.

— Пошли, Джо! Ну их! Все еще в сказки играют!

Джозеф поплелся прочь. И пока не завернул за угол, все оглядывался.

А Мышка опять захлопотала. При помощи своего разномастного инструмента она соорудила непонятный аппарат. Сунула другой девочке тетрадку и карандаш, и та под ее диктовку выводила какие-то каракули. Жарко грело солнце, голоса девочек то звенели, то затихали.

А вокруг гудел город. Вдоль улиц мирно зеленели деревья. Только ветер не признавал тишины и покоя и все метался по городу, по полям, по всей стране. В тысяче других городов были такие же деревья, и дети, и улицы, и деловые люди в тихих солидных кабинетах что-то говорили в диктофон или следили за экранами телевизоров. Синее небо серебряными иглами прошивали ракеты. Везде и во всем ощущалось спокойное довольство и уверенность, люди привыкли к миру и не сомневались: их больше не ждет никакая беда. На всей земле люди были дружны и едины. Все народы в равной мере владели надежным оружием. Давно уже достигнуто было идеальное равновесие сил. Человечество больше не знало ни предателей, ни несчастных, ни недовольных, а потому не тревожилось о завтрашнем дне. И сейчас полмира купалось в солнечных лучах, и дремала, пригревшись, листва деревьев.

Миссис Моррис выглянула из окна второго этажа.

Дети. Она поглядела на них и покачала головой. Что ж, они с аппетитом поужинают, сладко уснут и в понедельник пойдут в школу. Крепкие, здоровые. Она прислушалась.

Подле розового куста Мышка что-то озабоченно говорит... а кому? Там никого нет.

Станный народ дети. А другая девочка — как бишь ее? Да, Энн, — она усердно выводит каракули в тетрадке. Мышка что-то спрашивает у розового куста, а потом диктует подружке ответ.

— Треугольник, — говорит Мышка.

— А что это — треу...гольник? — с запинкой спрашивает Энн.

— Неважно, — отвечает Мышка.

— А как оно пишется?

— Тэ... рэ... е... — начинает объяснять Мышка, но у нее не хватает терпенья. — А, да пиши, как хочешь! — и диктует дальше: — Перекладина.

— Я еще не дописала тре... гольник.

— Скорей, копуха! — кричит Мышка.

Мать высовывается из окна.

— ...у-голь-ник, — диктует она растерявшейся Энн.

— Ой, спасибо, миссис Моррис! — говорит Энн.

— Вот это правильно, — смеется миссис Моррис и возвращается к своим делам: надо включить электромагнитную щетку, чтоб вытянуло пыль в прихожей.

А в знойном воздухе колыхаются детские голоса.

— Перекладина, — говорит Энн.

Затишье.

— Четыре, девять, семь. А, потом Бэ, потом Фэ, — деловито диктует издали Мышка. — Потом видка, и веревочка, и шеста... шесту... шестиугольник!

За обедом Мышка залпом проглотила стакан молока и кинулась к двери. Миссис Моррис хлопнула ладонью по столу.

— Сядь сию минуту, — велела она дочери. — Сейчас будет суп.

Она нажала красную кнопку кухарки-автомата, и через десять секунд в резиновом приемнике что-то мягко стукнуло. Миссис Моррис открыла приемник, вынула запечатанную банку с двумя алюминиевыми ручками, мигом вскрыла ее и налила в чашку горячего супу.

Мышка ерзала на стуле.

— Скорей, мам! Тут дело о жизни и смерти, а ты...

— В твои годы я была такая же. Всегда дело о жизни и смерти. Я знаю.

Мышка торопливо глотала суп.

— Ешь помедленнее, — сказала мать.

— Не могу, меня Дрилл ждет.

— Кто это Дрилл? Странное имя.

— Ты его не знаешь, — сказала Мышка.

— Разве в нашем квартале поселился новый мальчик?

— Еще какой новый, — сказала Мышка, принимаясь за вторую порцию.

— Который же это — Дрилл? Покажи, — сказала мать.

— Он там, — уклончиво ответила Мышка. — Ты будешь смеяться. Все только дразнятся да смеются. Фу, пропасть!

— Что же, этот Дрилл такой застенчивый?

— Да. Нет. Как сказать. Ох, мам, я побегу, а то у нас никакого вторжения не получится.

— А кто куда вторгается?

— Марсиане на Землю. Нет, они не совсем марсиане. Они... ну, не знаю. Вон оттуда, — она ткнула ложкой куда-то вверх.

— И отсюда. — Миссис Моррис легонько тронула разгоряченный лоб дочери.

Мышка возмутилась:

— Смеешься! Ты рада убить и Дрилла и всех!

— Нет-нет, я ничего плохого не хотела сказать. Так этот Дрилл — марсианин?

— Нет. Он... ну, не знаю. С Юпитера, что ли, или с Сатурна, или с Венеры. В общем ему трудно пришлось.

— Могу себе представить! — Мать прикрыла рот ладонью, пряча улыбку.

— Они никак не могли придумать, как бы им напасть на Землю.

— Мы неприступны, — с напускной серьезностью подтвердила мать.

— Вот и Дрилл так говорит! Это самое слово, мам: не-при...

— Ой-ой, какой умный мальчик. Какие взрослые слова знает.

— Ну и вот, мам, они всё не могли придумать, как на нас напасть. Дрилл говорит... он говорит, чтоб хорошо воевать, надо найти новый способ заставить людей врасплах. Тогда непременно победишь. И еще он говорит, надо найти помощников в лагере врага.

— Пятую колонну, — сказала мать.

— Ага. Так Дрилл говорит. А они всё не могли придумать, как заставить Землю врасплах и как найти помощников.

— Не удивительно. Мы ведь очень сильны, — засмеялась мать, убирая со стола.

Мышка сидела и смотрела в одну точку, словно видела перед собой все, о чем рассказывала.

— А потом в один прекрасный день, — продолжала она театральным шепотом, — они подумали о детях!

— Вот как! — восхитилась миссис Моррис.

— Да, и они подумали: взрослые вечно заняты, они не заглядывают под розовые кусты и не шарят в траве.

— Разве что когда собирают грибы или улиток.

— И потом он говорил что-то такое про мери-мери.

— Мери-мери?

— Ме-ре-няя.

— Измерения?

— Ага! Их четыре штуки! И еще говорил про детей до девяти лет и про воображение. Он ужасно забавно разговаривает.

Миссис Моррис устала от этой болтовни.

— Да, наверно, это очень забавно. Но твой Дрилл тебя заждался. Уже поздно, а надо еще умыться перед сном. Так что, если хочешь поспеть с вашим вторжением, беги скорей.

— Ну-у, еще мыться! — заворчала Мышка.

— Обязательно! И почему это все дети боятся воды? Во все времена все дети не любили мыть уши.

— Дрилл говорит, мне больше не надо будет мыться, — сказала Мышка.

— Ах, вот как?

— Он всем ребятам так сказал. Никакого мытья. И не надо рано ложиться спать, и в субботу можно по телевизору смотреть целых две программы!

— Ну, пускай мистер Дрилл не болтает лишнего. Вот я пойду поговорю с его матерью и...

Мышка пошла к двери.

— И еще есть такие мальчишки — Пит Бритц и Дейд Джеррик, мы с ними ругаемся. Они уже большие. И они над нами насмеваются. Они еще хуже родителей. Даже ее верят в Дрилла. Воображали такие, задаются. Потому что они уже большие. Могли бы быть поумнее. Сами недавно были маленькие. Я их ненавижу хуже всех. Мы их первым делом убьем.

— А нас с папой после?

— Дрилл говорит, вы опасные. Знаешь почему? Потому что вы не верите в марсиан! А они позволят нам править всем миром. Ну, не нам одним, ребятам из соседнего квартала тоже. Я, наверно, буду королевой.

Она отворила дверь.

— Мам!

— Да?

— Что такое лог-ги-ка?

— Логика? Понимаешь, детка, это когда человек умеет разобраться, что верно, а что неверно.

— Дрилл и про это сказал. А что такое впе-ча-тли-тель-ный? — Мышке понадобилась целая минута, чтоб выговорить такое длиннющее слово.

— А это... — мать опустила глаза и тихонько засмеялась. — Это значит — ребенок.

— Спасибо за обед! — Мышка выбежала вон, потом на миг снова заглянула в кухню. — Мам, я уж постараюсь, чтоб тебе было не очень больно, правда-правда!

— И на том спасибо, — сказала мать.

Хлопнула дверь.

В четыре часа зажужжал вызов видеофона. Миссис Моррис нажала кнопку, экран осветился.

— Здравствуй, Элен! — сказала она.

— Здравствуй, Мэри. Как дела в Нью-Йорке?

— Отлично. А в Скрэнтоне? У тебя усталое лицо.

— У тебя тоже. Сама знаешь, дети. Путаются под ногами.

Миссис Моррис вздохнула.

— Вот и Мышка тоже. У них тут свехвторжение.

Элен рассмеялась:

— У вас тоже малыши в это играют?

— Ох, да. А завтра все помешаются на головоломках и на механических, "классах". Неужели году в сорок восьмом мы тоже были такие несносные?

— Еще хуже. Играли в японцев и нацистов. Не знаю, как мои родители меня терпели. Ужасным была сорванцом.

— Родители привыкают все пропускать мимо ушей.

Короткое молчание.

— Что случилось, Мэри?

Миссис Моррис стояла, полузакрыв глаза, медленно, задумчиво провела языком по губам. Вопрос Элен заставил ее вздрогнуть.

— А? Нет, ничего. Просто я задумалась обо всем этом. Насчет того, чтобы пропускать мимо ушей, и вообще. Неважно. О чем это мы говорили?

— Мой Тим прямо влюбился в какого-то мальчишку по имени Дрилл... кажется, так его зовут.

— Наверно, это у них новый пароль. Моя Мышка тоже увлекается этим Дриллом.

— Вот не думала, что это и до Нью-Йорка докатилось. Видно, перекидывается от одного к другому. Какая-то эпидемия. Я тут разговаривала с Джозефиной, она говорит, ее детишки тоже помешались на новой игре, а это ведь Бостон. Всю страну охватило.

В кухню вбежала Мышка выпить воды. Миссис Моррис обернулась.

— Ну, как дела?

— Почти все готово, — ответила Мышка.

— Прекрасно! А это что такое?

— Бумеранг. Смотри!

Это было что-то вроде шарика на пружинке. Мышка кинула шарик, пружинка растянулась до отказа... и шарик исчез.

— Видала? — сказала Мышка. — Хоп! — Она согнула палец крючком, шарик вновь очутился у нее в руке, и она защелкнула пружинку.

— Ну-ка, еще раз, — попросила мать.

— Не могу. В пять часов вторжение. Пока! — и Мышка вышла, пощелкивая своей игрушкой.

С экрана видеофона засмеялась Элен.

— Мой Тим сегодня утром тоже притащил такой бумеранг, я хотела поглядеть, как он действует, но Тим ни за что не хотел показать. Потом я попробовала сама, но ничего не получилось.

— Ты не вне-ча-тли-тель-ная, — сказала Мэри Моррис.

— Что?

— Так, ничего. Я подумала о другом. Тебе что-то было нужно, Элен?

— Да, я хотела спросить, как ты делаешь то печенье, черное с белым...

Лениво текло время. Близился вечер. Солнце опускалось в безоблачном небе. По зеленым лужайкам потянулись длинные тени. А ребячьи крики и смех все не утихали. Одна девочка вдруг с плачем побежала прочь. Миссис Моррис вышла на крыльцо.

— Кто это плакал, Мышка? Не Пегги-Энн?

Мышка что-то делала во дворе, подле розового куста.

— Угу, — ответила она, не разгибаясь. — Пегги-Энн трусиха. Мы больше не будем с ней играть. Она уж очень большая. Наверно, она вдруг выросла.

— И поэтому заплакала? Чепуха. Отвечай мне, как полагается, не то сейчас же пойдешь домой!

Мышка круто обернулась, испуганная и злая.

— Да не могу я сейчас! Скоро уже время. Ты прости, я больше не буду.

— Ты что же, ударила Пегги-Энн?

— Нет, честное слово! Вот спроси ее! Это из-за то-то, что... ну, просто она трусиха, задрожала — хвост поджала.

Кольцо ребятни теснее сдвинулось вокруг Мышки; озабоченно хмурясь, она что-то делала с разнокалиберными ложками и четырехугольным сооружением из труб и молотков.

— Вот сюда и еще сюда, — бормотала она.

— У тебя что-то не ладится? — спросила миссис Моррис.

— Дрилл застрял. На полдороге. Нам бы только его вытащить, тогда будет легче. За ним и другие пролезут.

— Может, я вам помогу?

— Нет, спасибо. Я сама.

— Ну, хорошо. Через полчаса мыться, я тебя позову. Устала я на вас смотреть.

Миссис Моррис ушла в дом, села в кресло и отпила глоток пива из неполного стакана. Электрическое кресло начало массировать ей спину. Дети, дети. У них и любовь и ненависть — все перемешано. Сейчас ребенок тебя любит, а через минуту ненавидит. Странный народ дети. Забывают ли они, прощают ли в конце концов шлепки, и подзатыльники, и резкие слова, когда им велишь — делай то, не делай этого? Как знать... Может быть, ничего нельзя ни забыть, ни простить тем, у кого над тобой власть — большим, непонятливым и непреклонным?

Время шло. За окнами воцарилась странная, напряженная тишина, словно вся улица чего-то ждала.

Пять часов. Где-то в доме тихонько, мелодично запели часы: “Ровно пять, ровно пять, надо время не терять!” — и умолкли.

Урочный час. Час вторжения.

Миссис Моррис засмеялась про себя.

На дорожке зашуршали шины. Приехал муж. Мэри улыбнулись. Мистер Моррис вышел из машины, захлопнул дверцу и окликнул Мышку, все еще поглощенную своей работой. Мышка и ухом не повела. Он засмеялся и постоял минуту, глядя на детей. Потом поднялся на крыльцо.

— Добрый вечер, дорогая.

— Добрый вечер, Генри.

Она выпрямилась в кресле и прислушалась. Дети молчат, все тихо. Слишком тихо.

Муж выколотил трубку и набил заново.

— Чудесный выдался денек. Живешь и радуешься.

Ж-ж-жж.

— Что это? — спросил Генри.

— Не знаю.

Она вскочила, поглядела расширенными глазами. Хотела что-то сказать — и не сказала: смешно. Нервы расходились.

— Дети там ничего плохого не натворят? — промолвила она. — Может быть, они затеяли какую-то опасную игру?

— Да нет, у них там только трубы и молотки. А что?

— Никаких электрических приборов?

— Ничего такого, — сказал Генри. — Я смотрел.

Мэри прошла в кухню. Жужжанье продолжалось.

— Все-таки ты им лучше скажи, чтоб кончали. Уже шестой час. Скажи им... — Она прищурилась. — Скажи, пускай отложат вторжение на завтра. — Она засмеялась немножко неестественным смехом.

Жужжанье стало громче.

— Что они там делают? Пойду, в самом деле, погляжу.

Взрыв!

Глухо ухнуло, дом шатнуло. И в других домах, на других улицах раздались взрывы.

У миссис Моррис вырвался отчаянный вопль.

— Там, наверху! — бессмысленно закричала она, не думая, не рассуждая.

Быть может, она что-то заметила краем глаза; быть может, ощутила незнакомый запах или уловила незнакомый звук. Некогда было спорить с Генри, убеждать его. Пускай думает, что она сошла с ума. Да, пускай! С воплем она кинулась вверх по лестнице. Не понимая, о чем она, муж бросился следом.

— На чердаке! — кричала она. — Там, там!

Это был жалкий предлог, но как еще заставишь его скорей подняться на чердак. Скорей, успеть... о боже!

Во дворе — новый взрыв. И восторженный визг, как будто для ребят устроили невиданный фейерверк.

— Это не на чердаке! — крикнул Генри. — Это во дворе!

— Нет, нет! — задыхаясь, еле живая, она пыталась открыть дверь. — Сейчас увидишь! Скорей! Сейчас увидишь!

Наконец они ввалились на чердак. Мэри захлопнула дверь, повернула ключ в замке, вытащила его и закинула в дальний угол, в кучу всякого хлама. И как в бреду, захлебываясь, стала выкладывать все подряд. Она не могла удержаться. Наружу рвались неосознанные; подозрения и страхи, что весь день тайно копились в душе и перебрали в ней, как вино. Все мелкие разоблачения, открытия и догадки, которые тревожили ее с самого утра и которые она так здраво, трезво и рассудительно критиковала и отвергала. Теперь все это взорвалось и потрясло ее.

— Ну вот, ну вот, — всхлипывая, острова прислонилась к двери. — Тут мы в безопасности до вечера. Может, потом мы потихоньку выберемся. Может, нам удастся бежать!

Теперь взорвался Генри, но по другой причине.

— Ты что, рехнулась? Какого черта ты закинула ключ? Знаешь, милая моя!..

— Да, да, пускай рехнулась, если тебе так легче, только оставайся здесь!

— Хотел бы, я знать, как теперь отсюда выбраться!

— Тише. Они услышат. О господи, они нас найдут...

Где-то близко — голос Мышки. Генри умолк на полуслове. Все вдруг загудело, зашипело, поднялся визг и смех. Внизу упорно, настойчиво жужжал сигнал видеофона — громкий, тревожный. *“Может, это Элен меня вызывает?”* — подумала Мэри. — *Может, она хочет мне сказать... то самое, чего я жду?”*

В доме раздались шаги. Гулкие, тяжелые.

— Кто там топает? — гневно говорит Генри. — Кто смел вломиться в мой дом?

Тяжелые шаги. Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят пар ног. Пятьдесят человек вошли в дом. Что-то гудит. Хихикают дети.

— Сюда! — кричит внизу Мышка.

— Кто там? — в ярости спрашивает Генри. — Кто там ходит?

— Тс-с. Ох, нет, нет, нет! — умоляет жена, цепляясь за него. — Молчи, молчи. Может, они еще уйдут.

— Мам! — зовет Мышка. — Пап!

Молчание.

— Вы где?

Тяжелые шаги, тяжелые, тяжелые, страшно тяжелые. Вверх по лестнице. Это Мышка их ведет.

— Мам? — Неуверенное молчание. — Пап? — Ожидание, тишина.

Гуденье. Шаги на лестнице, ведущей на чердак. Впереди всех — легкие, Мышкины.

На чердаке отец и мать молча прижались друг к другу, их бьет дрожь. Электрическое гуденье, странный холодный свет, вдруг просквозивший в щели под дверью, незнакомый острый запах, какой-то чужой, нетерпеливый голос Мышки — все это, непонятно почему, проняло, наконец, и Генри Морриса. Он стоит рядом с женой в тишине, во мраке, и его трясет.

— Мам! Пап!

Шаги. Негромкое гуденье. Замок плавится. Дверь настежь. Мышка заглядывает внутрь чердака, за нею маячат огромные синие тени.

— Чур-чура, я нашла! — говорит Мышка.

РАКЕТА

Ночь за ночью Фиорелло Бодонн просыпался, и слушал, как со свистом взлетают в черное небо ракеты. Уверясь, что его добрая жена спит, он тихонько поднимался и на цыпочках выходил за дверь. Хоть несколько минут подышать ночной свежестью, ведь в этом домишке на берегу реки никогда не выветривается запах вчерашней стряпни. Хоть ненадолго сердце безмолвно воспарит в небо вслед за ракетами.

Вот и сегодня ночью он стоит чуть не нагишом в темноте и следит, как взлетают ввысь огненные фонтаны. Эта уносятся в дальний дуть неистовые ракеты — на Марс, на Сатурн и Венеру!

— Ну и ну, Бодони.

Он вздрогнул.

На самом берегу безмолвно струившейся реки, на корзине из-под молочных бутылок, сидел старик и тоже следил за взлетающими в полночной тиши ракетами.

— А, это ты, Браманте!

— И ты каждую ночь так выходишь, Бодони?

— Надо же воздухом подышать.

— Вон как? Ну, а я предпочитаю поглядеть на ракеты, — сказал Браманте. — Я был еще мальчишкой, когда они появились. Восемьдесят лет прошло, а я так ни разу и не летал.

— А я когда-нибудь полечу, — сказал Бодони.

— Дурак! — крикнул Браманте. — Никогда ты не полетишь. Одни богачи делают, что хотят. — Он покачал седой головой. — Помню, когда я был молод, на всех перекрестках кричали огненные буквы: МИР БУДУЩЕГО — РОСКОШЬ, КОМФОРТ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ — ДЛЯ ВСЕХ! Как же! Восемьдесят лет прошло. Вот оно, будущее. Мы, что ли, летаем в ракетах? Держи карман! Мы живем в хижинах, как жили наши предки.

— Может быть, мои сыновья... — начал Бодони.

— Ни сыновья, ни внуки — оборвал старик. — Вот богачам, тем всё можно — и мечтать и в ракетах летать.

Бодони помолчал.

— Послушай, старина, — нерешительно заговорил он. — У меня отложены три тысячи долларов. Шесть лет копил. Дня своей мастерской, на новый инструмент. А теперь, вот уже целый месяц, не сплю по ночам. Слушаю ракеты. И думаю. И нынче ночью решил окончательно. Кто-нибудь из моих полетит на Марс! — Темные глаза его блеснули.

— Болван! — отрезал Браманте. — Как ты будешь выбирать? Кому лететь? Сам полетишь — жена обидится, как это ты побывал в небесах, немножко поближе к господу богу. Потом ты станешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие — и думаешь, она не изойдет злостью?

— Нет, нет!

— Нет, да! А твои ребята? Они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они торчали тут, как пришитые. Веселенькую задачку задашь ты своим сыновьям. До самой смерти они будут думать о ракетах. По ночам глаз не сомкнут. Изведутся с тоски по этим самым ракетам. Вот как ты сейчас. До того, что если не

полететь разок, так хоть в петлю. Лучше ты им это в голову не вбивай, верно тебе говорю. Пускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело — мастерская да железный лом, а на звезды им глазеть нечего.

— Но...

— А допустим, полетит твоя жена? И ты будешь знать, что она всего повидала, а ты нет, — что тогда? Молиться на нее, что ли? А тебе захочется утопить ее в нашей речке. Нет уж, Бодони, купи ты себе лучше новый резальный станок, без него тебе я впрямь не обойтись, да пусти свои мечты под нож, изрежь на куски и истолки в порошок.

Старик умолк и уставился неподвижным взглядом на реку — в глубине мелькали отражения проносящихся по небу ракет.

— Спокойной ночи, — сказал Бодони.

— Приятных снов, — отозвался старик.

Из блестящего тостера выскочил ломоть поджаренного хлеба, и Бодони чуть не вскрикнул. Всю ночь он не сомкнул глаз. Беспокорно спали дети, рядом возвышалось большое сонное тело жены, а он все ворочался и всматривался в пустоту. Да, Браманте прав. Лучше эти деньги вложить в дело. Стоило ли их откладывать, если из всей семьи может полететь только один, а остальные станут терзаться завистью и разочарованием?

— Ешь свой хлеб, Фиорелло, — сказала Мария, жена.

— У меня в глотке пересохло, — ответил Бодони.

В комнату вбежали дети — трое сыновей вырывали друг у друга игрушечную ракету, в руках у обеих девочек были куклы, изображающие жителей Марса, Венеры и Нептуна — зеленые истуканчики, у каждого по три желтых глаза и по двенадцать пальцев на руках.

— Я видел ракету, она пошла на Венеру! — кричал Паоло.

— Она взлетела и как зашипит: ууу-шшш! — вторил Антонелло.

— Тише вы! — прикрикнул Бодони, зажав ладонями уши.

Дети с недоумением посмотрели на отца. Он не часто повышал голос.

Бодони поднялся.

— Слушайте все, — сказал он. — У меня есть деньги, хватит на билет до Марса для кого-нибудь одного.

Дети восторженно завопили.

— Вы поняли? — сказал он. — Лететь может только один из нас. Так кто полетит?

— Я, я, я! — наперебой кричали дети.

— Ты, — сказала Мария.

— Нет, ты, — сказал Бодони.

И все замолчали. Дети собирались с мыслями.

— Пускай летит Лоренцо, он самый старший.

— Пускай летит Мириамна, она девочка!

— Подумай, сколько ты всего повидаешь, — сказала мужу Мария. Но глаза ее смотрели как-то

странно п голос дрожал. — Метеориты, как стаи рыбешек. Небо без конца и края. Луна. Пускай летит тот, кто потом все толком расскажет. А ты хорошо умеешь говорить.

— Чепуха. Ты тоже умеешь.

Всех била дрожь.

— Ну, так, — горестно сказал Бодони. Взял веник и отломил несколько прутиков разной длины. — Выигрывает короткий. — Он выставил стиснутый кулак. — Тяните.

Каждый по очереди сосредоточенно тащил прутик.

— Длинный.

— Длинный.

Следующий.

— Длинный.

Вот и все дети. В комнате стало очень тихо.

Оставались два прутика. У Бодони защемило сердце.

— Теперь ты, Мария. — прошептал он.

Она вытянула прутик.

— Короткий, — сказала она.

— Ну вот, — вздохнул Лоренцо и с грустью и с облегчением. — Мама полетит на Марс.

Бодони силился улыбнуться.

— Поздравляю! Сегодня же куплю тебе билет.

— Обожди, Фиорелло.

— На той неделе и полетишь, — пробормотал он.

Дети смотрели на мать — у всех были крупные прямые носы, и все губы улыбались, а глаза были печальные. Медленно она протянула прутик мужу.

— Не могу я лететь.

— Да почему?!

— Я должна думать о будущем малыше.

— Что-о?

Мария отвела глаза.

— В моем положении путешествовать не годится.

Он сжал ее локоть.

— Это правда?

— Начните сначала. Тяните еще раз.

— Почему же ты мне раньше ничего не говорила? — недоверчиво сказал Бодони.

— Да как-то к слову не пришлось.

— Ох, Мария, Мария, — прошептал он и погладил ее по щеке. Потом обернулся к детям. — Тяняи1 еще раз.

И тотчас Паоло вытащил короткий прутик.

— Я полечу на Марс! — он запрыгал от радости. — Вот спасибо, папа!

Другие дети бочком, бочком отошли в сторону.

— Счастливчик ты, Паоло!

Улыбка сбежала с лица мальчика, он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер.

— Мне правда можно лететь? — неуверенно спросил он.

— Правда.

— А когда я вернусь, вы будете меня любить?

— Конечно.

Драгоценный короткий прутик лежал у Паоло на раскрытой ладони, рука его дрожала, он внимательно поглядел на прутик и покачал головой. И отшвырнул прутик.

— Совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз.

Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все приуныли.

— Никто не полетит, — сказал Лоренцо.

— Это самое лучшее, — сказала Мария.

— Браманте прав, — сказал Бодони.

После завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло пошел в мастерскую и принялся за работу: разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбирал куски, не разъеденные ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь толковое. Инструмент совсем развалился; двадцать лет бьешься, как рыба об лед, чтоб выдержать конкуренцию, и ежечасно тебе грозит нищета. Прескверное выдалось утро.

Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка.

— Эй, Бодони! У меня есть для тебя кое-какой металл.

— Что именно, мистер Мэтьюз? — рассеянно спросил Бодони.

— Ракета. Ты что? Разве тебе ее не надо?

— Надо, надо! — Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся.

— Понятно, она не настоящая, — сказал Мэтьюз. — Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготавливают модель из алюминия в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе очистится. Уступлю за две тысячи.

Рука Бодони бессильно опустилась.

— Нет у меня таких денег.

— Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал — шепну тебе по секрету. Ну что ж...

— Мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги.

— Понятно.

— Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела...

— Ясно.

— Если я и куплю у вас эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать.

— Понимаю.

Бодони мигнул и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза.

— Но я распоследний дурак. Я возьму свои деньги из банка и отдам вам.

— Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий...

— Привозите вашу ракету, — сказал Бодони.

— Ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?

— Чего лучше, — сказал Бодони. — Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати.

Светила луна. Ракета высилась во дворе среди металлического лома — большая, белая. Она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд. Бодони смотрел на нее с нежностью. Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные желания и мечты.

Он смотрел на нее, закинув голову.

— Ты моя, — сказал он. — Пускай ты никогда не извергнешь пламя и не сдвинешься с места, пускай будешь пятьдесят лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя.

От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно, что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно бы носить на цепочке, как брелок.

— Пожалуй, сегодня я в ней и переночую, — взволнованно прошептал Бодони.

Он уселся в кресло пилота.

Тронул рычаг.

Стал то ли напевать, то ли гудеть с закрытым ртом, с закрытыми глазами.

Гуденье становилось все громче, громче, все тоньше и выше, все странней и неистовей, оно ликовало, нарастало, наполняя дрожью все тело, оно заставило Бодони податься вперед, окутало его и весь воздушный корабль каким-то оглушительным безмолвием, в котором только и слышался визг металла, а руки Бодони перелетали с рычага на рычаг, плотно сомкнутые веки вздрагивали, а звук все нарастал — и вот уже обратился в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает его, и несет, и грозит разорвать на части. Бодони чуть не задохнулся. Он гудел и гудел не переставая, остановиться было невозможно — еще, еще, он крепче зажмурил глаза, сердце колотится, вот-вот выскочит.

— Старт! — пронзительно кричит он.

Толчок! Громовой рев!

— Луна! — кричит он. — Метеориты! — кричит он, не видя, изо всех сил зажмурив глаза.

Неслышный головокружительный полет в багровом пляшущем зареве.

— Марс, о господи, Марс! Марс!

Задыхаясь, он без сил откачнулся на спинку кресла. Трясущиеся руки сползли с рычагов управления, голова запрокинулась. Долго он сидел так, медленно и тяжело дыша; реже, спокойнее стучало сердце.

Медленно, медленно он открыл глаза.

Перед ним был все тот же двор.

С минуту он сидел не шевелясь. Неотрывно смотрел на груды металлического лома. Потом подскочил, яростно ударил по рычагам.

— Старт, черт вас подери!

Ракета не отозвалась.

— Я ж тебя!

Он вылез наружу, его обдало ночной прохладой; спеша и спотыкаясь, он запустил на полную мощность мотор грозной резальной машины и двинулся с нею на ракету. Ловко ворочая тяжелый резак, задрал его вверх, в лунное небо. Трясущиеся руки уже готовы были обрушить всю тяжесть на эту нахальную, лживую подделку, искромсать, растащить на части дурацкую выдумку, за которую он заплатил так дорого, а она не желает работать, не желает повиноваться!

— Я тебя проучу! — заорал он.

Но рука его застыла в воздухе.

Лунный свет омывал серебристое тело ракеты. А поодаль, за ракетой, светились окна его дома. Там слушали радио, до него доносилась далекая музыка. Полчаса он сидел и думал, глядя на ракету и на огни своего дома, и глаза его то раскрывались во всю ширь, то становились как щелки. Потом он оставил резак и пошел прочь, и на ходу засмеялся, а подойдя к черному крыльцу, перевел дух и окликнул жену:

— Мария! Собирайся, Мария! Мы летим на Марс!

— Ой!

— Ух ты!

— Даже не верится!

— Вот увидишь, увидишь!

Дети топтались во дворе на ветру под сверкающей ракетой, еще не решаясь до нее дотронуться. Они только кричали, перебивая друг друга. Мария смотрела на мужа.

— Что ты сделал? — спросила она. — Потратил все наши деньги? Эта штука никогда не полетит.

— Полетит, — сказал он, не сводя глаз с ракеты.

— Межпланетные корабли стоят миллионы. Откуда у тебя миллионы?

— Она полетит, — упрямо повторил Бодони. — А теперь идите все домой. Мне надо позвонить по телефону, и у меня много работы. Завтра мы летим! Только никому ни слова, понятно? Это наш секрет.

Спотыкаясь и оглядываясь, дети пошли прочь. Скоро в окнах дома появились их тревожные, разгоряченные рожицы.

А Мария не двинулась с места.

— Ты нас разорил, — сказала она. — Ухлопать все деньги на это... на такое! Надо было купить инструмент, а ты...

— Погоди, увидишь, — сказал Фиорелло.

Она молча повернулась и ушла.

— Господи, помоги, — прошептал он и взялся за работу.

За полночь приходили грузовые машины, привозили все новые ящики и тюки; Бодони, не переставая улыбаться, выкладывал еще и еще деньги. С паяльной лампой и полосками металла в руках он опять и

опять набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею огнем, наносил ей тайные оскорбления. Он запихал в ее пустой машинный отсек девять старых-престарых автомобильных моторов. Потом запаял отсек наглухо, чтоб никто не мог подсмотреть, что он там натворил.

На рассвете он вошел в кухню.

— Мария, — сказал он, — теперь можно и позавтракать.

Она не стала с ним разговаривать.

Солнце уже заходило, когда он позвал детей:

— Идите сюда! Все готово!

Дом безмолвствовал.

— Я заперла их в чулане, — сказала Мария.

— Это еще зачем? — рассердился Бодони.

— Твоя ракета разорвется и убьет тебя, — сказала она. — Какую уж там ракету можно купить за две тысячи долларов? Ясно, что распоследнюю дрянь.

— Послушай, Мария...

— Она взорвется. Да тебе с ней и не совладать, какой ты пилот!

— А все-таки на этой ракете я полечу. Я ее уже приспособил.

— Ты сошел с ума.

— Где ключ от чулана?

— У меня.

Он протянул руку.

— Дай сюда.

Мария отдала ему ключ.

— Ты их погубишь.

— Нет, не бойся.

— Погубишь. У меня предчувствие.

Он стоял и смотрел на нее.

— А ты не полетишь с нами?

— Я останусь здесь, — сказала Мария.

— Тогда ты все увидишь и поймешь, — сказал он с улыбкой. И отпер чулан. — Выходите, ребята. Пойдем со мной.

— До свиданья, мама! До свиданья!

Она стояла у кухонного окна, очень прямая, плотно сжав губы, и смотрела им вслед,

У входного люка отец остановился.

— Дети, — сказал он, — мы летим на неделю. После этого вам надо в школу, а меня ждет работа. — Он каждому по очереди поглядел в глаза, крепко сжал маленькие руки. — Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая, она годится только еще на один раз. Больше ей уже не взлететь. Это будет

единственное путешествие за всю вашу жизнь. Так что глядите в оба!

— Хорошо, папа.

— Слушайте, старайтесь ничего не пропустить. Старайтесь все заметить и почувствовать. И на запах и на ощупь. Смотрите. Запоминайте. Когда вернетесь, вам до конца жизни, будет о чем порассказать.

— Хорошо, папа.

Корабль был тих, как сломанные часы. Герметическая дверь тамбура со свистом закрылась за ними. Бодони уложил детей, точно маленькие мумии, в резиновые подвесные койки и пристегнул широкими ремнями.

— Готовы?

— Готовы! — откликнулись все.

— Старт!

Он щелкнул десятком переключателей. Ракета с громом подпрыгнула. Дети завизжали, их подбрасывало и раскачивало.

— Смотрите, вот Луна!

Луна призраком скользнула мимо. Фейерверков проносились метеориты. Время уплывало змеящейся струйкой газа. Дети кричали от восторга. Несколько часов спустя он помог им выбраться из гамаков, и они прилипли носами к иллюминаторам и смотрели во все глаза.

— Вот, вот Земля!

— А вот Марс!

Кружили по циферблату стрелки часов, за кормой ракеты розовели и таяли лепестки огня; у детей уже слипались глаза. И, наконец, точно опьяневшие бабочки, они снова улеглись в коконах подвесных коек.

— Вот так-то, — шепнул отец.

Он на цыпочках вышел из рубки и долго в страхе стоял у выходного люка. Потом нажал кнопку.

Дверца люка распахнулась. Он ступил за порог. В пустоту? Во тьму, пронизанную метеоритами, озаренную факелом раскаленного газа? В необозримые пространства, в стремительно уносящиеся дали?

Нет. Бодони улыбнулся.

Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом.

Здесь ничего не изменилось — все те же ржавые ворота и на них висячий замок, тот же тихий домик на берегу реки, и в кухне светится окошко, и река течет все к тому же далекому морю. А на самой середине двора дрожит и урчит ракета, и ткет волшебный сон. Содрогается, и рычит, и укачивает спеленатых детей, точно мух в упругой паутине.

В окне кухни — Мария.

Он помахал ей рукой и улыбнулся.

Отсюда не разглядеть, ответила она или нет. Кажется, чуть-чуть махнула рукой. И чуть-чуть улыбнулась.

Солнце встает.

Бодони поспешно вернулся в ракету. Тишина. Ребята еще спят. Он вздохнул с облегчением. Лег в гамак, пристегнулся ремнями, закрыл глаза. И мысленно помолился: только бы еще шесть дней ничто не

нарушало иллюзию. Пусть проносятся мимо бескрайние пространства, пусть всплывут под нашим кораблем багровый Марс и его спутники, пусть не будет ни единого изъяна в цветных фильмах. Пусть все происходит в трех измерениях, только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают этот блистательный обман. Только бы должный срок прошел и ничего не случилось.

Он проснулся.

Неподалеку в пустоте плыла багровая планета Марс.

— Папа! — дети старались вырваться из гамаков.

Бодони посмотрел в иллюминатор — багровый Марс был великолепен, без единого изъяна. Какое счастье! На закате седьмого дня ракета перестала дрожать и затихла.

— Вот мы и дома — сказал Бодони.

Люк распахнулся, и они пошли через захламленный двор, оживленные, сияющие.

— Я вам нажарила яичницы с ветчиной, — сказала Мария с порога кухни.

— Мама, мама, ну почему ты с нами не полетела! Ты бы увидела Марс, мама, и метеориты, и все-все.

— Да, — сказала Мария.

Когда настало время спать, дети окружили Бодони.

— Спасибо, папа! Спасибо!

— Не за что.

— Мы всегда-всегда будем про это помнить, папа. Никогда не забудем!

Поздно ночью Бодони открыл глаза. Он почувствовал, что жена, лежа рядом, внимательно смотрит на него. Долго, очень долго она не шевелилась, потом вдруг стала целовать его лоб и щеки.

— Что с тобой? — вскрикнул он.

— Ты — самый лучший отец на свете, — прошептала Мария.

— Что это ты вдруг?

— Теперь я вижу, — сказала она. — Теперь я понимаю.

Не выпуская его руки, она откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Это было очень приятно — так полетать? — спросила она.

— Очень.

— А может быть... может быть, когда-нибудь ночью ты и со мной слетаешь хоть недалеко?

— Ну, недалеко — пожалуй, — сказал он. — Спасибо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал Фиорелло Бодони.

Из сборника “ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА”

ПЕШЕХОД

Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что хмурым ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, — а впрочем, невелика разница: ведь в этом мире, в лето от рождества Христова две тысячи пятьдесят третье, он был один или все равно что один; и, наконец, он решался, выбирал дорогу и шагал, я перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар от его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точке светлячки, мерцают за окнами слабые, дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и на стене в глубине комнаты вдруг мелькнут серые призраки; а другое окно еще не закрыли — и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начни он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем, и повсюду защелкают выключатели и замаячат в окнах лица — всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела, при каждом вздохе то вспыхивали ярче, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок, и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там, — шептал он, проходя, каждому дому, — что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и не шевелиться, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер и на тысячи миль не встретишь человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы — окружают тебя в твоём одиночестве.

— А что теперь? — опрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. — Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина? Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что? В доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука. И он пошел дальше. Он споткнулся — тротуар тут был особенно неровный. Асфальта совсем не было видно, все заросло Цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход, ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в утицу вливались два шоссе, пересекавшие город; сейчас

тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркая облачками выхлопных газов, и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже походили на русла рек, обнаженные засухой, — каменное ложе молча стыло в лунном сиянии.

Он свернул в переулок, пора было возвращаться. До, дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом, как замороженный, двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но... — начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай; ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина. Еще год назад, в 2052-м — в год выборов — полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, и он не мог разглядеть людей.

— Леонард Мид, — ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий, — словно про себя сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла — жука и коллекции.

— Можно сказать и так, — согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книга никто больше не покупает. “Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам”, — подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий, — прошипел механический голос. — Что вы делаете на улице?

— Гуляю, — сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю, — честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Просто гуляете?

— Да, сэр.

— Где? Зачем?

— Дышу воздухом. И смотрю.

— Где живете?

— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.

— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид? Кондиционная установка есть?

— Да.

— А чтобы смотреть, есть телевизор?

— Нет.

— Нет? — молчание, только что-то потрескивает, и уже самая эта пауза — как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат, — произнес жесткий голос за слепящей полосой света.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась, — с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы просто гуляли, мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью.

— Я объяснил: я хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимались?

— Каждый вечер, уже много лет.

Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид, — сказала она.

— Это все? — учтиво спросил Мид.

— Да, — ответил голос. — Сюда. — Что-то вздохнуло, что-то щелкнуло. Задняя дверца машины распахнулась. — Влезайте.

— Погодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Мистер Мид!

И он пошел нетвердой походкой, как пьяный. Проходя мимо ветрового стекла, он заглянул внутрь. Он так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало

чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби, — сказал железный голос. — Но...

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой, на одной только улице во всем этом городе темных домов, — единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Это — мой дом, — сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи не было больше ни звука, ни движения.

ПУСТЫНЯ

“Итак, настал желанный час...”

Уже смеркалось, но Джейнис и Леонора во флигеле неумоимо укладывали вещи, что-то напевали, почти ничего не ели и, когда становилось невтерпез, подбадривали друг друга. Только в окно они не смотрели — за окном сгущалась тьма, высыпали холодные яркие звезды.

— Слышишь? — сказала Джейнис.

Звук такой, словно по реке идет пароход, но это взмыла в небо ракета. И еще что-то — играют на банджо? Нет, это, как положено по вечерам, поют свою песенку сверчки в лето от рождества Христова две тысячи третье. Несчетные голоса звучат в воздухе — голоса природы и города. И Джейнис, склонив голову, слушает. Давным-давно, в 1849-м, здесь, на этой самой улице, раздавались голоса чревовещателей, проповедников, гадалок, глупцов, школяров, авантюристов — все они собрались тогда в этом городке Индипенденс, штат Миссури. Они ждали, чтоб подсохла почва после дождей и весенних разливов и поднялись густые травы, плотный ковер, что выдержит их тележки и фургоны, их пестрые судьбы и мечты.

Итак, настал желанный час —

И мы летим, летим на Марс!

Пять тысяч женщин в небесах

Творить сумеют чудеса!

— Такую песенку пели когда-то в Вайоминге, — сказала Леонора. — Чутьочку изменить слова — и вполне подходит для две тысячи третьего года.

Джейнис взяла маленькую — не больше спичечной — коробочку с питательными пилюлями и мысленно прикинула, сколько всего везли в тех старых фургонах на огромных колесах. На каждого человека — тонны груза, подумать страшно! Огорока, грудинка, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, вода, имбирь, перец — длиннейший, нескончаемый список! А теперь захвати в дорогу пилюли не крупнее наручных часиков — и будешь сыт, странствуя не просто от Форта Ларами до Хангтауна, а через всю звездную пустыню.

Джейнис распахнула дверь чулана и чуть не вскрикнула. На нее в упор смотрели тьма, и ночь, и межзвездные бездны.

Много лет назад было в ее жизни два таких случая: сестра заперла ее в чулане, а она визжала и отбивалась, а в другой раз в гостях, когда играли в прятки, она через кухню выбежала в длинный темный коридор. Но это оказался не коридор. Это была неосвещенная лестница, глубокий черный колодец. Она выбежала в пустоту. Опора ушла из-под ног, Джейнис закричала и свалилась. Вниз, в непроглядную черноту. В погреб. Она падала долго — успело гулко ударить сердце. И долго, долго она задыхалась в том чулане — ни один луч света не пробивался к ней, ни одной подружки не было рядом, никто не слышал ее криков. Совсем одна, взаперти, во тьме. Падаешь во тьму. И кричишь!

Два воспоминания.

И вот сейчас распахнулась дверь чулана и тьма повисла бархатным пологом, таким плотным, что можно потрогать его дрожащей рукой; точно черная пантера, дышала тьма, глядя в лицо тусклым взором, — и те давние воспоминания вдруг нахлынули на Джейнис. Бездна и падение. Бездна и одиночество, когда тебя заперли, и кричишь, и никто не слышит. Они с Леонорой укладывались, работали без передышки и при этом старались не смотреть в окно, на пугающий Млечный Путь, в бескрайнюю, беспредельную

пустоту. И только старый привычный чулан, где затаился свой, отдельный клочок ночи, напомнил им, наконец, о том, что их ждет.

Вот так и будешь скользить в пустоту, к звездам, во тьме, в огромном, чудовищном черном чулане и станешь кричать и звать, и никто не услышит. Вечно падать сквозь тучи метеоритов, среди безбожных комет. В бездонную лестничную клетку. Через немыслимую, как в кошмарном сне, угольную шахту — в ничто.

Она закричала. Ни звука не сорвалось с ее губ. Вопль метался в груди, в висках. Она кричала. С маху захлопнула дверь чулана! Навалилась на нее всем телом. Чувствовала, как по ту сторону дышит и скулит тьма — и изо всей силы держала дверь, и слезы выступили у нее на глазах. Она долго стояла так и смотрела, как Леонора укладывает вещи, и, наконец, дрожь унялась. Истерика, которой не дали волю, понемногу отступила. И стало слышно, как трезво, рассудительно тикают на руке часы.

— Шестьдесят миллионов миль! — она подошла, наконец, к окну, точно ступила на край глубокого колодца. — Просто не могу поверить, что вот сейчас на Марсе наши мужчины строят города и ждут нас.

— Верить надо только в завтрашнюю ракету — не опоздать бы на нее!

Джейнис подняла обеими руками белое платье, в полутемной комнате оно казалось призраком.

— Странно это... выйти замуж на другой планете.

— Пойдем-ка спать.

— Нет! В полночь вызовет Марс. Я все равно не усну, буду думать, как мне сказать Уиллу, что я решила лететь. Ты только представь, мой голос полетит к нему по световому за шестьдесят миллионов миль! Я боюсь — а вдруг передумаю, со мной ведь это бывало!

— Наша последняя ночь на Земле...

Теперь они знали, что так оно и есть, и примирились с этим; уже не укрыться было от этой мысли. Они улетают — и, быть может, никогда не вернуться. Они покидают город Индипенденс в штате Миссури на североамериканском континенте, который омывают два океана — с одной стороны Атлантический, с другой — Тихий, — и ничего этого не захватишь с собой в чемодане. Все время они страшились посмотреть с лица этой суровой истине. А теперь она стала перед ними во весь роет. И они оцепенели.

— Наши дети уже не будут американцами, они даже не будут людьми с Земли. Теперь мы на всю жизнь — марсиане.

— Я не хочу! — вдруг крикнула Джейнис.

Ужас сковал ее.

— Я боюсь! Бездна, тьма, ракета, метеориты... И все, все останется позади! Ну, зачем мне лететь?!

Леонора обхватила ее за плечи, прижала к себе и стала укачивать, как маленькую.

— Там новый мир. Так бывало и в старину. Мужчины идут вперед, женщины — за ними.

— Нет, ты скажи, зачем, ну зачем это мне?

— Затем, — спокойно сказала Леонора и усадила ее на край кровати. — Затем, что там Уилл.

Отрадно было услышать его имя. Джейнис притихла.

— Это из-за мужчин нам так трудно, — сказала Леонора. — Когда-то, бывало, если женщина одолеет ради мужчины двести миль, это уже событие. Потом они стали уезжать за тысячу миль. А теперь улетают на другой край вселенной. Но все равно это нас не остановит, правда?

— Боюсь, в ракете я буду дура душой.

— Ну и я буду душой, — сказала Леонора и поднялась. — Пойдем-ка погуляем на прощанье.

Джейнис выглянула из окна.

— Завтра все в городе пойдет по-прежнему, а нас тут уже не будет. Люди проснутся, позавтракают, займутся делами, лягут спать, на следующее утро опять проснутся, а мы уже ничего этого не узнаем, и никто про нас не вспомнит.

Они слепо кружили по комнате, словно не могли найти выхода.

— Пойдем.

Отворили, наконец, дверь, погасили свет, вышли и закрыли за собой дверь.

В небе царило небывалое оживление. То ли распускались Огромные цветы, то ли свистела, кружила, завивалась невиданная метель. Медлительными снежными хлопьями опускались вертолеты. Еще и еще прибывали женщины — с востока и запада, с юга и севера. Все огромное шлите небо снежило вертолетами. Гостиницы были переполнены, радушно распахивались двери частных домов, в окрестных полях и лугах поднимались целые палаточные городки, точно странные, уродливые цветы, — и весь город и его окрестности согреты были не одной только летней ночью. Тепло излучали запрокинутые к небу раздумывавшиеся лица женщин и загорелые лица юношей. За грядой холмов готовились к старту ракеты, казалось, кто-то разом нажимает все клавиши гигантского органа, и от могучих аккордов ответно трепетали все стекла в каждом окне и каждая косточка в теле. Дрожь отдавалась в зубах, в руках и ногах до самых кончиков пальцев.

Леонора и Джейнис сидели в аптеке среди незнакомых женщин.

— Вы премило выглядите, красавицы, только что-то вы нынче невеселые? — сказал им продавец за стойкой.

— Два стакана шоколада на солоде, — попросила Леонора и улыбнулась за двоих, потому что Джейнис не вымолвила ни слова.

И обе уставились на свои стаканы, точно на редкостную картину в музее. Не скоро, очень не скоро на Марсе можно будет побаловаться солодовым напитком.

Джейнис порылась в сумочке, нерешительно вытащила конверт и положила на мраморную стойку.

— От Уилла. Пришло с почтовой ракетой два дня назад. Из-за этого я и решила лететь. Я тебе сразу не сказала. Посмотри. Возьми, возьми, прочти записку.

Леонора вытряхнула из конверта листок бумаги и прочитала вслух:

— “Милая Джейнис. Это наш дом, если, конечно, ты решишь приехать. *Уилл*”.

Леонора еще постучала по конверту, и из него выпала на стойку блестящая цветная фотография. На фотографии был дом — старый, замшелый, золотисто-коричневый, как леденец, уютный дом, а вокруг атели цветы, прохладно зеленел папоротник, и веранда заросла косматым плющом.

— Но позволь, Джейнис!

— Да?

— Это же твой дом здесь, на Земле, на Улице вязов!

— Нет. Смотри получше.

Обе всмотрелись — по сторонам уютного коричневого дома и за ним открывался вид, какого не

найдешь на Земле. Почва была странного лилового цвета, трава чуть отливала красным, небо сверкало, как серый алмаз, а сбоку причудливо изогнулось дерево, похожее на старуху, в чьих седых волосах запутались блестящие льдинки.

— Этот дом Уилл построил там для меня, — сказала Джейнис. — Как посмотрю, легче на душе. Вчера, когда я оставалась на минутку одна и меня одолевал страх, я каждый раз вынимала эту карточку и смотрела.

Они не сводили глаз с фотографии, разглядывая уютный дом, что ждал за шестьдесят миллионов миль отсюда — знакомый и все же незнакомый, старый и совсем новый, и справа теплый желтый прямоугольник — это светится окно гостиной.

— Молодчина Уилл. — Леонора одобрительно кивнула. — Он знает, что делает.

Они допили коктейль. А по улице все бродили оживленные толпы приезжих, и падал, падал с летнего неба нетающий снег.

Они накупили в дорогу уйму всякого вздора — пакетики лимонных леденцов, журналы мод на глянцевиной бумаге, тонкие духи; потом взяли напрокат две гравизащитные куртки — наряд, в котором стоит коснуться едва заметной кнопки на поясе — и порхаешь, как мотылек, бросая вызов земному притяжению, — и, словно подхваченные ветром цветочные лепестки, носились над городом.

— Все равно идут, — сказала Леонора, — куда глаза глядят.

Они отдались на волю ветра, и он понес их сквозь летнюю ночь, полного яблоневого цвета и оживленных приготовлений, над милым городом, над домами их детства и юности, над школами и улицами, над ручьями, лугами и фермами, такими родными, что каждое зерно пшеницы было дороже золота. Они трепетали, точно листья под жарким дуновением ветра, что предвещает грозу, когда в горах уже сверкают летние молнии. Под ними в полях белели пыльные дороги — еще так недавно они по спирали спускались здесь на блестящих под лунной стрекочущих вертолетах, и дышали ночной прохладой на берегу реки, и с ними были их любимые, которые теперь так далеко...

Они парили над городом, уже отдаленным, хоть они пока не так высоко поднялись над землей; город уходил вниз, словно черная река, и вдруг, точно гребень волны, вздымался свет живых и ярких огней... и все же город был уже недосыгаем, уже только видение, затянутае дымкой отчужденности; он еще не скрылся навсегда из глаз, а, память уже в тоске и страхе оплакивала утрату.

Покачиваясь и кружа в воздухе, они украдкой заглядывали на прощанье в сотни родных и милых лиц, которые проплывали мимо в рамках освещенных окон, будто уносимые ветром; но это само Время подхватило их обеих и несло своим дыханием. Они всматривались в каждое дерево — ведь кора хранила вырезанные на ней когда-то признания; скользили взглядом по каждому тротуару. Впервые они увидели, как прекрасен их город, прекрасны и одинокие огоньки и потемневшие от старости кирпичные стены, — они смотрели расширенными глазами и упивались этой красотой. Город кружил под ними, точно праздничная карусель; порой всплеснет музыка, забормочут, перекликнутся голоса в домах, мелькнут призрачные отсветы телевизионных экранов.

Две женщины скользили в воздухе, точно иглы, и за ними от дерева к дереву тонкой нитью тянулся аромат духов. Глаза, кажется, уже не вмещали виденного, а они все откладывали впрок каждую мелочь, каждую тень, каждый одинокий дуб и вяз, каждую машину, пробегающую там, внизу, по извилистой улочке, — и вот уже полны слез глаза, полны с краями и голова и сердце...

“Точно я мертвая, — думала Джейнис, — точно лежу в могиле, а надо мной весенняя ночь, и все живет и движется, а я — нет, все готово жить дальше без меня. Так бывало в пятнадцать, в шестнадцать

лет: весной я не могла спокойно пройти мимо кладбища, всегда плакала, думала: ночь такая чудесная, и я живу, а они все лежат мертвые, и это несправедливо, несправедливо. Мне стыдно было, что я живу. А вот сейчас, сегодня меня будто вытащили из могилы и сказали: один только раз, последний, посмотри, какой он, город, и люди, и что это значит — жить, а потом за тобой опять захлопнется черная дверь”.

Тихо-тихо, качаясь на ночном ветру, словно два белых китайских фонарика, проплывали они над своей жизнью, над прошлым, над лугами, где в свете множества огней раскинулись палаточные городки, над большими дорогами, где до рассвета будут второпях тесниться грузовики с припасами для дальнего пути. Долго смотрели они сверху на все это и не могли оторваться.

Часы на здании суда гулко пробили три четверти двенадцатого, когда две женщины, словно две паутинки, слетевшие со звезд, опустились на залитую луной мостовую перед домом Джейнис. Город уже спал, и дом Джейнис сулил покой и сон им тоже, но обеим было не до сна.

— Неужели это мы? — сказала Джейнис. — Мы — Джейнис Смит и Леонора Холмс, и на дворе год две тысячи третий?

— Да.

Джейнис провела языком по пересохшим губам и выпрямилась.

— Хотела бы я, чтоб это был какой-нибудь другой год.

— Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? — Леонора вздохнула, и заодно с нею вздохнул, пролетая, ветер в листве деревьев. — Всегда было не одно, так другое — отплытие Колумба, высадка в Плимут-Роке. И хоть убей, не знаю, как тут быть нам, женщинам.

— Оставаться старыми девами.

— Или сниматься с якоря, как мы сейчас.

Они открыли дверь, дом дохнул им навстречу теплом и ночной тишиной, шум города медленно отступал. Они закрыли за собой дверь, и тут в доме раздался звонок.

— Вызов! — крикнула на бегу Джейнис.

Леонора вошла в спальню за нею по пятам, но Джейнис уже схватила трубку и повторяла: “Алло, алло!” В большом далеком городе техник готовился включить огромный аппарат, который соединит сейчас два мира, и две женщины ждали — одна, вся побелев, сидела с трубкой в руках, другая склонилась над нею, и в лице ее тоже не было ни кровинки.

Настало долгое затишье, и в нем — только звезды и время — нескончаемое ожиданье, каким были для них и все последние три года. И вот настал час, пришла очередь Джейнис позвать через миллионы миль, через бездну, где мчатся метеоры и кометы, убегая от рыжего солнца, которое вот-вот опалит и расплавит ее слова и выжжет из них всякий смысл. Но голос ее все пронизал серебряной иглой, прошел стежками слов бескрайнюю ночь, отразился от лун Марса. И нашел того, кто ждал в далекой-далекой комнате, в городе на другой планете, до которой радиоволнам лететь пять минут. Вот что она сказала:

— Здравствуй, Уилл! Это я, Джейнис!

Она сглотнула комок, застрявший в горле.

— Дают так мало времени. Только одну минуту.

Она закрыла глаза.

— Я хочу говорить медленно, а велят побыстрее. Так вот... я решила. Я приеду. Я вылетаю завтрашней ракетой. Я все-таки прилечу к тебе. И я тебя люблю. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. Я так

соскучилась...

Голос ее полетел к далекому, невидимому миру. Теперь, когда все было уже сказано, ей захотелось вернуть свои слова, сказать не так, по-другому, лучше объяснить, что у нее на душе. Но слова ее уже неслись среди планет, и если б какое-нибудь чудо космической радиации заставило их вспыхнуть и засветиться, подумала Джейнис, ее любовь озарила бы десятки миров И на той стороне земного шара, где сейчас ночь, люди изумились бы неурочной заре. Теперь ее слова принадлежат уже не ей, но межпланетному пространству, они ничьи, пока не долетят до цели, к которой они мчатся со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.

“Что он мне ответит? — думала она. — Что скажет он в ту короткую минуту, которая отведена ему?” Она беспокойно вертела и теребила часы на руке, а в трубке светфона потрескивало — само пространство говорило с Джейнис, она слышала неистовую пляску электрических разрядов и голос магнитных бурь.

— Он уже ответил? — шепнула Леонора.

— Ш-ш! — Джейнис пригнулась к самым коленям, точно ей стало дурно.

И тогда из бездны долетел голос Уилла.

— Я его слышу! — вскрикнула Джейнис.

— Что он говорит?

Голос звучал с Марса, он летел через пустоту, где не бывает ни рассвета, ни заката, лишь вечная ночь, и во мраке — пылающее солнце. И где-то на полпути между Марсом и Землей голос потерялся — быть может, слева захватил силою тяготения и увлек за собой пронесшийся мимо наэлектризованный метеорит, быть может, на них обрушился серебряный дождь метеоритной пыли — как знать. Но только все мелкие, незначительные слова будто смыло. И когда голос долетел до Джейнис, она услышала одно лишь слово:

— ...люблю...

И опять воцарилась бескрайняя ночь, и слышно было, как вращаются звезды и что-то нашептывают солнца, и голос еще одного мира, затерянного в пространстве, отдавался у нее в ушах — гром ее собственного сердца.

— Ты его слышала? — спросила Леонора.

У Джейнис едва хватило сил кивнуть.

— Что же он говорил, что он говорил? — допытывалась Леонора.

Но этого Джейнис не сказала бы никому на свете, это была радость слишком дорогая, чтобы ею можно было поделиться. Она сидела и вслушивалась — в памяти опять и опять звучало то единственное слово. Ока- сидела и вслушивалась, а даже не заметила, как Леонора взяла у нее из рук трубку и положила на рычаг.

И вот они лежат в постелях, свет погашен, в комнатах веет ночной ветер, а в кем: — дыханье долгих странствий среда мрака и звезд; и они говорят о завтрашнем дне и о днях, которые настанут после: то будут не дни и не ночи, но неведомое время, без границ и пределов; а дотом голоса смолкают, заглушённые то ли сном, то ли бессонными мыслями, и Джейнис остается в постели одна.

“Так вот как бывало столетье с лишним назад? — думается ей. — В маленьких городках на востоке страны женщины в последнюю ночь, в ночь кануна, ложились спать и не могли уснуть, и слышали в ночи, как фыркают и переступают лошади и скрипят огромные фургоны, снаряженные в дорогу, и под деревьями шумно дышат волы, и плачут дети, до срока узнав одиночество. Равнины и лесные чащи наполнились извечным шумом прибытий и отъездов, и кузнецы за полночь гремели молотами в багровом аду подле

своих горнов. И пахло грудинкой и окороками, что коптились на дорогу, и, словно корабли, тяжело раскачивались фургоны, до отказа нагруженные припасами для перехода через прерии; в деревянных бочонках плескалась вода, ошалело кудахтали куры в корзинах, подвешенных снизу к осям, собаки убегали вперед и в страхе прибегали обратно, и в глазах у них отражалась пустыня. Значит, вот как было в те давние времена? На краю бездны, на грани звездной пропасти. Тогда был запах буйволов, в наши дни — запах ракеты. Значит, вот как это было?”

Дремотные мысли путались, и, уже погружаясь в сон, она окончательно, поняла — да, конечно, неизбежно и неотвратимо — так было от века и так будет во веки веков.

УБИЙЦА

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался “Вальс веселой вдовы”. Из-за другой — “Послеполуденный отдых фавна”. Из-за третьей — “Поцелуй еще разок!”. Он повернул за угол — “Танец с саблями” захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от Пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да, да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап, — сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского к “Ромео и Джульетте”, она вдруг затопила длинные коридоры.

Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайдн безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дьюка Эллингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насвистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади щелкнул замок.

— Только нас по хватало, — сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце, внезапно проглянувшее среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь, — сказал психиатр и нахмурился.

Что-то в комнате было не так. Он ощутил это еще в дверях. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся.

— Вас удивляет, что тут так тихо? Просто я кокнул радио.

“Буйный”, — подумал врач.

Арестант прочел его мысль, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет-нет, я так только с машинками, которые твякают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного, со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента; необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — мистер Элберт Брок, именующий себя Убийцей?

Брок удовлетворенно кивнул.

— Прежде, чем мы начнем... — мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче — крак! — и вернул ошеломленному психиатру обломки с таким видом, точно оказал и себе и ему величайшее благодеяние. — Вот так-то лучше.

Психиатр во все глаза глядел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, должно быть, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент. — Как поется в старой песенке. “Мне плевать, что станет со мною!” — вполголоса пропел он.

— Начнем? — спросил врач.

— Извольте. Первой жертвой — одной из первых — был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запихал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохся насмерть. Потом я пристрелил телевизор!

— М-мм, — промычал психиатр.

— Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.

— У вас богатое воображение.

— Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.

— Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машина-призрак. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему “я” перелиться по проводам. А если не пожелает — просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а одна сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел этого говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом телефон — необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует — позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне, звонят, звонят без конца. Черт побери, ни минуты покоя. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламой на небесах, так глушат джазовой музыкой в каждом ресторане; едешь, в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, тай служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет: жена и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих удобств, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старику Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю... Но вот жена в сотый раз спрашивает: “Ты сейчас где, — милый?” — а через минуту вызывает приятель и говорит: “Слушай, отличный анекдот: один парень...” А потом какой-то чужой дядя орет: “Вас вызывает Статистическое бюро. Какую резинку вы жуете в данную минуту?” Ну, знаете!

— Как вы себя чувствовали всю эту неделю?

— А так — вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стенку. В тот день в конторе я и сделал, что надо.

— А именно?

— Плеснул воды в селектор.

Психиатр сделал пометку в блокноте.

— И вывели его из строя?

— Конечно! Вот было весело! Стенографистки забежали как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило — я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз заверещал: “Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?” — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус. — Брок потер руки. — Дайка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться от разных этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Другьям-приятелям? “Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Грин-Хилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно”. Еще удобно моему начальству — я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: “Остановился у бензоколонки, зайду в уборную”. — “Ладно, Брок, валяйте”. “Брок, чего вы столько возились?” — “Виноват, сэр!” — “В другой раз не копайтесь!” — “Слушаю, сэр!” Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого в досыта накормил свой передатчик.

— Почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

Врач помолчал.

— И что же дальше?

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь это самое радио трещало без передышки! Брок, туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок... Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы, видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машине и улыбаюсь, и чувствую: в ушах — мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался — это была Свобода!

— Продолжайте!

— А потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестьдесят первую. А один супруг бранится: “Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семидесятой!” А репродуктор орет “Сказки венского леса” — точь-в-точь канарейка натошак насвистывает про свои лакомые зернышки. И тут я включаю свой диатермический аппарат! Помехи! Перебои! Все жены отрезаны от брюзжания замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно! “Венский лес” срублен под корень, канарейке свернули шею. Тишина! Пугающая, внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопреставление. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня миглом засекали, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравятся радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном, конституционном порядке. В конце концов у нас же демократия!

— А я — так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И все меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод — не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Но они хватают через край. Послушать немножко музыки, изредка “связаться” с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Прихожу домой — жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в этот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, мне так и записать?

— По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня из таких, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стишки, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов! Духовка тебе лопочет: “Я пирог с вареньем, я уже испекся!” — или: “Я — жаркое, скорей подбавьте подливки” — и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Парадная дверь так и рывкает: “Сэр, у вас башмаки в грязи!” А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай бог уронишь щепотку пепла с папиросы — сразу всосет. О боже милостивый!!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Помните песенку Гилберта и Салливена “Веду обидам точный счет и уж за мной не пропадет”? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь.

Парадная дверь так и завизжала: “Надо ноги вытирать! Не годится пол марать”. Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: “Скорей взгляни! Переверни!” Я всадил пулю в самую серединку механической яичницы — и плите пришел конец. Ох, как она зашипела и заверещала: “Я перегорела!” Потом завопил телефон, прямо как капризный ублюдок. И я сунул его в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно: я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай свое мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Потом я пошел и пристрелил телевизор, эту коварную бестию! Это Медуза, которая каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, сирена, которая поет, и зовет, и обещает так много, а дает так ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Отдавали ли вы себе отчет, совершая все эти преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я готов проделать это еще раз, и да поможет мне бог.

Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я — знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, оттого, что нами вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет — делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гм-м... — Психиатр, казалось, призадумался.

— Понятно, это не сразу сделается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти полезные и удобные штуки! Почти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в эту игру, зашли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянькам — и запуталось и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия жизни! Мы — нервное поколение! Но помяни го мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению и в кино — вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно, — сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я собираюсь полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь, — сказал, вставая, мистер Брок. — Я буду себе сидеть да посиживать и наслаждаться этой мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м, — промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте, — сказал мистер Брок.

— Постараюсь, — отозвался психиатр.

Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь открылась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагнул один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые двадцать шагов его провожали звуки “Китайского тамбурина”. Их сменила “Цыганка”, затем “Пасакалья” и какая-то там минорная fuga Баха, “Тигровый рэгтайм”, “Любовь — что сигарета”. Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с потолка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Броком, — отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе в уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола зажужжал, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, Овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие; телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

Из сборника “ЛЕКАРСТВО ОТ МЕЛАНХОЛИИ”

ДРАКОН

Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колыхает невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Перестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность, — отвечает тот, другой. — Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодище, боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти...

— А чего ради? Ну, чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой!

— Т-с-с... слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена.

— Ох и места же у нас, — вздохнул второй. — Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу — ночь. И уж тогда, тогда... господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются врассыпную и, — обезумев, издыхают. Женщины рожают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усыпаны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоест! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от рождества Христова.

— Нет, нет, — зашептал другой и зажмурился. — Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу — а там все не так, города как не бывало, жители еще и не родились, камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен, бревна не спилены в лесах; не спрашивай, откуда я это знаю, сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй!

— Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы!

— Что толку? Дракон приносится неведомо откуда; мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане, мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии.

Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся.

По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, отмеряя бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окоемом. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась, и густела, и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих смятенных душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа — время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной ледящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень; и снова все стихло, и в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое.

— Вот, — прошептал первый. — Вот оно!..

Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, заревело — мчался дракон.

В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипенье, дракон стремительно надвигался — ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в долину и скрылось.

— Скорее!

Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине.

— Он пройдет здесь!

Поспешно закрыли коням глаза шорами; руками в железных перчатках подняли копьа.

— Боже правый!

— Да, будем уповать на господа.

Миг — и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них, на доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед.

— Помилуй нас, боже!

Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось — и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь, за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма.

— Видал? — воскликнул кто-то. — Все в точности, как я тебе говорил!

— То же самое, точь-в-точь! Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза! Мы его сшибли!

— Ты остановишься?

— Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.

— Но ведь кого-то мы сбили!

— Я свистел всюду, малый мог бы посторониться, а он и не двинулся!

Вихрем разорвало пелену тумана.

— В Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред.

Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере, остались лишь черный дым и пар — и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.

КОНЕЦ НАЧАЛЬНОЙ ПОРЫ

Он почувствовал: вот сейчас, в эту самую минуту, солнце зашло и проглянули звезды — и остановил косилку посреди газона. Свежескошенная трава, обрызгавшая его лицо и одежду, медленно подсыхала. Да, вот уже и звезды — сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услышал, как затворилась дверь — на веранду вышла жена и, глядя в вечернее небо, он почувствовал на себе ее внимательный взгляд.

— Уже скоро, — сказала она.

Он кивнул: ему незачем было смотреть на часы. Ощущения его поминутно менялись, он казался сам себе то глубоким стариком, то мальчишкой, его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын надевает летную форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр, прикрывая размеренными словами и быстрыми движениями громкий стук сердца, вновь и вновь охватывающий страх — и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, где становится все больше звезд.

И вдруг он очутился на прежнем месте, он снова — только отец своего сына, и снова ладони его сжимают рычаг косилки.

— Иди сюда, посидим на веранде, — позвала жена.

— Лучше я буду заниматься делом!

Она спустилась с крыльца и подошла к нему.

— Не тревожься за Роберта, все будет хорошо.

— Уж очень это ново и непривычно, — услышал он собственный голос. — Никогда такого не бывало. Подумать только — люди летят в ракете строить первую внеземную станцию. Господи боже, да это просто невозможно, ничего этого нет — ни ракеты, ни испытательной площадки, ни срока отлета, ни строителей. Может, и сына, по имени Боб, у меня никогда не было. Не умещается все это у меня в голове!

— Тогда чего ты тут стоишь и смотришь?

Он покачал головой.

— Знаешь, сегодня утром иду я на работу и вдруг слышу — кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы, как вкопанный. Оказывается, по я сам хохотал! А нечему? Потому что, наконец, понял — Боб и вправду нынче летит! Наконец я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь, а тут стал столбом у всех на дороге и думаю — чудеса, разрази меня гром! А потом сам не заметил, как запел. Знаешь эту песню: “Колесо в колесе высоко в небесах...”? И опять захохотал. Надо же, думаю, внеземная станция! Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Боб, а потом, через полгода или месяцев через восемь, полетит к Луне. После, по дороге домой, я припомнил, как там дальше поется: “Колесом поменьше движет вера, колесом побольше — милость божья”. И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!

Жена тронула его за рукав.

— Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее.

Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, как в темноте появляются все новые звезды, точно блестящие крупинки соли, рассыпанные по всему небу, от горизонта до горизонта.

— Мы будто в праздник фейерверка ждем, — после долгого молчания сказала жена.

— Только нынче народу больше...

— Я вот думаю: в эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разинув рот.

Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли.

— Который час?

— Без одиннадцати минут восемь.

— И никогда ты не ошибешься! Видно, у тебя в голове устроены часы.

— Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета. Смотри, сигнал! Осталось десять минут.

На западном небосклоне распустились четыре алых огненных цветка; подхваченные ветром, они поплыли, мерцая, над пустыней, беззвучно канули вниз и угасли.

Стало темнее прежнего, муж и жена выпрямились в качалках и застыли. Немного погодя он сказал:

— Восемь минут.

Молчание.

— Семь минут.

Молчание — на этот раз оно словно тянется много дольше.

— Шесть...

Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды — на те, что прямо над головой.

— Зачем это все? — бормочет она и закрывает глаза. — Зачем ракеты и этот вечер? Зачем? Если бы знать...

Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное отсветом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал — пусть она договорит. И жена продолжает:

— Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали: зачем подниматься на Эверест? А им отвечали: затем, что он существует. Никогда я этого не понимала. По-моему, это не ответ.

Пять минут, подумал он Время идет... тикают часы на руке... колесо в колесе... колесом поменьше движет... колесом побольше движет... высоко в небесах... четыре минуты! Люди уже устроились поудобнее в ракете, все на местах, светится приборная доска...

Губы его дрогнули.

— Я знаю одно: это — конец начальной поры. Каменный век, Бронзовый век, Железный век — теперь мы всему этому найдем одно общее имя: век, когда мы ходили по Земле и утром спозаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время — Земной век, или Век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться — и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнечики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное: пришел конец нашему старинному спутнику — притяжению, век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи — может, персов, они мечтали о ковресамолете, а может, китайцев — они, когда праздновали день рождения или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев; а может быть, счет начнется через час, неведомо в какую минуту или

секунду. Но сейчас кончается эра долгих и тяжелых усилий, миллионы лет — они нелегко дались нам, людям, и, как-никак, делают нам честь.

Три минуты... две минуты пятьдесят девять секунд... две минуты пятьдесят восемь секунд...

— И все равно, — сказала жена, — я не знаю, зачем все это.

Две минуты, подумал он. “Готовы? Готовы? Готовы?” — окликает по радио далекий голос. “Готовы! Готовы! Готовы!” — чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты. “Проверка! Проверка! Проверка!”

Сегодня! — думал он. Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и, наконец, громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова — да, но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор, как мы научились говорить, мы спрашивали об одном: в чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить десять тысяч миров, что обращаются вокруг десяти тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов вселенной. Человек будет вечен, как вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего, мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и станем спокойными и уверенными, а это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж по меньшей мере мы должны хранить этот дар и передавать потомкам — до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться!

Чуть поскрипывали плетеные качалки, с шорохом задевая траву.

Одна минута.

— Одна минута, — сказал он вслух.

— Ох! — жена порывисто схватила его за руку. — Только бы наш Боб...

— Все будет хорошо!

— Господи, помоги им...

Тридцать секунд.

— Теперь смотри.

Пятнадцать, десять, пять...

— Смотри!

Четыре, три, две, одна.

— Вот она! Вот!

Оба вскрикнули. Вскочили. Опрокинутые качалки свалились наземь. Шатаясь, не видя, муж и жена, как слепые, пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево, еще десять секунд — и взмыла огромная яркая комета, затмила собою звезды, прочертила огненный след и затерялась среди головокружительных россыпей Млечного Пути. Муж и жена ухватились друг за друга, словно под ногами у них разверзлась непостижимая, непроглядно черная бездонная пропасть. Они смотрели вверх, и плакали, и слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, пока они, наконец, сумели заговорить.

— Она улетела, улетела, правда?

— Да...

— И все благополучно, правда?

— Да... да...

— Она ведь не упала?

— Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим, все благополучно.

Они, наконец, разняли руки.

Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Черт меня побери, — сказал он. — Черт меня побери.

Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно жечь миллионы крупинки огненной соли. Пришлось закрыть глаза.

— Что ж, — сказала она, — пойдём в дом.

Он не двинулся с места. Только рука сама собой протянулась и нащупала рычаг косилки. И заметив, что держит рычаг, он сказал:

— Осталось еще немножко скосить...

— Так ведь ничего не видно..

— Увижу, — сказал он. — Надо же мне кончить. А после, перед сном, посидим немного на веранде.

Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина, берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед, колеса вертятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим — покой и тишина. Круженье колеса — и неслышная поступь раздумья.

Мне миллионы лет от роду, сказал он — себе. Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног, они слишком далеко внизу.

Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг; он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал — не его одного, но все человечество наконец-то омывает животворный родник вечной молодости.

И, омытый этими живительными водами, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость божью там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна-единственная, дерзкая и летит, и ее уже не остановить.

Потом он скосил оставшуюся траву.

ИКАР МОНГОЛЬФЬЕ РАЙТ

Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из Дельфийских пещер, чтоб сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса, — один, два или десять, а быть может, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же:

— Смотрите, смотрите, мы победили!

Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря.

— Смотрите, смотрите! Победа!

Но он вовсе не просил весь мир удивиться ему; он только жадно, всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осознал этот воздух, и ветер, и восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах. Земля уже не сковывала его своей тяжестью.

Но постойте, думал он, подождите!

Сегодня — что же это за ночь?

Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в ста ярдах отсюда меня ждет ракета.

Полно, так ли? Есть ли там ракета?

— Постой-ка! — подумал он и передернулся и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал. Надо наверняка! Прежде всего кто ты такой?

Кто я? — подумал он. — Как мое имя?

Джедедия Прентис, родился в 1938-м, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Прентис... Джедедия Прентис...

Ветер подхватил его имя и унес прочь! С воплем спящий пытался его удержать.

Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но все было тихо, тысячу раз гулко ударило сердце — и тогда лишь он ощутил в воздухе какое-то движение.

Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опала пены над пурпурными волнами прибоя.

В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя.

Икар.

И снова шепотом, легким, как дыхание:

Икар.

Кто-то потряс его за плечо — это отец звал его, хотел вырвать его из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись, лицом к окну, за окном виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и когда сын взглянул на эти крылья, и потом за окно, на утес, он ощутил, что и у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые перышки.

— Как ветер, отец?

— Мне хватит, но для тебя слишком слаб.

— Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепкими, от моей крови оживёт воск.

— И от моей крови тоже и от моих костей, не забудь: каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен!

И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а быть может, иное, — чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко.

Монгольфье.

Его ладони касались жгучего каната, яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышащее пламя.

Монгольфье.

Он поднял глаза — высоко над головой вздувалась, и покачивалась на ветру, и взмывала, точно подхваченная волнами океана, огромная серебристая груша, наполняясь мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобная дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнится раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата и поплывет, безмолвная, безмятежная, среди облачных просторов, в которых спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание бога и торжественную поступь вечности.

Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата.

— Все готово, все хорошо.

Хорошо. Его губы дрогнули во сне. Хорошо. Шелест, шорох, трепет, взлет. Хорошо.

Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе, и они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой, и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена.

Райт.

И шепот: ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет.

— Уилбур? Орвил? Постой, как же так?

Он вздыхает во сне.

Игрушечный вертолет жужжит, ударяется в потолок — шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и, наконец, слетает к ним в руке ветер, дохнувший из лета, что еще не настало, — в последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб.

Во сне он улыбался.

Он устремился в Эгейское небо, далеки внизу остались облака.

Он чувствовал, как, точно пьяный, покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра.

Он ощущал шуршанье песков — они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели, точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия.

За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета, огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят три миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете.

И станет на краю утеса.

Станет в прохладной тени нагретого аэростата.

Станет на берегу, под вихрем песка, что стучит по ястребиным крыльям “Китти Хок”.

И натянет на мальчишеские плечи и руки, до самых кончиков пальцев, золотые крылья, скрепленные золотым воском.

В последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки, — в ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга, с нею вознесутся в небо их мечты.

Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор.

И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье — да будут послушны ему в полете гибкие крылья!

А потом взмахнет руками и прыгнет.

Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату.

Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух.

И, нажав кнопку, воспламенит горючее ракеты.

И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне и звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селеньями и городами; в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте; порыв, миг потрясения, колебания, а потом — все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя. Или другие имена — тех, кто еще не родился, или тех, что давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья, и раскрываются за плечами, и шумят, сверкая ярким опереньем. И каждый оставляет за собою эхо полета, и отзвук, подхваченный всеми ветрами, опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья и сыновья сыновей, во сне внемля тревожному полуденному небу.

Ввысь и еще ввысь, выше, выше! Весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев!

Негромко прозвенел звонок.

Сейчас, прошептал он, сейчас я проснусь. Еще минуту...

Эгейское море за окном скользнуло прочь; пески Атлантического побережья, равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате, возле его детской постели, не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там, за окном, только ракета — мечта, готовая воспламениться, — ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь.

В последний миг сна кто-то спросил его имя.

Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи:

— Икар Монгольфье Райт.

Он повторил это медленно, внятно — пусть тот, кто спросил, запомнит порядок, и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы.

— Икар Монгольфье Райт.

Родился — за девятьсот лет до рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783-м. Средняя школа, колледж — “Китти Хок”, 1903. Окончил курс Земли, переведен на Луну с божьей помощью сего дня 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе, в лето 1999-е нашей эры.

Вот теперь можно и проснуться.

Немногие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал — кто-то зовет, окликает опять и опять.

Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал или многие голоса, молодые или старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени, — этого он тоже не знал. И он не оглянулся.

Ибо поднимался ветер — и он дал ветру набрать силу, и подхватить его, и пронести дальше, через пустыню, до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

БЫЛИ ОНИ СМУГЛЫЕ И ЗОЛОТОГЛАЗЫЕ

Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло.

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, словно хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри, — сказала жена. — Отступить поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Похолодевшими руками человек подхватил чемоданы.

— Пошли.

Он сказал это так, как будто стоял на берегу — и надо было войти в море и утонуть.

Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошенный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил он. — Будто я крупинка соли и меня бросили в горную речку. Мы здесь чужие. Мы — с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

“Тик-так, семь утра, вставать пора!” — пел будильник.

И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное! В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу, с жару газету. За завтраком Гарри просматривал ее. Он старался быть общительным.

— Сейчас все — как было в пору заселения новых земель, — бодро говорил он. — Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и все на свете! А говорили — ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни души. Пустые города нашли, это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей.

— Я не знаю, — сказал Дэвид, — может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Песок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! — Битеринг поглядел в окно. — Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь. — Он посмотрел на детей. — В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь, воспоминания. — Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы. — Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: а на что был похож художник? И воображаешь себе этакий маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия. — Он помолчал. — Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился.

— Нет, папа.

— Смотри, держись от них подальше. Передай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится, — сказал Дэвид. — Вот увидишь!

Это случилось в тот же день.

Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа... на Земле война! — Она громко всхлипнула. — Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк сброшены атомные бомбы! Все. межпланетные ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, никогда!

— Ох, Гарри! — миссис Битеринг пошатнулась и ухватилась за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

Одни, думал Битеринг. Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет. Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоб, ладони, все тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать: “Неправда, ты лжешь! Ракеты вернутся!” Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится и опять прилетят ракеты.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики, — начал отец, глядя вверх их голов, — мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем, — сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Пока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю.

А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру; их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станет с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. Работать, думал он, работать и забыть обо всем на свете.

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И все на Марсе называли по-новому.

Битерингу стало очень, очень одиноко — как не ко времени и не к месту он здесь, в саду, как нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

Думай о другом. Думай непрестанно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах.

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступали мудрее, они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Ута, Милвоки, Уокеган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы — бессильны!

Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак. Потом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней.

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы, — сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю!

Выбежали из дому дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редиска, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь?

— Да... нет. Не знаю, — растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь, они изменились! Лук — не лук, морковка — не морковка. Попробуй: вкус тот же и не тот. Понюхай — и пахнет не так, как прежде. — Его обуял страх, сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. — Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться. — Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево. — Смотри, розы! Розы... они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы.

А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидал. Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться, — сказал Битеринг. — Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отравка. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть.

Он в отчаянии оглядел свое жилище.

— Дом — и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекошились. Человеческие дома такие не бывают.

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Пойду в город. Надо скорей что-то предпринять.

Сейчас вернусь.

— Гарри, стой! — крикнула вдогонку жена. Но его уже и след простыл.

В городе, на крыльце бакалейной лавки, уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

“Что вы делаете, дурачье! — думал он. — Рассиживаетесь тут, как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Что вы станете делать дальше?”

— Здорово, Гарри! — сказали ему.

— Послушайте, — начал Битеринг, — вы слышали вчера новость? Или, может, не слышали?

Люди закивали, засмеялись:

— Конечно, Гарри! Как не слышать!

— И что вы собираетесь делать?

— Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?

— Надо строить ракету, вот что!

— Ракету? Вернуться на Землю и опять, вариться в этом котле? Брось, Гарри!

— Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зацвел персик? А лук, а трава?

— Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.

— И не напугались?

— Да не сказать, чтоб очень напугались.

— Дурачье!

— Ну, чего ты, Гарри!

Битеринг чуть не заплакал.

— Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Разве вы не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Послушайте меня!

Все не сводили с него глаз.

— Сэм, — сказал он.

— Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.

— Поможешь мне строить ракету?

— Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь отличную ракету.

Все засмеялись.

— Не смейтесь!

Сэм добродушно смотрел на Битеринга.

- Сэм, — вдруг сказал тот, — у тебя глаза...
- Чем плохие глаза?
- Ведь они у тебя были серые?
- Право не полню, Гарри.
- У тебя глаза были серые, ведь верно?
- А почему ты спрашиваешь?
- Потому что они у тебя стали какие-то желтые.
- Вот как? — равнодушно сказал Сэм.
- А сам ты стал какой-то высокий и тонкий.
- Может, оно и так.
- Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.
- А у тебя, по-твоему, какие?
- У меня? Голубые, конечно.
- Держи, Гарри, — Сэм протянул ему карманное зеркальце. — Погляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся.

В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуту было тихо.

- Эх, ты — сказал Сэм. — Разбил мое зеркальце.

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

- Пора ужинать, Гарри, — напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть, — сказал он. — Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

- Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут, — говорил он, разворачивая чертежи и кальки: на жену он не смотрел.

- Гарри, Гарри, — беспомощно повторяла она.

- Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

По ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битеринга в поселке земляк сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, седине опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из

металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взошла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Витерита.

— *Йоррт*, — повторил он, — *Йоррт*.

Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Послушай, Симпсон, что значит “Йоррт”?

— Да это старинное марсианское название нашей Земли. А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка. — Алло, Битеринг! Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду.

Дни были наполнены звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко, — засмеялся один из помощников.

— А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.

— Конечно, ем, — сердито буркнул Битеринг.

— Все из холодильника?

— Да!

— А ведь ты худеешь, Гарри.

— Неправда!

— И росту в тебе прибавляется.

— Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустился на стул.

— Надо же тебе что-то есть, — сказала жена. — Ты совсем ослаб.

— Да, — сказал он.

Взял сэндвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни, — сказала Кора. — Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть на часок, — уговаривала Кора. — Поплаваешь, освежишься, это полезно.

Он встал, весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперед. Йотом сделали привал, закусили сандвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза — желтые, никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, ее точно смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха — он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением:

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были карие и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу.

— Нет. Почему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Посидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые, — сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут, и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. По крайней мере на Марсе. Вот это мысль! — он засмеялся. — Поплавать, что ли.

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг — безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько песет неторопливым, ровным течением.

Полежать так подольше, думал он, и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари — зеленые, красные, желтые.. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?

Сквозь воду он увидел над голову солнце — тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

Там, наверху, — безбрежная река, думал он, марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости, и...

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута, — сказал он.

— Что такое? — переспросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся.

— Ты же знаешь. Ута по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся.

— Я... я хочу зваться по-другому.

— По-другому?

— Да.

Подплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами.

— Вчера ты все кричала: Дэн, Дэн, Дэн, — а я и не слышал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Правда, хорошее имя? Можно, я буду Линл? Можно? Ну, пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались. Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один...

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены.

Потом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик. — Я — Линл, Линл!

И, вопя и приплясывая, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену.

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю, — сказала Кора. — Что ж, по-моему, это совеем не плохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых все еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Они подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Битеринг. — Вот было бы славно!

— Идем, — сказал муж. — Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело...

За раскрытой настежь дверью мастерской — негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

Битеринг вышел на крыльцо.

— Куда это?

По пыльной улице движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Переселяются в виллы, — говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду, — подхватывает другой. — И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее.

Битеринг перевел дух.

— У меня уже каркас готов.

— Осенью дело пойдет лучше.

Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать, — повторил Битеринг.

— Отложи до осени, — возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

Осенью дело пойдет лучше, подумал он. Времени будет вдоволь.

Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задыхающееся. — Нет, нет!

— Осенью, — сказал он вслух.

— Едем, Гарри, — сказали ему.

— Ладно, — согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело. — Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала, — сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсианское название.

— Но ведь на карте...

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра. И я отыскал одно местечко в Пилланских горах...

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Пилланские горы, — сказал Сэм.

— Ладно, — сказал Битеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя. — Пускай Пилланские.

Назавтра в тихий, безветренный день все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Ттил, Линл и Верр, — на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило, — сказала мать. — И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель, — сказал он немного погодя. — Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?

Битеринг отвел глаза.

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка поглядела е недоумением.

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Они выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины.

— Немного же мы берем с собой, — заметил он. — Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать — прощай! Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Поехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листву странных деревьев.

— Прощай, город! — сказал Битеринг.

— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети.

И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем поселении землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висевшие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь, был очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Пора возвращаться, — сказала Кора.

— Да, но мы не поедem, — спокойно сказал он. — Чего ради?

— Там остались твои книги, — напомнила она. — Твой парадный костюм.

— Твои *лле*, — сказала она. — Твой *пор юеле рре*.

— Город совсем пустой, — возразил муж. — Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют, — в раздумье отозвалась жена. — До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Потом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю, — сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год, — сказал он невозмутимо. — Или, может, еще через годик—другой. А пока что... мне жарко. Пойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дымящаяся лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они. — Мы победили! Мы прилетели вам на выручку!

Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом.

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. У них очень темная кожа. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан. — И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр; они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Похоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-

нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это — одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна, и за ними — встающие вдалеке синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Потом опомнился и постучал пальцами по карте, которую он давно уже приколот кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: — Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы до горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения.

Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот... да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут были и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины цветных квадратиков обрамляли большое стекло посередине — алые и золотистые, как вино, как настойка или фруктовое желе, и голубоватые, прохладные, как льдинки. Помнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздь блеклого винограда. И, наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рассветной дымкой, а свежеподстриженный газон был точь-в-точь — ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— Да, да! А тут...

Он проснулся.

Мальчики разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, прислушиваясь. Как печально звучат их голоса — так бормочет ветер, вздымая пески со дна пересохших морей и рассыпая их среди синих холмов... Потом он вспомнил.

Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спросонок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совсем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним какое-то странное оцепенение; вот жена встала и принялась бродить по комнате, точно привидение: то к одному окну подойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко — и подолгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... целый месяц все собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону.

“Вот если бы солнце никогда не заходило, — думал он, — если бы ночей совсем не было”. Весь день он сколачивал сборные дома будущего поселка, мальчики были в школе, а Кэрри хлопотала по хозяйству — тут и уборка, и стряпня, и огород... Но после захода солнца уже не приходилось рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки — и тогда в темноте, как ночные птицы, к ним слетались воспоминания. Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Потерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Как во сне, она выдвигала ящики комода; она вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, вытащит вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет и будет думать, вспоминать. Ну, а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и достанет старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — в ее голосе не слышалось горечи, он был тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, который позволял следить за ее движениями. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвести, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. По ерунде какой-то, сама не знаю. Помнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И шведское стекло. И мебель в гостиной... ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они в звенят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата, — сказал он. — Марс — место чужое. Тут все не по-нашему, в пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ощупь. Я и сам ночами про это думаю. А какой славный был наш городок.

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное, И дом у нас был славный. И какой старый, господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! По ночам я всегда слушала, как он скрипит, трещит, будто разговаривает. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья — собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтоб в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда ан С годами и обживется и согреется. А эта наша коробка — да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голое у нее жестяной, а жесть — она холодная.. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Погребка нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось е прошлою года и что было еще до твоего- рожденья. Знаешь, Веб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул.

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной — Марс, моря эти высохшие...

и... — он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас в банке на счету были деньги, наши сбережения за десять лет, так вот, я все их истратил, все как есть, без остатка.

— Боб!!.

— Я их выбросил, Кэрри, даю тебе слово, пустил па ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут же стоят, и...

— Как же так, Боб? — она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали тут, на Марсе, и терпели эту жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. — Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Пойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы — вот они, а ракеты на Землю идут четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб, — шептала она.

— Не говори сейчас, не надо, — попросил он.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и, остались сверху наготове аккуратные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова — лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, точно в длинный-длинный туннель: неужели там, в конце, никогда не забрезжит рассвет?

Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожил, стояла гнетущая тишина, отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить, завывать; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Потом, наконец, открыли дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и вновь встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески), и вышли под голое, пристальное холодное небо, и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На ракетодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Я знаю, придет время, и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только прилетели, я вдруг будто споткнулся. Почему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады

перескакивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает, и все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт — назови, как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились у них под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. Еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день — и солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает; а если и пострадает, так, мажет, Плутон уцелеет, а если нет — что тогда будет с нами, то бишь, с нашими правнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, а мы в это время будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер — скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая эта чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду даже не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подальше — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— Погоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтоб поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтоб прославиться. Говорят — для забавы, для развлечения, скучив, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри все время что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Также крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаете, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви я плыви. Лети к новым мирам, воздвигай новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Пойми, Кэрри. Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода человеческого. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, — хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее яйцу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Помню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, это то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД! Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтоб Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Понятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять вселенную. Тогда если где-нибудь в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся та Венере или где там еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал: черт возьми, совсем это ни к чему. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами вес поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю,

Кэрри, это громкие слова и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица и даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и до этого дойдет. Понимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал — чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы давно привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то там старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я этим старьем воспользуюсь. Помню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували, и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, мол, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая того гляди затолкает нас обратно на Землю, так я сам полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром пребыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Пойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что раскрылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой Машине; кузов был битком набит корзинками, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: “Марс, Нью Толедо, Роберту Прентису”.

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули вниз и помогли матери выйти. Боб с минуту еще посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря и вся семья стояла и оглядывала их.

— Поди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду — тут стояло старое крыльцо.

— Послушай-ка.

Деревянные ступени заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крыльчке сосредоточенная, задумчивая и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут — крыльцо, там — гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть привезем. Покуда, конечно, у нас только и есть, что парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да

старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней.

— Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом году. И пожалуйста, пускай солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклонясь к этому кусочку цветного стекла, глядя сквозь него, Роберт Прентис неожиданно для себя сказал:

— Через год здесь будет город. Будет тенистая улица, и у тебя будет веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи будут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбежал с крыльца и подошел к последнему еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Перочинным ножом надрезал парусину.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Печка?

— Ничего похожего! — он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — “Дженни, Дженни, голубка моя...”.

— Вот и спой.

Но она никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса: наконец он нащупал то, что искал, — и в утренней тишине прозвенел чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Прентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ РЭЙ БРЭДБЕРИ



родился в 1920 году. Как писатель он сформировался в сложной обстановке 40-х годов. Первое его крупное произведение “Марсианские хроники” было написано в 1950 году и переведено почти на все языки мира. Затем появились сборники его рассказов “Человек в картинках”, “Золотые яблоки солнца”, “Лекарство от меланхолии” и др. Самое известное в Советском Союзе фантастическое произведение Р.Брэдбери “451° по Фаренгейту” было впервые опубликовано в 1953 году.

1

Click, Pick, Flick — эти слова созвучны названиям американских бульварных изданий с минимальным количеством текста и большим количеством иллюстраций. *(Здесь и далее примечания переводчика).*

2

Автор стихотворения — английский поэт XIX века Мэтью Арнольд. Перевод И.Оныщук.

3

Ортега-и-Гассет — видный испанский писатель и философ XX века.

4

Томас Лав Пикок — английский писатель и поэт, близкий друг Шелли.

5

“Уолден, или Жизнь в лесах” — известное произведение классика американской литературы XIX века Генри Давида Торо.

6

Что происходит?*(исп.)*.

7

До свиданья, сеньор в сеньора.*(исп.)*.

8

Зады *(франц.)*.